ДЕТИ ВОЕННОЙ ПОРЫ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Война обрушилась на детей так же, как на взрослых, — бомбами, голодом, холодом, разлуками. Но и в эти годы дети были первой заботой народа. Выживут они — выживут страна, ее история, идеалы, будущее. В этой книге вы прочтете про детей, подростков — разведчиков, токарей, пахарей, поэтов, охранителей городов, целителей ран. И вы убедитесь: они внесли значительный вклад в победу советского народа. Книга строго документальна.

- Дети военной поры
  -
  -
  - А. Алексин
  - Нас чьи-то руки подхватили…
    - Т. Яковлева
      -
      - Дорога из дома
      - Дорога к дому
      - Возвращение
      - Спустя годы
    - Г. Марьяновский
    - И. Александрова
    - Ал. Левина
    - Л. Очаковская
    - Л. Графова
    - Л. Терентьев
    - Л. Овчинникова
    - Д. Новоплянский
    - Ж. Миндубаев
    - Я. Каменецкий
    - Э. Максимова
  - Сыны полков, сыны заводов
    - Ю. Яковлев
    - В. Вирен, Н. Шумаков
    - М. Сбойчаков
    - П. Демидов
    - П. Демидов
    - В. Морозов
    - Ю. Рост
    - Т. Тимошенко
    - Л. Успенский

- М. Шиманский
- П. Гутионтов
- Ал. Левина
- Ю. Алянский
- В. Кабанов

- Я помню
  - М. Слуцкис
  - А. Луговцова
  - Л. Овчинникова
  - Л. Успенский
  - Н. Тер-Минасова
  - А. Пальм
  - Ада Левина
  - В. Шелике
  - В. Песков
- И вот теперь найти друг друга
  - Эд. Поляновский
  - Б. Галанов
  - С. Большакова
  - Эд. Поляновский
  - М. Алимов, Л. Раннаметс, Ал. Левина
  - А. Друзенко
  - Р. Армеев
  - Э. Максимова
  - В. Песков
- Эта память — наша совесть
  - Е. Линд
  - Л. Очаковская

Дети военной поры

Сборник

Сост. Э. Максимова

В блокадных днях
Мы так и не узнали:
Меж юностью и детством
Где черта?..
Нам в сорок третьем
Выдали медали
И только в сорок пятом
Паспорта.

И в этом нет беды.
Но взрослым людям,
Уже проживши м многие года,
Вдруг страшно оттого,
Что мы не будем
Ни старше, ни взрослее,
Чем тогда.

Юрий Воронов

А. Алексин
Детям — планету без войн

В киноэпопее «Великая Отечественная» есть эпизод, который не просто взволновал, а потряс меня. Женщины провожают детей из блокадного Ленинграда. Катер отчаливает от берега. И вот матери видят, как на него пикирует бандит со свастикой, как тонут, гибнут их дочери, сыновья. И лишь белые панамки плывут по воде.

Но дети в ту суровую пору были не только жертвами — они становились и воинами. За особые заслуги, мужество и героизм, проявленные в борьбе с захватчиками, звание Героя Советского Союза было присвоено Александру Чекалину, Леониду Голикову, Марату Казею…

Особые заслуги! А были они мальчишками. Еще не достигнув совершеннолетия, ребята достигали таких высот мужества, что оказывались достойными Золотых Звезд Героев, орденов, медалей. И вот что поразительно: в указах Президиума Верховного Совета СССР об их награждении никогда не упоминалось, что речь идет о детях. Их называли по имени и отчеству, как взрослых. Почему? Да потому, что их воинская и трудовая доблесть не была доблестью «в масштабе детского возраста»: она стояла в одном строю, плечом к плечу с мужеством взрослых.

Вот сообщение о подвиге бывшего ученика 114-й школы города Александрова Владимирской области Толи Перфильева, шагнувшего из отрочества в смертельный бой:

> «29 сентября 1943 года командиру минометного взвода А. Перфильеву было дано задание первым переправиться со взводом минометчиков на правый берег Днепра и огнем своих минометов прикрывать переправу пехотных подразделений… 30 сентября противник предпринял особенно яростную контратаку при поддержке танков. А. Перфильев немедленно организовал взвод на отражение атаки противника стрелковым оружием. Выбрав удобный момент, он поднял бойцов в атаку, и в рукопашной схватке минометчики отбросили врага, уничтожив 16 фашистов, из них 4 уничтожил лично Анатолий Перфильев».

За этот бой Толе присвоили звание Героя Советского Союза.

Ему не пришлось прикрепить к своей гимнастерке Золотую Звезду… Анатолий погиб в октябре 1943 года, а Указ о его награждении был подписан 22 февраля 1944 года.

Пусть же станет одним из памятников подвигам Марата Казея, Толи Перфильева и других юных героев эта книга!

В ней собраны очерки, корреспонденции журналистов, писателей-публицистов. Книга строго документальна: все, о чем здесь рассказано, каким бы трагичным, невероятным это ни представлялось, было. Было на самом деле.

Фронт, партизанский край, тыл. Эвакуация, оккупация, потери, поиски, встречи через десятилетия… Истории военных и послевоенных лет, сюжеты драматические и почти детективные. Судьбы тех, кого война застигла в младенчестве, и тех ребят военной поры, которые сами давно уже стали родителями, но по жизни которых ее черный след тянется и сейчас. Из всего этого складывается не просто объемная картина, а как бы панорама войны с детьми на переднем плане. Не потому только, что авторы намеренно выбирают их судьбы. Дети были на переднем плане жизни у всего воюющего народа. Выживут они — выживут народ, его история, идеалы, будущее!

До войны в Сталинграде была установлена скульптурная группа — танцующие ребята. Они радостно кружились, крепко держась за руки, словно так, не разлучаясь, не размыкая рук, собирались пройти весь свой путь. Но вот в город, который сама история позже нарекла городом-героем, ворвалась война. Во фронтовой кинохронике есть кадр: дети так и не разомкнули рук, не разорвали кольца дружбы, хотя кругом были руины и сталинградская скульптура была изранена, изрешечена снарядами и пулями.

Война в жестокой слепоте своей соединяет и несоединимое: дети и кровь, дети и смерть. В годы битв наша страна делала все, чтобы уберечь детей от страданий. Но порой эти усилия оставались тщетными. И когда дети беспощадной волею войны оказывались в пекле страданий и невзгод, они вели себя как герои, осилили, вынесли то, что, казалось бы, и взрослому преодолеть не всегда под силу. Читайте про мальчишек-разведчиков, токарей, пахарей, поэтов, мыслителей, охранителей городов, целителей ран — и вы убедитесь: они выдержали войну и победили вместе со взрослыми.

Помню, до войны в школьном классе учительница сказала нам, пятиклассникам: «Как вы знаете, Ванька Жуков написал на деревню дедушке. Но допустим, что письмо все же дошло. Что ответил бы дедушка внуку?» Это был не только урок творчества, но прежде всего урок гуманизма. Непримиримо, истово

протестовал каждый из нас против того, что у Ваньки отняли детство. Мы уже понимали: весенняя пора человеческой жизни отличается от весны обыкновенной тем, что никогда больше не возвращается. А через несколько лет многие из тех самых мальчиков и девочек отдали свое детство — настоящее, солнечное, с книгами и тетрадями, смехом, играми, праздниками.

Отдали, чтобы земля осталась землей людей, у которых жизнь обязательно должна начинаться с книг и тетрадей, игр и праздников. С такой святой уверенностью написаны все очерки, из которых сложилась эта книга. Самой природой, условиями существования рода человеческого детям предназначено жить в мире, оберегаемом взрослыми. Война на время разрушила этот закон, но она же и доказала: когда страна в самых трагических обстоятельствах, на пределе возможностей считает своей важнейшей исторической миссией спасение детства, она победит все!

Один западный журналист как-то спросил:

— Не слишком ли вы, советские писатели, романтизируете своих юных персонажей? И вообще — не приукрашиваете ли вы истоки, с которых начинается человеческое бытие?

— А не приукрашивал ли эти истоки Виктор Гюго, посылая на баррикаду Гавроша? А не идеализировал ли их Лев Толстой, с горечью и восторгом поведавший нам об отваге Пети Ростова? Или Александр Фадеев, рассказавший о молодогвардейцах?

Нет, мы ничего не приукрашиваем.

Лет двадцать назад я побывал в бывшем фашистском лагере Равенсбрюк, где в ад душегубок и печей отправлялись лишь дети и женщины. Сердце и ныне сжимается при воспоминании о фотографии детского сердца. В центре был аккуратно нарисован кружочек, а подпись гласила, что эсэсовец, который так метко будет стрелять и так точно попадать в сердце ребенка, будет получать дополнительные отпускные дни. В это трудно поверить, но это было. А ведь Равенсбрюк по масштабам своим ничто (как это ни ошеломляюще звучит!) в сравнении с ужасом, который готовят детям земли те, кого мы порой называем «противниками разоружения», «противниками разрядки». Мне кажется, нельзя забывать, что противники — это одновременно и сторонники: противники разрядки — значит сторонники напряженности; противники разоружения — значит сторонники вооружения, противники безопасности — значит сторонники опасности. Какой опасности? Опасности чего? Войны, уничтожения детей, уничтожения завтрашнего дня…

Мы готовим своих юных и взрослых граждан к битвам против битв, к сражениям против сражений!

Повторяю: мы ничего не приукрашиваем. Мы просто хотим, чтобы новые поколения знали о героизме своих ровесников, вдохновлялись их биографиями, вгляделись в характеры тех, кто должен стать для них не только легендой, но и высоким образцом, достойным восхищения и подражания.

Перелистывая письма моих читателей, встречаясь с ними, я убеждаюсь, что они воистину достойны светлой памяти тех молодых героев, чью жизнь они как бы продлевают своими летописями, походами по священным местам боевой славы, поступками, исполненными доброты и самоотверженности.

И я мечтаю, чтобы никогда не пришлось им испытать ужасы, которыми обрушивается на людей война. Я верю, что «марши» вражды и ненависти, которые не раз наблюдал в капиталистических странах, будут побеждены маршами братства и мира!

Нас чьи-то руки подхватили…

Майор привез мальчишку на лафете.
Погибла мать. Сын не простился с ней.
За десять лет на том и этом свете
Ему зачтутся эти десять дней.

Его везли из крепости, из Бреста.
Выл исцарапан пулями лафет.
Отцу казалось, что надежней места
Отныне в мире для ребенка нет.

Отец был ранен, и разбита пушка.
Привязанный к щиту, чтоб не упал,
Прижав к груди заснувшую игрушку,
Седой мальчишка на лафете спал.

Мы шли ему навстречу из России.
Проснувшись, он махал войскам рукой…
Ты говоришь, что есть еще другие,
Что я там был и мне пора домой…

Ты это горе знаешь понаслышке,
А нам оно оборвало сердца.
Кто раз увидел этого мальчишку,

Домой прийти не сможет до конца.

Я должен видеть теми же глазами,
Которыми я плакал там, в пыли,
Как тот мальчишка возвратится с нами
И поцелует горсть своей земли.

За все, чем мы с тобою дорожили,
Призвал нас к бою воинский закон.
Теперь мой дом не там, где прежде жили,
А там, где отнят у мальчишки он.

К. Симонов

Т. Яковлева
«Мама! Где ты?»

У Саломеи Нерис есть поэма «Мама! Где ты?» — о детях войны. О ребятах, которых война застигла в пионерском лагере и надолго разлучила с родным домом.

Поэма выдержала много изданий. В Литве ее знает каждый с детства: она напечатана в учебниках начальной школы.

В одной из своих книг Эдуардас Межелайтис вспоминает историю ее появления. По заданию ЦК комсомола Литвы он побывал в детских домах, где жили эвакуированные литовские ребятишки, записал их рассказы о войне, собрал рисунки и все это вместе с собственными записями отдал Нерис. На основе этих материалов она должна была написать брошюру — «Обвинительный акт фашистам».

— Написала я… Только не так, как ты говорил. Не получается у меня брошюры.

Подает рукопись: «Мама! Где ты?» Вместо брошюры Саломея создала поэму.

Мне не пришлось увидеть те записи и рисунки, что вдохновили когда-то на поэму Нерис. Но я видела другие, сделанные ребятами той же самой судьбы. И самое главное — с помощью каунасских и вильнюсских школьников удалось встретиться с их авторами, которых мы с тем же правом можем считать прототипами героев поэмы. Оказалось, что каунасская школа № 28 и вильнюсская школа-интернат № 4 в давней дружбе с бывшими воспитанниками детского дома военных лет. Они записали их рассказы, собрали альбомы, рисунки, письма.

То, что вы прочтете, можно было бы назвать своеобразным комментарием к поэме Саломеи Нерис. Комментарием, написанным жизнью.

Дорога из дома

22 июня литовская девочка Генуте Эрсловайте приехала в Симферополь. Слово «война» уже было произнесено. Но солнце еще ярко светило в небе. Оно было совсем не похоже на красный шар, опутанный черными цепями, — так увидит солнце и нарисует его один из товарищей Генуте. А пока это было доброе солнце — такое же, как вставало над родным Шяуляем. Разве только ослепительнее и жарче. Но ведь так и должно быть — Крым приветливо встречал литовских ребят, впервые приехавших

в Артек.

Впервые на их родине, в Литве, взметнулись в небо пионерские флаги. Курорты Паланга, Друскининкай, еще недавно доступные только богачам, были отданы детям.

Янина Валацкене, так же как и Генуте, в те годы была пионеркой.

— Это сейчас мои дети не представляют: как же так, лето — и не поехать к морю? А для нас тогда море было сказкой, мечтой. Родители — рабочие, трое детей. И вдруг профсоюз дает путевку в Палангу сразу на всех троих — Паулину, Венцеса и меня. До сих пор помню, как увидела море. Песок, белый, как сахар.

Миколас Слуцкис:

— Из глубины памяти доносится стук того медленного поезда — теперь-то я знаю, что медленного, а тогда он мне казался мчащейся ракетой! — который через всю Литву вез меня и мою младшую сестренку в Палангу — в первый литовский пионерский лагерь…Меня выбирают знаменосцем, — гордый и счастливый, я каждое утро поднимаю флаг лагеря! Щупаю босой ногой море, не решаясь окунуться в ледяную воду, — ведь только начало июня. Ну и что? Я все равно счастлив!.. Сплю и слышу все нарастающий гул морских волн — пусть гудят себе, пусть грохочут, больше янтаря выбросят на берег! Разве мог я знать, что началась война?

«Война! Что это такое? Какое страшное и непонятное слово!» — запишет Генуте 22 июня в своем дневнике. Будто ничего не случилось, их посадят в автобус, и они поедут в Артек, и будут громко и весело петь и с замиранием сердца с высоты поглядывать на синеющую внизу полоску моря…

> «1 июля. Собирала на море камни и ракушки! Как их здесь много! Вот привезу в Литву!»

Она еще не знает, каким долгим окажется обратный путь. Она не знает, что через несколько дней Артек станет на колеса и потом всю жизнь будет для нее и ее друзей не географическим понятием, а лагерем и в Подмосковье, куда они приедут сначала, и в Сталинграде, и в волжской степи. Они так и будут говорить: «Новый, сорок второй год мы встречали в Артеке в Сталинграде…»

Но 1 июля Генуте еще собирает в Крыму морские камушки и мечтает: вот привезу их в Шяуляй. Десятый день войны.

А уже в первый день в Паланге… Янина Валацкене:

22 июня, в воскресенье, должно было быть торжественное открытие нашего лагеря. Я получила письмо, что приедет мама. Ночь была беспокойная. Нам не спалось. Стали рассказывать сказки, потом всякие страшные истории. Я лежала в одной

кровати с сестренкой. Мы привыкли так спать дома. А тут — мы маленькие, а кровати — большие, буржуйские. Мы упросили, чтобы нам все-таки разрешили, как дома, спать вместе.

…Лес шумел, какой-то гул… Может быть, самолеты? Было ощущение тревоги — или теперь так кажется? Мы расшумелись. Пришла вожатая и сказала, что, если мы не перестанем шуметь, нас не пустят на завтрашний праздник. Мы стихли. И вдруг под утро, часа в четыре, раздался страшный гром. Посыпались стекла. Босиком, по осколкам битого стекла я выбежала на улицу. На площади перед домом лежал человек. Я узнала вожатого.

Я бросилась к зданию, где находился штаб лагеря. Кругом уже все полыхало. На земле лежал мальчик. У него не было головы… Бируте Кукайтене:

— Ночью нас разбудил страшный грохот. Я подбежала к окну и увидела, что горит штаб лагеря. Мы с подругой кинулись вниз. Во дворе уже было много детей. Они бегали, кричали: «Мама! Мама!» Кругом стреляли, горели дома. Некоторые ребята прыгали из окон со второго этажа, много было раненых, убитых. Мы не понимали, что происходит, не знали, куда бежать, прятались за деревья, ложились на землю… Вдруг мы услышали голос начальника лагеря. Он приказывал бежать к столовой.

Но столовая тоже загорелась… Потом нас повели на автобусную станцию. Автобус вывез нас из Паланги и вернулся за другими детьми. Мы пошли пешком, уставшие, раздетые, в ночных рубашках. Нас подобрали красноармейцы. Они где-то раздобыли платья, туфли, кормили нас. Миколас Слуцкис:

— Когда мы, ветераны Паланги, собираемся на месте нашего бывшего лагеря, у памятного камня, то с трудом узнаем прежнюю Палангу сорок первого года. Только и слышится:

— Тут горело!

— Оттуда стреляли!..

— Ты выпрыгнул, а он не успел…

Я, тогда тринадцатилетний мальчик, действительно выпрыгнул из горящей комнаты, выпрыгнул вместе с оконной рамой.

В ночь на 22 июня фашистские корабли близко подошли к берегам Паланги. Знали они, что стреляют по детям? Что в Паланге в лагерях — тысячи детей? Знали.

Пока нет точной статистики, сколько детей погибло. Но точно известно: многие сотни.

А потом дорога во время бомбежек.

…Поезд шел и не шел. Он шел и останавливался. Останавливался потому, что появлялись самолеты с черными крестами. В поезде были узкие решетчатые окна — высоко под

потолком. Только что из поезда выгрузили скот и посадили в него женщин и детей, чтобы спешно эвакуировать их на восток.

Я помню этот полутемный вагон, и окна, до которых было не дотянуться, даже если встать на цыпочки, и запах навоза, смешавшийся с запахом пота.

Вместе с нами ехали беженцы из Прибалтики. Мне запомнилась некрасивая, немолодая женщина, плохо говорившая по-русски, и девочка с ней. Даже не столько девочка, сколько ее туфельки — бежевые, лаковые, с дырочками. Золотые башмачки Золушки в этом темном и душном вагоне… А мой брат запомнил мужчину с велосипедом. Как во время бомбежек он протискивался к выходу и держал велосипед над головами. «Ты не помнишь?» — удивляется он теперь. Но зато он не помнит башмачков!

А мама всегда вспоминает другое. Как брат, шестилетний мальчуган, побелел и схватился за сердце во время одной из тревог. Как сестра во время бомбежки выскочила из вагона. И мама боялась, что ее расстреляют с бреющего полета или она потеряется, отстанет.

Сколько в пути терялось людей, которые отыскивали друг друга спустя десятилетия! Или так еще не отыскали до сих пор.

Может быть, на одной из станций и встретились поезда — наш и те, что увозили ребят из Паланги и Друскининкая? Путь ведь у нас лежал один. Может быть, где-нибудь в Дно или Старой Руссе мы вместе пережидали бомбежку, вместе прислушивались к завывающему, на всю жизнь врезавшемуся в память звуку фашистских самолетов?

И когда теперь, уже взрослые люди, они рассказывали мне об этой длинной дороге, так же как и я теперь — башмачкам, они улыбались карусели. («Почему-то больше всего мне запомнились карусели, когда останавливались в Пскове, — в Пскове еще работали карусели!»), цветным ложкам, которыми ели кашу в Горьком, каким-то булочкам с рисом — «как весело было их есть — дома таких не пекли…» Дети остаются детьми!

Конечно, старшие больше понимали происходившее, и память у них суровее.

Ляонас Вайтукайтис не может забыть машиниста, что сумел вывести эшелон с детьми во время бомбежки из Минска («Не решись он на это — мы бы погибли»).

Известный писатель Миколас Слуцкис сохранит горячую благодарную память о тяжелораненых русских солдатах, которые — сами уже на грани смерти — подобрали группу литовских ребятишек и тем спасли им жизнь.

Ребята вышли к станции в тот момент, когда уходил

последний эшелон. До отказа набитые вагоны: женщины, дети, старики. И мысли не может быть, чтобы взяли тебя. Если бы их, онемевших от отчаяния, не увидел боец с белой повязкой вокруг головы, не увидел и, поспорив с врачом, не настоял, так бы они и остались на той станции, к которой совсем уже близко подошли фашисты.

Их взяли в вагон, где ехали тяжелораненые. И они потом всю жизнь будут благословлять этот вагон с запахом лекарств и окровавленных бинтов… Слуцкис напишет об этом рассказ и назовет его «Живите!» «Жи-ви-те!» — слова умирающего солдата детям.

Живите!

А поезд уходил все дальше и дальше на восток. Ему уже не нужно было пережидать бомбежки. Только во сне ребята еще кричали: «Прячьтесь! Самолеты!»

Все дальше на восток — все дальше от дома…

За тобой пожары следом
Стелются, несчитанные.
Ждет тебя неведомое,
Никогда не виданное.
— Путь аз дому — путь нелегкий! —
Шепчешь ты растерянно.
У пичуги одинокой
Гнездышко потеряно.

Родители, оставшиеся в Литве, ничего не знали о судьбе ребят. Многие считали их погибшими. Тем более что фашистские газеты писали: «Сколько из Литвы вывезено детей, какова их судьба, где они? Неизвестно, сколько их большевиками уничтожено, сколько сожжено».

«Куда большевики девали сотни литовских детей? О судьбе примерно 400 детей не имеем никаких сведений, из Друскининкая — 156 детей, из Паланги — 225, в Крым было выслано 10 детей, чья судьба также неизвестна».

Это о тебе, Генуте, ты, оказывается, была «выслана» в Артек!

Дорога к дому

Через село, в котором мы жили вначале в эвакуации, тянулись по дороге беженцы. Телеги со скарбом, дети, женщины в черных, словно обугленных, платках. Они проезжали, но долго еще на дороге вместе с поднятой пылью, как мираж, оставался

след человеческого горя.

К ним выходили, им несли хлеб, молоко.

Сейчас я мысленно представляю: а что, если бы в этой веренице лиц были только детские лица? Только детские глаза? Дети, которые днем молчат, прибившись друг к другу, а ночью, во сне, кричат: «Самолеты! Прячьтесь!»

Можно ли представить себе большую концентрацию несчастья, принесенного войной?

Вот такой обоз и появился в 1942 году в удмуртском селе Дебесы.

Село старинное — ему два с четвертью века. Улицы широкие: когда ставили дома, на землю не скупились. Центральная — Сибирский тракт. До сих пор у околицы сохранился дом, где, по преданию, останавливались Радищев, Чернышевский.

Старожилы помнят, как в один из дней второго военного лета по деревянным мостовым застучали деревянные подошвы. Столько лет прошло, а непривычный звук этот, сопроводивший появление в селе литовских ребятишек, врезался в память. Детей приехало много, несколько сотен — из Друскининкая, Паланги, Артека.

Им отдали общежитие педучилища. Здание сохранилось до сих пор: двухэтажный деревянный дом с высокой лестницей. За окнами — холмы и лес. Холмы и лес — совсем как в Литве.

Разглядывая свои рисунки тех лет, они теперь гадают: что это, Литва? Дебесы? Только изредка промелькнет где-нибудь как подсказка ветряная мельница или башня с готической крышей.

На бревенчатой стене вырезано «cabikla», по-литовски «вешалка». Когда они приедут сюда спустя много лет, они обрадуются этому слову, как старому знакомому.

Им приготовят ночлег в этом доме. На полу будут стоять в ведрах, тазах цветы, цветы. Их накормят («Ешьте, деточки, в войну вы досыта не ели»). Все село соберется посмотреть, что же сталось с этими ребятишками, которым они дали когда-то приют и, случалось, делились с ними последним.

Мне рассказывает об этом Марите Растейкайте. Марите — актриса. Я была на ее спектакле и слышала, как прошелестело в зале, едва она появилась на сцене: «Растейкайте!»

Мы смотрим фотографии в ее альбоме: Офелия, Лиза, Каренина — роли. А вот детский снимок: белая блузка, пионерский галстук. Это не роль. Это жизнь.

У Марите сохранился дневник, который она, как и Генуте Эрсловайте, начала в Артеке, а продолжила в Дебесах.

Строчки расплылись.

— Узнаете, чем писали? Выдавливали свекольный сок и

делали чернила!

> «Ремешки стягиваем все туже и туже… Может быть, поэтому ребята стали больше баловаться…
>
> У нас было свое подсобное хозяйство, огород, коровы — я, кстати, пасла коров, — свиньи. Бедные свиньи, мы называли их Гитлер, Геббельс… Пчел разводили, кроликов. Но это не сразу, поначалу было трудновато. Конечно, не только нам — всем в селе было трудно! Однажды с завхозом мы отправились по соседним деревням, чтобы собрать кое-что. Взяли мешок. Ушли с мешком, вернулись с подводой. Помню, как одна женщина — ей своих-то детей нечем было кормить — дала нам три морковки. Скажите, есть ли цена этим морковкам?»

Марите не сразу возвращается к дневнику…

> «Воскресенье. Сегодня опять встали в пять утра и, взяв сани, пилу и веревки, тронулись в лес. Там свалили четыре дерева… Лошадь у нас была, но не на все ее хватало. Иногда и сами ходили за дровами. Нас в комнате было четырнадцать девочек, впряжемся в сани…»

Так что же было в том военном детстве? Вот эти сани. Радость, что удалось купить на базаре блюдце мороженого молока (молоко не меряли тогда литрами: иная мера была — блюдце!). Пропущенные уроки, оттого что в сильный мороз нечего надеть на ноги, — и так бывало! И снова дневник:

> «1 января 1944 года. С Новым годом — с новым счастьем! Ждем гостей из Москвы. Готовимся к вечеру.
>
> Вечер в школе. Сначала выступления. Потом получали подарки: булочки и бублики. Ну, а потом бал-маскарад. Я была принц, Тереса — принцесса.
>
> 26 марта. С утра — сбор дружины. Я бегала к своим пионерам. Сбор прошел хорошо. После обеда рисовала газету, даже рука заболела. После ужина читала свою любимую «Педагогическую поэму». 9 апреля. Та самая запись о походе в лес за дровами. И дальше: Река начала таять… Цветут кошачьи лапки, мы нарвали их и принесли домой.
>
> Вернулись в 8 часов. Потом пошли на репетицию хора.

17 апреля. Сегодня очень счастливая! Получила письмо от сестры. А профессор Крищунас подарил мне книжку о литовском ансамбле. Кроме того, в газете «Литература и искусство» напечатаны две строфы моего стихотворения.

15 мая. Была на бюро. Приняли в комсомол и выдали комсомольский билет. Эта серая обыкновенная книжечка стала вторым сердцем! Уже весна, распускаются деревья…»

И это тоже военное детство.

Я поняла, почему мне показалась знакомой карточка Марите-девочки. Это же фотография с комсомольского билета! А комсомольский билет Марите и ее галстук я уже видела в школе в Каунасе — той самой, где музей литовско-удмуртской дружбы. Завучем в этой школе в ту пору была Пальмире Шалкаускене, бывший комсорг Дебесского детского дома. И я заметила, что слово «Дебесы» школьники произносили здесь с такой же особой интонацией, как и их учительница.

Но вернемся в сорок второй год, когда в Дебесы приехали литовские ребята.

Это потом они станут бойко разговаривать и по-удмуртски и по-русски (говорят, что они сейчас помнят такие удмуртские песни, которые в Дебесах уже и не поют), но пока…

Онуте Маценскайте:

— Помню, пришла учительница вести урок. Ни она не знает ни одного литовского слова, ни мы — русского. Как вышли из положения, не знаю, но учились! Помню, как Валентина Григорьевна читала нам на уроках Пушкина «Станционного смотрителя». А мы облокотимся на парты, смотрим на нее во все глаза. И плачем… Разговаривать быстро научились. А писать — мне почему-то буква «ж» не давалась. Такая смешная буква!

Валентина Григорьевна Стрелкова — первая учительница русского языка, первый директор детского дома. У Онуте не сохранилось тетрадей тех лет. Но Лидия Карпавичене, работавшая в Дебесах воспитательницей, взяла обычную газету, сложила ее в несколько раз и усмехнулась:

— Вот вам наши тетради! Сшивали эти листки. Учителя поверх газетных строчек чертили карандашом линейки. А на первой странице наклеивали белый листочек и старались покрасивее надписать…

Белый листок — праздник, и цветные карандаши — праздник!

Онуте Дорайте до сих пор недоумевает:

— Где Анна Ивановна нашла цветные карандаши, чтобы подарить мне в день рождения?

Анна Ивановна, эвакуированная учительница из Ленинграда, тоже работала в детском доме.

Потом приехали и другие учителя. В Дебесах открылась литовская средняя школа с преподаванием на родном языке.

Война. Все силы брошены на одно — разбить врага. А страна думает о детях. И не только о том, чтобы уберечь их от пуль, накормить, одеть.

Люди, приехавшие в Дебесскую школу учить детей, понимали, какая большая миссия возложена на них: они должны дать знания тем, кто будет возрождать послевоенную Литву.

Школу возглавил профессор Ионас Крищунас, известный ученый (это его Марите упоминает в своем дневнике). Человек большой эрудиции, культуры и великой душевной деликатности.

Литовскую литературу преподавала Валерия Вальсюнене, будущий автор поэмы о Марии Мельникайте. Поэтесса, влюбленная в стихи Есенина, чувствующая красоту природы и учившая этому ребят. Листая сохранившиеся детские альбомы той поры, я видела, как много там было стихов Янониса, Корсакаса, Венцловы и конечно же Нерис. Стихов, выученных по памяти со слов учительницы, переписанных из газет, из тоненьких стихотворных сборников, издававшихся во время войны. Многие и сами сочиняли. Учительница брала ручку, чтобы поправить рифму, подсказать более точное слово. Мне показывали детские стихи: «А это пометки Вальсюнене».

Учительница конституции — был тогда такой предмет — Изабелла Лаукайтите. Ее имя многие ребята знали еще до войны. Вместе с Саломеей Нерис она была избрана депутатом Верховного Совета СССР. После войны Лаукайтите вернется в Капсукас, где работала прежде. Однажды, встретившись с Лидией Карпавичене, коллегой по Дебесскому детскому дому, она покажет на маленькую, аккуратно заштопанную, почти незаметную дырочку на черном костюме: «Видите?» След пули бандитов, орудовавших в послевоенной Литве. Во второй раз пуля сразит ее насмерть…

Юстас Палецкис, видный общественный и государственный деятель и поэт, в своих мемуарах вспоминает: «Тяжелым переживанием было для меня убийство Изабеллы Лаукайтите… Изабелла Лаукайтите, как и ее две сестры, во время буржуазной власти активно участвовала в деятельности Компартии Литвы, много лет провела в тюрьмах. После войны работала в укоме. И вот я узнаю, что в один из мартовских дней 1948 года преступная рука бандита оборвала жизнь этой верной дочери народа. Убийцы

ей не раз угрожали, покушались на нее, но она не хотела уезжать, оставалась на своем посту… На похороны вышел весь город, приехали крестьяне из окрестных сел»…

Однажды в Дебесы пришла телеграмма: приезжает учитель Еугениус Тауткайтус. Учителей-мужчин в ту пору было особенно мало, и женский учительский корпус был приятно обрадован. Еугениус оказался… большеглазой женщиной с косой вокруг головы. Почте легко простили ошибку, еще бы: приехала Еугения Тауткайте — одна из первых вильнюсских комсомолок, потом коммунистка-подпольщица.

Еугения преподавала русский язык и литературу. В альбоме Генуте Эрсловайте рукой Тауткайте по-русски написаны стихи:

Всегда вперед, назад ни шагу!
Запомни это навсегда
И сохрани в душе отвагу,
Не падай духом никогда…

На память славной девочке от учительницы Тауткайте.

Такими были учителя в Дебесской школе. Я могла бы рассказать о Елене Эйдукайтите, завуче детского дома, умевшей в тяжелые минуты поддержать настроение и у своих коллег, и у воспитанников, и деятельной Пальмире Шалкаускене — комсомольском наставнике дебесских ребят, и Лидии Карпавичене — Митревне, как звали ее в Дебесах (ее отчество Доминиковна было быстро переделано в более понятное и короткое).

Ее очень любили дети. Самое страшное наказание, которое «изобрела» Митревна, — оставить их вечером без сказки.

Конечно же ребята очень тосковали по дому! Уральский журналист В. Захаров записал воспоминания Варвары Григорьевны Стрелковой — той самой первой учительницы ребят:

— Кончится, бывало, урок, они обступят меня, и посыплются вопросы: «А что слышно о моей маме?», «А когда кончится война?», «А что вы сегодня готовили дома?» Дети есть дети! Мы, учителя, да и многие жители села часто брали ребятишек к себе домой. Смотришь, как загораются у них глазенки при виде домашней обстановки, как скучают они по своему дому и родным… Один мальчуган все спрашивал, когда я буду печь блины: видно, очень любил их дома. Ну, заведу я жиденькие блинки, накормлю его, он поблагодарит, а потом пойдет «проверять» все шкафы, сундуки, открывать все дверцы,

заглядывать во все уголки. И все рассказывает, как у них было дома.

К праздникам они писали поздравления мамам, хотя посылать их было некуда. Я видела одно из детских писем того времени:

«Мамочка! Это письмо я пишу тебе и не знаю, жива ли ты? Не убили ли тебя фашисты? Пусть будут прокляты они за твою муку навеки. В сердце моем горит месть, но не только у меня, у всех, кто любит Родину…» Это — письмо четырнадцатилетней девочки. Она подробно рассказывала матери, как прожила эти годы без нее, а кончалось письмо припиской: «Я очень прошу соседей и родных сообщить, если мамы нет».

Но в сердцах их уже жила и Удмуртия. Навсегда в их жизнь вошли и река Чепца, и гора Байгурезь, и самое главное — люди, которых они узнали тогда.

Не островком, не замкнутой республикой была литовская школа в Дебесах. И если ребятам не всегда было сытно, они видели, что рядом было не сытнее. Они старались мужественно переносить трудности. Так же как старшие, делали все, что могли, для победы. Работали на полях в колхозах. Ходили по колхозам с агитбригадой («Как нас встречали!»).

Писали письма на фронт, вышивали кисеты. Выступали в сельском клубе, в госпитале. До станции Кез — 30 километров. 30 километров пешком.

Актрисой стала одна Марите, но эти концерты вспоминали многие. Они пели военные песни, танцевали литовский «шустас» и удмуртский «алыкэ», поставили даже детскую оперу «Узелок», либретто которой написала Еугения Тауткайте.

Кто-то из учителей написал ученице в тетрадь: «Помни: Родине нужны будут рабочие руки. Готовь себя к этому».

Не забыть им счастливого дня, когда Советская Армия перешла границу Литвы. Янина Валацкене была за шесть километров на сенокосе, к ней прибежали: взят Каунас!

Из Литвы стали приходить первые письма с веточками зеленой руты.

Все ближе и ближе день отъезда, и вот уже в Дебесы, в райисполком, приходит предписание: «Выделить на 15 декабря 16 лошадей сроком на 2 дня и на 18 декабря 50 лошадей для перевозки имущества и детей Литовского детского дома до станции Кез».

Возвращение

Прощай, тихая речка Чепца!

Прощай, Байгурезь! Прощайте, Дебесы! Вытянулись по дороге на Кез подводы с ребятами и детдомовским имуществом, а вслед им идут и идут люди. Несколько лет они вместе делили горе, теперь так же вместе делят радость. «Не работало тогда село», — скажет, вспоминая, Онуте Маценскайте, та, которая, едва понимая русские слова, плакала над «Станционным смотрителем». О себе она теперь говорит: «Всю жизнь прожила в Каунасе, не считая Дебес».

Накануне в клубе были устроены проводы. Лидии Карпавичене запомнился молодой человек («Ну, совсем молодой, худенький, с ежиком»), кажется, секретарь райкома. Он говорил: «Товарищи, вы приедете, застанете ваш край разоренным. Но не опускайте руки — страна у нас большая, поможем».

Весело стучат колеса: до-мой! до-мой! Звенят стекла от песен. Поэт Венцлова написал стихотворение «Родина», и Элите Межискайте тут же, в поезде, первой, прямо из блокнота поэта, читает его.

— А на какой улице ты живешь? — спрашивают у Онуте Дорайте.

Онуте — одна из самых маленьких — пугается:

— Я не помню… Около почты! Кто-то подсказывает:

— Около почты? Так это же улица Пулку!

Элите Межискайте:

— Нам выдали на дорогу по буханке хлеба и пять кусочков сахара, но я оставила кусочек хлеба и два кусочка сахара маме. Приехали в Каунас мы в семь часов вечера. Мы с Мицкявичусом выбежали из вагона, побежали к дому. Сердце дрожит. Постучала в дверь, в окно и услышала голос мамы… Многие дети не нашли родителей. Когда мы с мамой пришли на другой день на пункт, мы успокаивали их, как могли.

Лишь через очень много лет найдут друг друга Онуте Дорайте и ее мать. Погибли родители у Тересы — той самой, что в новогодний вечер в Дебесах была принцессой. Родители и четыре брата… «Мама! Где ты?» — назвала свою поэму Саломея Нерис. Сколько ребят в отчаянии повторяли эти слова!

Спустя годы

У них разные профессии.

Янина Валацкене работает на заводе. Онуте Маценскайте — в библиотеке Каунасского политехнического института, Генуте Эрсловайте окончила университет, научный работник.

Очень многие связали свою жизнь с детьми. Тереса — старшая сестра в детском санатории. В очерке о ней

республиканская газета писала, что под белым халатом у сестры Тересы «бьется пионерское сердце».

Много лет отдали школе бывший комсорг Пальмире Шалкаускене и Онуте Дорайте. Старшей пионервожатой работала Ирена Вилкайте.

Иногда они встречаются. По-прежнему любят читать стихи.

Мама, объясни мне, что ж молчит земля?
Днем ли, ночью темной — никогда ни звука.
Почему и солнцу не шепнет она,
Что гнетет ей сердце тягостная мука?

Один начнет, другой — подхватит, оказывается, все помнят эти строки Саломеи Нерис, которые они так часто читали в Дебесах.

Почему так вышло, что земля молчит,
Это, моя детка, неизвестно людям,
Но пока сквозь вечность путь она вершит,
Люди не исчезнут, были, есть и будут!

Чем завораживали их тогда эти строчки? Может, тем, что они были про них — и для них? Вместе с израненной землей в эти годы они учились молчать. Не жаловаться. Молчать и выстоять.

Люди не исчезнут, были, есть и будем!

Марйте Растейкайте:

— Это была школа дружбы, коллективизма, правда, суровая школа, но она нас научила не бояться трудностей. И еще — любви к человеку.

Миколас Слуцкис:

— Именно тогда, в военные годы, сложились у меня понятия добра, справедливости, Родины. Конечно, у каждого поколения есть свои точки отсчета. Но есть вещи, которые хочется сохранить. Например, человеческое настоящее тепло, а мы его узнали в те годы. Отзывчивость народа, доброту души.

Янина Валацкене:

— Мне приходится часто выступать, рассказывать ребятам про Палангу, про наше детство. И я, когда рассказываю, плачу. И мне часто хочется заглянуть им в глаза: почему они сидят тихо? Тоже взволнованы или просто потому, что «надо» отсидеть?

Жизнь отвечает на этот вопрос.

Несколько лет назад республиканская пионерская газета «Лиетувос пионерюс» обратилась к ребятам: давайте все вместе

соорудим памятник пионерам Паланги, детям войны. Соберем на это средства. Предложим проект памятника.

И посыпались в редакцию письма: собрали металлолом — в фонд памятника! Работали в колхозе — в фонд памятника.

Тысячи детских рисунков с проектом будущего памятника пришли в газету. Рисунков, в которых ребята выразили свое понимание трагедии, случившейся в первый день войны в Паланге.

Многие, не сговариваясь, девизом к своим рисункам взяли слова Саломеи Нерис «Мама! Где ты?».

Лучшие рисунки были напечатаны.

Стоит памятник в Паланге. Но есть еще один памятник их военному детству. Это — сегодняшняя дружба литовских и удмуртских школьников. Пионеры Дебес отдыхали в пионерских лагерях Литвы. Школьники Каунаса ездили в Дебесы. В Каунасе есть Музей литовско-удмуртской дружбы… Летят письма из Дебес в Каунас, из Каунаса — в Дебесы.

А одна из улиц Дебес называется Литовской…

Г. Марьяновский
Ташкентский вокзал

Представьте себе ташкентский вокзал — не сегодняшний, с просторной площадью и Вечным огнем у памятника погибшим комиссарам, с многоэтажными крыльями гостиницы и железнодорожного почтамта, — нет, ташкентский вокзал поздней осенью 1941 года.

Тесный, мощенный булыжником пятачок, со всех сторон зажатый приземистыми постройками, отгороженный от перрона частоколом толстых железных прутьев. Еще месяца полтора-два назад он не казался таким пугающе мрачным, суровым. Наоборот: все здесь играло яркими красками юга — цветы в палисадниках, зеленые купы деревьев над красной жестью домов, фонари на старинных столбах с чугунным узором. Тихо, только трамвай завизжит на разворотном кольце, звякнет колокол на перроне, и снова по-домашнему уютно, покойно, дремотно.

В первую военную осень здесь было по-иному. Каждые полчаса-час привокзальная площадь вбирает все новые и новые потоки эвакуированных — старики, женщины, дети. Не только на площади, а в скверике, на прилегающих улицах уже не то чтобы сесть — стоять легче. Люди с узлами, корзинами, сумками расположились на тротуарах, мостовой, в палисадниках, теперь вытоптанных. Позднее осеннее небо сыплет на их головы мокрые хлопья. Ночью, при полном затемнении, — ни огонька, ни светящейся точки. Серая шевелящаяся масса, черные контуры оголенных деревьев…

Каждый день по указанию местных властей сотни эвакуированных отправляют в город, где для них уже приготовлено жилье. Другие разъезжаются по районам. А к ночи площадь снова полна. Эвакопункт не успевает справляться с этой лавиной. И самое трудное — дети: один потерялся в дороге, другой отстал от детсадика, третий и сам объяснить не сумеет, откуда приехал, как очутился на ташкентском вокзале.

— Детей нужно спасать. В первую очередь! — говорит работникам Наркомпроса республики первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Усман Юсупов.

25 ноября был издан приказ наркомата просвещения Узбекской ССР, по которому на вокзале создавался Центральный детский эвакопункт во главе с Н. П. Крафт. Там же назывались и другие ответственные лица.

«Обязать т. Крафт, — говорилось в приказе, — установить

круглосуточную работу Центрального детского эвакопункта, распределив дежурства между указанными выше сотрудниками эвакопункта, привлекая для дежурства в помощь штатным сотрудникам детского эвакопункта лучших директоров детдомов».

Сейчас невозможно установить, кто из ташкентских учителей, врачей, воспитателей пришел первым на привокзальную площадь. Пришел ли сам по себе, по велению собственной совести, или же выполняя официальный приказ, резолюцию какого-то митинга. Известно, однако, что уже в октябре в зале № 6, где размещался «взрослый» эвакопункт, появились педагоги, воспитатели детских домов и садов, врачи-педиатры. Сменяя друг друга, они круглые сутки выходили встречать эшелоны, совершали обход привокзальной площади, чтоб не пропал, не затерялся в этом бурлящем потоке ни один оказавшийся без надзора ребенок. Детей приводили в зал № 6, а утром отправляли в детдом № 18.

Драматичные, тревожные сводки Совинформбюро осени сорок первого года: наши войска оставили Киев, Харьков, Смоленск, блокирован Ленинград, ведутся бои на подступах к Москве. И как отзвук — новые потоки эвакуированных, а среди них — дети, дети, дети…

К середине ноября стало понятно, что теми средствами, которыми велась работа дотоле, проблему спасения одиноких детей не решить. Вот тогда и появился приказ об организации на вокзале специального детского эвакопункта и назначении его заведующей заместителя начальника управления детдомов Наркомпроса Наталии Павловны Крафт. ЦДЭП открылся на второй день после приказа.

Диву даешься: как можно было за двадцать четыре часа все наладить, собрать, подготовить? Объяснение, говорят участники этого аврала, только одно: всякий причастный к открытию эвакопункта без принуждений, напоминаний сделал все, что должен был сделать, и сверх того — что сам, без приказа, придумал, нашел.

По распоряжению начальника ташкентского вокзала освободили помещение одной из товарных контор, примыкавших к залу № 6. Это было сделано в течение часа служащими этой конторы. Помещение убрали, продезинфицировали, приспособили для приема детей. Никто не смог отказать Наталии Павловне ни в одной просьбе.

К утру у касс и справочных бюро, на стенах хлебных ларьков и киосков, на кипятильниках и баках с водой, на всех дверях и чуть не на каждой стенке вокзала и площади висели яркие указатели с крупными буквами: «Детский эвакопункт». Это

постарались ташкентские школьники. По договоренности с вокзальной администрацией радиоузел, работавший круглые сутки, через каждые 15–20 минут повторял объявление: «Детей, потерявших родителей или сопровождающих, отставших от группы, просим зайти в детский эвакопункт, который находится на вокзале, рядом с залом № 6».

Здесь за столом, покрытым старенькой домашней скатертью, сидела женщина-регистратор. По телефону из диспетчерской железной дороги ее предупреждали о прибытии эшелона с детьми. Их ждал натопленный зал, аккуратно застеленные кроватки.

В первую же ночь в эвакопункте появились Председатель Президиума Верховного Совета республики, узбекский староста, как его называли в народе, Юлдаш Ахунбабаев и первый секретарь Ташкентского горкома партии Сергей Константинович Емцов. Здесь же, на месте, решались трудные вопросы снабжения ЦДЭПа продуктами, выделения для него постоянной машины, средств на приобретение детской одежды.

Каждую ночь Емцов бывал на эвакопункте. Очень часто приезжал и Ахунбабаев. Сначала тихо, осторожно ступая, пройдет меж рядами спящих ребят, зайдет в изолятор, постоит над кроватками самых маленьких, подоткнет одеяло, поправит подушку, и только потом начнется деловой разговор.

Прибывали эшелоны, как правило, ночью. Звонок из диспетчерской: «Из Арыси вышел поезд №… В четвертом, седьмом, девятом вагонах — дети. Прибытие в Ташкент — 2 часа 40 минут на второй путь». Или: «Поезд из Урсатьевской прибудет в 5 часов 15 минут на седьмой путь. В эшелоне имеются дети». И тогда на перрон выходила бригада — с носилками, аптечкой, детской одеждой. С тревогой вглядывались в медленно ползущий паровоз.

— У каждого из тех, кто находился в этих вагонах, была уже своя тяжелая, а порой и трагическая судьба, — рассказывала впоследствии Наталия Павловна. — Но что удивляло: на первый взгляд все они выглядели одинаково — испуганными, измученными, молчаливыми и малоподвижными. На этом сером, жутко сером фоне помнятся и видятся только ребячьи глаза — полные ужаса, горя, усталости и… надежды. Их не описать, не забыть.

Кто-нибудь из встречающих первым поднимался в вагон и как можно более бодрым голосом говорил:

— Здравствуйте, дети! С приездом! Кто хочет каши — выходи. Вещи с собой.

Эти слова обладали магической силой. Дети — те, что могли,

кто держался еще на ногах, — сыпались из теплушки.

Взяли за правило: первым делом вести ребят в баню. Но потом сами не выдержали — уж очень голодными были дети. Прямо от вагонов вели их в столовую. Дежурный врач предупреждал, чтобы не обкормили детей, неделями не видевших горячего: «Перекормите — погубите!»

Мария Кузьминична Дианова, одна из тех, кому администрация доверила прибывающих на ташкентский вокзал детей и подростков, до сих пор утверждает, что большего горя и радости, выше, чем в те военные дни, испытать ей уже не довелось никогда. Горя — при виде этих голодных, истощенных, полуживых малышей. Радости — оттого, что вместе с другими могла их согреть, обласкать.

А за теми, кто не мог выбраться из теплушек, приходили с носилками. На машине их развозили по детским больницам.

Полчаса отводилось на кормление детей в железнодорожной столовой. Через полчаса ровно нужно было оторвать их от стола, выстроить парами и вести на улицу Полторацкого, в баню и спецпропускник.

Заботливые женские руки помогали малышам раздеться, связать в узелок одежду, вложить записку с фамилией. Ребятишек стригли, мыли и одевали. Сколько же рук требовалось для этого — ведь весь штат эвакопункта состоял поначалу из пяти, затем из четырнадцати человек! Но такой вопрос перед ЦДЭПом не вставал. Женотделы райкомов партии, партийные и комсомольские организации заводов, институтов и школ, райздравотделы и поликлиники слали на вокзал своих представителей. Сначала слали, а потом эти люди уже не могли не приходить сюда.

Так, остались здесь работать Валя Муштакова, обладавшая каким-то удивительным даром располагать к себе ребячьи сердца, ее подруга студентка Тася Шпигель, молодой биолог Вера Федулова, учитель Николай Григорьевич Беляев, библиотекарь из Минска Софья Гуревич, педагог Елизавета Прохоровна Жигула и десятки, сотни других добровольцев.

Нет, это было не просто. Дети, неделями находившиеся в дороге, были завшивлены, свирепствовали тиф, дизентерия, кожные болезни. А ведь у многих, выходивших каждый вечер на перрон, были свои дети, которых они могли заразить. Восемь работниц эвакопункта, несших эту вахту добра, заболели сыпняком. Несколько человек — дизентерией.

«В 1941 году я работала учительницей начальных классов в школе № 50, — пишет ташкентская пенсионерка В. М. Евстигнеева. — Однажды меня вызвал к себе директор и

предложил пойти дежурным воспитателем в только что созданный на ташкентском вокзале детский эвакопункт. Я, не раздумывая, согласилась. Трудно было без слез смотреть на маленькие, обтянутые кожей скелетики, изъеденные вшами головки. Дети, с которыми я там работала, наверно, помнят меня — тетя Вера.

Но работать там пришлось мне недолго: как и большинство сотрудников ЦДЭПа, заболела сыпным тифом. После больницы меня перевели на инвалидность».

Многие и после болезни вернулись на эвакопункт. Но не все. Погибли любимица ребят Валя Муштакова, сторож эвакопункта Курбатов, завхоз Люба Гукасова… Их хоронили без воинских почестей. Но каждый, кто стоял над могилой, понимал: хоронят солдат.

И так же, как на фронте, на смену павшим вставали новые бойцы.

Много хлопот доставляла дежурным детская обувь… Ребятишки иногда по нескольку дней, а то и недель дороги не разувались. Одни — чтоб ботинки, сапожки не пропали, другие — по неумению. И теперь обнаруживались признаки обморожения или, того хуже, гангрены.

Путь из бани в эвакопункт бывал еще трудней. Отяжелевшие от непривычно сытного обеда, разморенные теплом, дети до того ослабевали, что передвигаться самостоятельно уже не могли. Приходилось нести их на руках.

В эвакопункте каждого регистрировали в специальном журнале учета (а это бывало подчас сопряжено с немалыми трудностями: малыш не мог ничего сообщить о себе — ни возраста, ни фамилии, ни места, откуда приехал). Записав на бумажке пункт назначения, ребятам постарше давали ее в руки, малышам — совали в карман или пришпиливали к левому плечу. После этого дети могли уснуть. Засыпали они мгновенно, быть может, впервые за несколько месяцев сном спокойным и сладким: под потолком горела самая настоящая лампочка, напоминающая дом, в желудке не было привычного чувства голода, а главное — им сказали, что больше нечего бояться бомбежек и утром их снова покормят.

Дежурные воспитатели обходили зал, готовились к утру. Раиса Львовна Верник резала хлеб (этим в течение многих месяцев занималась только она — знак самого высокого и полного доверия). Ответственный дежурный по спискам разбивал ребят на отдельные группы, которые завтра в соответствии с разнарядками отправятся к месту своего нового жительства. Подростки старше четырнадцати лет — в ремесленные и

железнодорожные училища, на предприятия и в колхозы, дети школьного возраста — в детдома Ташкента и других городов Узбекистана. Самые маленькие оставались в Ташкенте.

Евгения Валерьяновна Рачинская, заместитель наркома просвещения республики, — ее организаторскому таланту, доброму сердцу обязаны спасением многие тысячи детей и подростков, эвакуированных в Узбекистан из прифронтовой полосы — впоследствии вспоминала:

— В 1942 году на территории нашей республики и поблизости скопилось сразу несколько эшелонов с детдомами, эвакуированными из Центральной полосы России и с Украины. Один из них, направлявшийся в Барнаул, уже несколько дней стоял в Арыси, другой, следовавший в Ош, застрял в Андижане: станции назначения не принимали. Узнав об этом, Усман Юсупов срочно вызвал меня в ЦК и сказал: «Принимайте и устраивайте в наши детдома всех детей без отказа. Открывайте новые детдома. Можете использовать для этого все пригодные помещения: колхозные клубы, красные чайханы, интернаты. Если понадобится, отдадим детям здания правлений колхозов. Ни один прибывший к нам в республику ребенок не должен остаться неустроенным. Если вы видите, что дети истощены дорогой, оставляйте эшелоны в Ташкенте, даже те, что направлялись в другие республики. Узбекистан примет, устроит, воспитает и обучит всех».

Эшелон с дошкольными детдомами повернули из Арыси в Ташкент, и двести семь его малолетних пассажиров на все годы войны стали воспитанниками детдома № 2 Калининского района Ташкентской области.

«Самарканд», «Фергана», «Карши», «Наманган» или «Бухара», «Андижан», «Ургенч», «Коканд» — таблички с этими обозначениями висели к утру на дверях эвакопункта. Ответственный дежурный, связавшись с диспетчером железной дороги, обычно знал, на какие пути будут поданы поезда для детей, а диспетчеру было известно, сколько детей отбывает в том или ином направлении. Согласованность в действиях давала возможность избежать суеты и неразберихи.

За час до отправления составов дежурная будила детей:

— Ребята! Сейчас вам выдадут хлеб, и вы поедете дальше. Посмотрите свои записки и идите к той двери, над которой написано «Самарканд». У кого «Бухара» — к двери «Бухара». Скоро вы будете в своем новом доме. Устроитесь, приведете себя в порядок, а потом — в школу.

В этот момент в зале обычно становилось суматошно и шумно. Одни шли налево, другие протискивались в обратную

сторону. Дети, вчера еще все одинаково вялые, угрюмые, молчаливые, вдруг оживлялись, у каждого проявлялся характер, кто-то даже начинал озорничать.

— Теть, а Бухара — это где Насреддин? — спрашивал мальчишка.

А девочка, совсем еще кроха, огорченно вздыхала:

— В школу не пустят меня — учебников нет. Всю дорогу везла, а потом вместе с мамой потерялись куда-то.

Мальчик пяти-шести лет тянул за рукав воспитательницу, подставив ей плечо с приколотой запиской:

— А что у меня тут написано — в какую мне дверь, тетя?

Построившись парами, дети направлялись к вагонам. Проводницы доставляли детей до станции назначения и под расписку, по строгому счету передавали состав работникам областных или городских отделов народного образования, директорам и воспитателям детдомов. За многие месяцы, что велась эта работа, не было ни единого случая утери ребенка в дороге.

За теми, кто оставался в Ташкенте, приходили машины. Женщины, добровольные помощницы сотрудников ЦДЭПа, расходились — кто домой, кто по своим хозяйским делам, а кто и на службу. Но случалось, что кто-то забирал с собой и малыша:

— Слабенький очень. Не выдержит. У меня трое постарше. А где трое, там и четвертый прокормится.

Многих разбирали ташкентцы. Бывали ночи, когда за детьми выстраивались очереди. Выбирали не самых красивых, приглядных — нет, самых слабых, больных, истощенных.

К утру помещение эвакопункта пустело. Разошлись добровольцы. Но не все — иные остались. Вместе с сотрудницами, заступившими на новую смену, с теми, кто прислан сегодня женотделами райкомов партии, райкомами комсомола, кто пришел с предприятий, из институтов и школ, они будут чистить, дезинфицировать, мыть, стирать и гладить, чтобы принять новую партию эвакуированных детей. И так изо дня в день, каждую ночь.

Ребенок находился на эвакопункте не более суток. Нарушение правила было чревато многими бедами. Значит, к утру 150–200 детей, а в самое тяжелое время 400–500 должны быть приняты, накормлены, пострижены, помыты и переодеты, подвергнуты медицинскому осмотру, зарегистрированы, распределены и отправлены из эвакопункта к месту жительства. Одна цифра: к концу 1942 года в регистрационной книге эвакопункта появился порядковый номер 47000. Это только детей-одиночек. К ним нужно прибавить эвакуированные 84 детдома, детсада, интерната, школы, тоже попадавшие под опеку

ташкентцев. Таков масштаб деятельности ЦДЭП. Да, это был титанический труд.

Обычно директора, воспитатели с гордостью показывают письма бывших воспитанников — сердечные, исповедальные, благодарственные. Что ж, это действительно лучшая оценка того, что сделали для них детдома.

В архивах ЦДЭПа таких писем немного: за несколько часов, проведенных на эвакопункте, дети не успевали запомнить тех, кто их встречал. Но одно все же приведу:

> «Я один из тех сотен тысяч ребят, что прошли через детский эвакопункт на ташкентском вокзале.
>
> Шел конец ноября 1941 года. Немецко-фашистские войска рвались к Северному Кавказу, где временно находился и я в детском доме в станице Казанской Краснодарского края. После взятия Ростова-на-Дону над Кавказом нависла угроза оккупации, и мне пришлось в одиночку пробираться в глубь страны. Мне тогда шел четырнадцатый год. С большим трудом я добрался до Баку, а оттуда на теплоходе «Москва» пересек Каспийское море и через несколько дней оказался на перроне ташкентского вокзала. Ко мне подошла какая-то женщина, спросила, кто я, откуда и куда еду. Затем она отвела меня в одноэтажное здание, находившееся на привокзальной площади, в котором помещался Центральный детский эвакопункт. Там оформили на меня документы, потом вымыли в бане, избавив от «дорожных спутников», накормили и уложили в чистую постель. Какое блаженство, что ты можешь наконец нормально, по-человечески отдохнуть!
>
> Спасибо женщинам, работавшим на этом эвакопункте! Я не помню их имен и фамилий. Но это были честные, добрые люди, на время заменившие нам утерянных отцов и матерей.
>
> Еще раз земное русское спасибо им за все доброе, что они тогда для нас сделали!
>
> Ленинград
>
> *А. Сиваков, учитель».*

И еще один документ — протокол заседания исполкома Ташгорсовета от 5 марта 1942 года:

> «Пункт 120.
>
> Слушали: О награждении особо отличившихся

работников на детском эвакопункте и в карантинном детском доме (внесено председателем Ташгорисполкома).

Решили: За отличную работу на детском эвакопункте и в карантинном детском доме наградить:

1. Наталию Павловну Крафт — зав. детским эвакопунктом — грамотой исполкома Ташкентского городского Совета и денежной премией.

2. Раису Львовну Верник — грамотой исполкома Ташгорсовета и денежной премией.

3. Александре Харлампиевне Быковой объявить благодарность.

4. Цецилии Самуиловне Гамбург объявить благодарность».

С увеличением потока прибывающих детей совершенствовалась система их распределения. Для больных или бациллоносителей требовалось особое помещение.

На улице Весны был открыт карантинный дом. Здесь дети находились в течение двух недель под надзором врачей, и только после этого их переводили в обычный детдом.

Ставшая вскоре по совместительству директором карантинного детдома Раиса Львовна Верник рассказывает:

— Дети попадали к нам истощенные, слабые. Некоторых приносили на носилках. Их надо было подкрепить, чтобы директора детдомов забирали их без опаски. И тут уж делалось все. Дети получали мандаринные и лимонные соки, шоколад и гранаты, яблоки и сухофрукты. Карантинному детдому были выделены дополнительные средства для закупки овощей и свежих молочных продуктов на рынке.

Но дети нуждались в восстановлении не только физического здоровья, но и духовного. Страшные тени пожарищ, убийств и бомбежек еще долго преследовали их. Они были молчаливы, замкнуты. Здесь даже самые лучшие лекарства не помогали. Только заботой и лаской можно было растопить их сердца. Работники карантинного дома делали все, чтобы дети чувствовали себя как в родной семье. Приглашали артистов, детей вовлекали в самодеятельность. Сотрудники приносили из дома книги, шахматы, игрушки, картинки, краски. Удивительно, как старая кукла, изукрашенный мячик, потертый котенок возвращали ребенку душевный покой, давно забытую радость.

Приказ наркома просвещения: «Республиканской выставке детской игрушки передать карантинному детдому игрушек и прочего инвентаря на 2000 рублей…»

И еще одно воспоминание.

Среди огромной массы людей, запрудивших площадь ташкентского вокзала, оказались братья Гребельские — Лев, Сергей и Борис. Увидев стрелку, указывавшую дорогу к эвакопункту, старший, двенадцатилетний Лева, повел к нему братьев.

«На эвакопункте к нам отнеслись очень чутко, сердечно, — вспоминает офицер Советской Армии Лев Гребельский. — А на следующий день отправили в детдом на улице Весны. Здесь нас приняли как родных. В ту пору в Ташкенте дислоцировалась Одесская школа военно-музыкантских воспитанников РККА. Из этой школы приехали к нам в детдом представители и стали отбирать способных к музыке ребят. Попал и я в их число, но переходить в музыкантскую школу поначалу не соглашался: не хотел разлучаться с братьями. Директор детдома и воспитатели меня уговаривали, объясняли: и мне, мол, будет хорошо, и Бориса с Сережей в ближайший детдом устроят. Пришлось уступить.

В 1942 году нас разыскала мама. И опять благодаря женщине, работавшей на эвакопункте. А случилось так: мама ехала в трамвае и плакала, отчаявшись найти своих сыновей. Рядом сидевшая женщина спросила, отчего она плачет. Узнав, радостно сказала: «Знаю я их, видела всех троих. В карантинном детдоме ищите».

Да, многие знали тогда этот дом. С утра и до вечера шли сюда люди. Одни — в поисках собственных детей, другие — предложить помощь, третьи — чтоб взять себе ребенка. Две тысячи детей было взято только в карантинном доме! А всего за годы войны Узбекистан приютил, согрел, вернул к жизни более ста тысяч осиротевших эвакуированных детей.

И. Александрова
Укрыла от беды шинелью

Первый месяц войны. Тяжелые оборонительные бои у западной границы, первые десятки километров оставленной территории. Отступление. Дороги забиты артиллерией, машинами, повозками беженцев. Но вот из латвийского городка Цесиса в сумерках выезжают четыре грузовика с потухшими фарами — в каждом кузове по три красноармейца с ручными пулеметами — и лесным проселком движутся на запад, обратно к границе, навстречу наступающим фашистским подразделениям. У бойцов особое задание, о котором почти четыре десятилетия спустя рассказал в своем письме в редакцию «Известий» подполковник запаса Леонид Евстафьевич Паламарчук из Золотоноши.

…Удивительное явление — почта большой газеты. Сколько уж написано о войне, а какое-нибудь простое письмецо откуда-нибудь из-под Ряжска или вот Золотоноши вдруг высветит в общей панораме событий такой «крупный план», какого не встретишь ни в самой подробной хронике, ни в романе, ни в фильме.

Итак, операция, порученная молодому военнослужащему Паламарчуку, сидящему рядом с водителем в кабине автомашины, могла быть обозначена одним словом — дети.

«Я имел от члена Военного Совета 8-й армии дивизионного комиссара т. Шабалина задание: возвратиться в район юго-восточнее занятой оккупантами Риги и вывезти оставшийся там пионерский лагерь.

Проселок тянулся то через лес, то по открытой местности. Плохо то, что со своими солдатами объясняюсь с трудом: это были латыши, военнослужащие из латышского национального корпуса, русского языка не знают, как я — латышского.

Ехали всю ночь с частыми короткими остановками. На остановках я прислушивался, но, кроме автоматной и пулеметной трескотни справа, ничего не было слышно. Наступил рассвет, впереди послышались редкие разрывы снарядов и мин, мы опять остановились, я вышел из кабины автомобиля и пошел на опушку леса. И вдруг четко услыхал детский плач слева от дороги. Одновременно я заметил перебегавшие от дерева к дереву фигурки детей, которые прятались за кустами и стволами деревьев. Плач прекратился. Я стал звать ребят, но ко мне никто не шел.

Громко объясняю, что я свой, советский, приехал за ними, что латышские солдаты — тоже наши. После этого ребята очень робко начали выходить на опушку. Тут же появились пионервожатые и воспитательницы. Оказывается, 152 мальчика и девочки в возрасте от десяти до двенадцати лет да около десяти человек взрослых всю ночь бродили по лесу и наконец решили самостоятельно идти на восток.

Кое-как успокоив детей, мы посадили их на машины и накрыли брезентом. Туда же забрались и взрослые, и мы поехали обратно. 15 июля 1941 года я доставил всех ребят и взрослых в Цесис и передал представителям политотдела для последующей отправки в глубь страны.

Прошли десятилетия — дети стали взрослыми, а мы постарели, и у каждого своя судьба. Очень жаль, что в той исключительно тяжелой обстановке и суматохе я не записал фамилий ни руководителей пионерского лагеря, ни латышских военнослужащих, которым я очень благодарен за образцовое выполнение трудного задания».

Сейчас даже самым младшим из них за сорок. Зрелый, уверенный возраст. Профессия, дом, вкусы, семья — все определилось, устоялось. У некоторых появились внуки. Но всего этого реально могло не быть — ни профессии, ни внуков. Вот как говорит об этом А. Анисимова из Приозерска Ленинградской области, уроженка деревни Егорьевки, что недалеко от Орла:

> «Воспользовавшись тем, что на улице поутихло, мама пошла за водой. А в это время в нашей хате кроме нас жили на постое шестеро солдат. Как только начался обстрел, бойцы стали один за другим выскакивать на улицу к орудиям. Моя старшая одиннадцатилетняя сестра бросилась к последнему, уцепилась за рукав и отчаянно закричала: «Дяденька, вернись, не бросай нас!..» Тут загрохотало. Он толкнул нас за печку, прикрыв сверху своим телом и полами шинели. Когда все стихло, солдат встал, отряхнул шинель, одна пола которой оказалась пробитой осколком, и сказал вбежавшей с другими солдатами маме: «Не знаю, хозяйка, кто везучим родился — я или твои дети».
>
> Мы не помним его лица, не знаем ни его имени, ни фамилии, ни номера части, где он служил. Вспоминает ли он, если жив, войну и трех перепуганных ребятишек с Орловщины? Может быть, ему интересно будет узнать, что мы все трое выросли, разлетелись в разные концы страны, имеем свои семьи. А наши родители и по сей

день живут в той же Егорьевке».

Инженер И. Лейбман из Саратова, в прошлом минчанин, тоже пишет о смелом человеке, довоенном начальнике пионерского лагеря «Ратомка» под Минском. 22 июня 1941 года над этим лагерем уже летали немецкие самолеты, и начальник увел пятьсот ребят в лес, а затем добился для них вагонов. В Минск они въезжали уже буквально сквозь огонь. Вот она, граница мира и войны, увиденная глазами подростка сквозь узкое окошко товарного вагона:

> «Обычно с вокзала новый Дом правительства был не виден, но закрывающие его здания уже были разбиты, и сквозь дым я вдруг различил наш Дом правительства, только красный флаг над его крышей стал черным от копоти… Наш начальник не велел нам выходить из вагонов и сам не пошел разыскивать свою семью, а под бомбами побежал добывать для нас паровоз, и уже через час мы ехали в глубь России. В Хвалынске он сдал нас тамошним педагогам и ушел на фронт».

Начальник пионерлагеря «Ратомка» эвакуировал здоровых ребятишек, а врачи и воспитатели детского костнотуберкулезного санатория под Ленинградом, недалеко от Луги, оказались под бомбами с тремястами беспомощными, прикованными к кроватям детьми. Кровати перенесли в лес, накрыли марлевыми пологами от комаров. Рядом расположилась воинская часть. Когда стало ясно, что придется отступать дальше, командир части сказал, что машины они отдают больным детям. Их везли сначала на грузовиках, покрытых зелеными ветками, потом на руках перенесли в поезд и привезли в Кировскую область, в живописное село Русский Турек.

> «Часто мы жили без света, с коптилками. Не хватало то хлеба, то соли, часто питались тыквой, но, как только появлялась возможность, нас кормили отлично. Главное — о нас заботились, нас лечили, учили, в нас верили».

Это рассказывает ленинградка Ю. Василькова, сотрудница Института текстильной и легкой промышленности имени С. М. Кирова. Мать Васильковой погибла в блокадном Ленинграде. Только после войны нашла она двух младших сестренок. Оказалось, в Ленинграде был создан областной специальный детский дом художественного воспитания, и обе музыкально одаренные девочки были помещены туда. Все три сестры

получили высшее образование, одна окончила Ленинградский университет, другая — Саратовскую консерваторию, третья — Свердловскую.

Читаешь эти письма и понимаешь вдруг: а ведь они не о войне — они о мире. Все рассказанное в них как бы спорит с известным изречением: «На войне как на войне». Все в них — на войне не как на войне! Люди как будто сговорились не делать скидок на обстоятельства, ни в чем не уступать лихолетью. Что бы там ни происходило, они знали: детей надо лечить, учить, верить в их будущее. Несмотря ни на что.

> «…Отец мой погиб в начале войны, от ранений умерла мама. С тех пор моим домом стал детский дом «Адамполь» недалеко от города Новогрудка, куда нас, военных сирот, свозили со всей Белоруссии — с базаров, вокзалов, из воинских частей, из лагерей смерти, из детских приемников, из партизанских отрядов, из-под Минска, Витебска, Брянска и Орши. Многие из нас видели, как умирали родные, как горели города и села, свои дома и хаты, как гитлеровцы расстреливали и сжигали целые деревни; прямо в детское лицо заглядывал зрачок фашистского автомата… В школе нас не учили писать по слогам «мама» и «папа» — учителя и воспитатели при нас таких слов старались не произносить. И пели мы не детские песни, а «Темная ночь», «До тебя мне дойти не легко, а до смерти — четыре шага».

Такие были дети. А педагоги?

> «Вчерашние партизаны и солдаты в выцветших гимнастерках, опаленных шинелях, в истоптанных сапогах, они пришли к нам в детский дом, спеша заменить нам родителей, дать нам знания. Михаил Артемович Дойнеко — недавний политработник партизанского отряда, Таисия Михайловна Вержбицкая — партизанка, Петр Яковлевич Балматенков — фронтовик, Валентина Павловна Цуканова, Валентина Федоровна Балкашинова, Леонид Анисимович Толкачев — тоже фронтовики. Помню еще Ольгу Яковлевну Полоник, Степана Романовича Спичукова, Аркадия Исаевича Альтшуллера.
>
> *Александр Щука, Минск».*

«Он был летчик, и, конечно, ему нашлась бы хорошая работа в любом месте. До сих пор удивляемся, что заставило его приехать в Дараганово и взять на себя такую обузу? — пишут «две Жени», подруги по Дарагановскому детскому дому послевоенных лет, москвичка Е. Кузнецова и жительница Кокчетава Е. Мазур о директоре детдома, ныне заслуженном учителе БССР Юрии Михайловиче Ящаке. — Нам хотелось бы побольше узнать о бывших наших воспитателях…»

Где вы, первые учителя партизанских сирот, где вы, начальник пионерлагеря «Ратомка», где ты, солдат, закрывший ребят шинелью? Вряд ли вы забыли своих питомцев тех лет. Ищет же бывший солдат Спандияр Косанов из поселка Джусалы Кзыл-Ординской области некоего Алексея Матвеева, мальчика Алешу, найденного им среди руин и пепла сожженной деревни под Ржевом и усыновленного 101-й отдельной Казахской стрелковой бригадой. Позже бригаду расформировали, Косанов и его маленький товарищ попали в разные части и потеряли друг Друга.

«После войны, — пишет С. Косанов, — я вернулся на родину. Работал в партийно-советском аппарате, сейчас — директор Кармакчинской межрайконторы Плодоовощторга. Имею семерых детей, восьмерых внуков. Старший сын — коммунист, работает главным инженером рельсосварочного поезда, старшая дочь окончила мединститут и трудится в Алма-Ате, один сын служит в рядах Советской Армии, остальные учатся… Но я не могу забыть еще одного моего сына — Алешу. Очень хочется знать, нашел ли он родственников, как сложилась дальнейшая его жизнь».

Как видите, в письмах-воспоминаниях не только прошлое, но и настоящее. И, если хотите, будущее.

«Итак, нам в этом году исполняется сорок пять, — пишет из Литвы Альберт Филиппов. — Нам — это ровесникам и ровесницам, братьям и сестрам моим по Ядринскому детскому дому, что был создан в Чувашии для военных сирот. Сейчас нас разбросало по всей стране, мы стали педагогами, врачами, военными, рабочими, инженерами…»

И еще одно письмо:

> «Мне сейчас пятьдесят. В 1941 году я пошла в школу, в первый класс. Это было в Ленинграде.
>
> Наступили холода. Мы стали замерзать в нетопленых классах. Приближалась блокадная зима, а с ней голод, сильные обстрелы, бомбежки. В школу стало ходить все меньше и меньше ребят. В начале декабря не пошли и мы с братом. Школу отдали под госпиталь. А

директор нашей школы ушел на фронт и стал летчиком. Так, во всяком случае, говорил мой старший брат, третьеклассник.

Но вот накануне нового, 1942 года нам с братом пришла открытка. В дни зимних каникул нас приглашали в школу на елку! Оказалось, директор прибыл с фронта на побывку и привез подарки. Нас собралось, наверное, человек двадцать. Все уместились у директора, в его комнате при школе. Елка, настоящая елка стояла на столе! Мы пили чай, пели песни. А когда расходились по домам, нам дали по маленькой шоколадке.

Став взрослой, по комсомольской путевке я уехала из Ленинграда на Север. И вот уже восемнадцать лет живу в городе Заполярном Мурманской области. У меня три сына. Старший Юра уже служит в Советской Армии. Как и каждая мать, я хочу, чтобы мои дети всегда видели над головой чистое небо, чтобы никогда не пережили того, что довелось нам испытать в войну в осажденном городе.

Однако помнится об этих днях не только плохое. Мне было тогда всего восемь лет, я не помню фамилии нашего директора школы. Но если он жив, я хотела бы низко, до земли поклониться этому человеку. Помнит ли он ту елку? Знает ли, сколько радости доставила она нам в тот новогодний вечер, какую память он оставил по себе на всю жизнь? Кажется, не было у меня другой такой елки и слаще того шоколада никогда потом не ела…»

Это — письмо Гавриловой из Заполярного.

В результате сложных поисков, в которых приняло участие множество людей, нашелся тот летчик — И. Нанес. Он жив, войну закончил под Веной, вернулся в школу.

Пока искала его, нашли многих похожих. И такое сложилось впечатление, что едва ли не каждый ленинградский школьный директор 22 июня сменил свою мирную профессию на военную.

Да и елка — она ведь могла произойти в любой ленинградской школе, куда мы звонили! Хочется поклониться всем директорам и учителям ленинградских школ, в те суровые дни оставшимся верными своему взрослому долгу, своему прекрасному делу.

Разные судьбы, разные адреса, разные профессии у людей, но письма их об одном: застигнутое врасплох войной детство не оборвалось. Так об этом и сказано в стихотворении

представительницы того же спасенного из огня поколения Р. Анастасьевой:

В тот грозный для Отчизны час
Нас чьи-то руки подхватили
И в детство возвратили нас!

Не иссякает военная тема. Сквозь годы все величавее видится наша Победа и все четче проступают в ней черты тех, кого сама страна, как тот солдат шинелью, укрыла от беды.

Ал. Левина
Мамкин и его дети

В апреле 1944 года на белорусской земле произошло событие, казалось бы не имевшее отношения к боевым действиям и никак не повлиявшее на ход сражений. Но позже военные исследователи напишут, что это единственный случай в истории Великой Отечественной войны. Из фашистского тыла, прямо из-под носа у оккупантов, были выведены в партизанский отряд, а затем переправлены на Большую землю около двухсот воспитанников Полоцкого детского дома. Детей спасли белорусские партизаны и летчики 105-го авиационного полка.

Из школьного сочинения наших дней:

> «Это было так: во время войны не всегда успевали эвакуировать детей в тыл. И в немецком окружении остался целый детский дом. Партизаны узнали, что детей там плохо кормят, берут у них кровь, и решили их спасти. Они украли детей у фашистов и перенесли их в партизанский отряд. Командир 105-го гвардейского полка узнал об этом и сказал пилоту Саше Мамкину: «Полетишь, возьмешь детей и перелетишь через границу к нам». Мамкин был ночным летчиком. Он летал на старом самолете, который фашисты называли «Рус-фанера», потому что он почти весь был деревянный. На нем Мамкин сделал много вылетов, а точнее, 73. Восемь вылетов прошли успешно. Оставался последний. Мамкин поместил детей в кабину. И в брезентовые капсулы под крыльями буквально запихнул по три человека. Взял десять детей, двух раненых и воспитательницу. И вот его самолет взвился в небо и полетел к нашим. Но над линией фронта его атаковали хорошо вооруженные вражеские истребители. И подожгли. Самолет Мамкина летел в небе, как факел. Летчик вел самолет, а сам горел, и комбинезон, и унты — все было в огне.
>
> У него был парашют, он мог бы спрыгнуть и спастись. Но парашют был один, а в самолете — тринадцать жизней. Он думал, что везет маленьких граждан счастливого будущего, и не посмел отнять у них светлое завтра. Саша погасил страх перед смертью. Сам весь в огне, он вел самолет через фашистские территории и перетянул на русскую сторону.

Обгоревший и раненный, он посадил самолет, а сам потерял сознание. Старший из детей понял, в чем дело, выскочил и помог выйти другим. Только они отбежали, как самолет взорвался. Дети все остались живы, а Мамкин умер».

Все, что написано в сочинении, верно. Из воспоминаний Владимира Форинко:

«Мне было всего четыре года, и в моей памяти сохранилось мало, но кое-что помню. В самолете было очень тесно, и каждого из нас лично усаживал дядя-летчик. В памяти всплывает какой-то треск, догорающий самолет, заплаканное лицо воспитательницы… Помню, как в землянке меня посадили на нары, на которых лежал летчик. Лицо у него было все в ожогах, он бредил, тянулся куда-то руками. Позже я узнал, что у него сгорели даже лямки парашюта, а очки вплавились в лицо…»

Это было 10 апреля. А на следующий день фашисты начали массированное наступление на белорусских партизан.

Но дети, вывезенные на Большую землю, уже были в безопасности.

В 227-й московской школе вот уже много лет 10 апреля отмечают день памяти Мамкина.

Показывают кадры из фильма «Великая Отечественная». Мамкин в них такой же, как на фотографии в актовом зале, — подтянутый, ироничный, красивый. Под портретом написано — Александр Петрович Мамкин. Но все, даже малыши, зовут его Саша. Наверное, потому, что в рассказах его боевых друзей он навсегда — Саша, молодой, отчаянный, веселый.

Мамкин никогда не учился в этой школе. Но в школьном музее его имени каждый год собираются в этот день его боевые друзья по авиаполку.

В этот день его вспоминают не только в 227-й московской школе. И в Репьевской школе в Воронежской области, на его родине, и в 73-й школе Минска, где создан музей партизанской бригады Шмырева, и в городе Велиже, где Мамкин похоронен. И в семьях тех, кому он вторично подарил жизнь.

Его имя носят пионерские дружины. Пионер одной из них пятиклассник Максим Шведко пишет:

«Я считаю, что нашей дружине правильно присвоили имя летчика Мамкина. Потому что, хотя он и не нас

спас, и не наших родителей, а чужих, незнакомых нам людей, мы все гордимся его подвигом. Страшно подумать, что было бы, если бы люди не были способны на такие подвиги и каждый спасал бы только сам себя. Мы не могли бы тогда победить, и, может быть, никого из нас сейчас вовсе не было бы».

Ты все правильно сказал, Максим Шведко из пятого «А»: Александр Петрович Мамкин отдал жизнь и за тех тринадцать пассажиров своего самолета, и за всех нас, живущих.

Л. Очаковская
Азбука на бересте

Старая, выцветшая фотография. На ней с трудом можно рассмотреть пионерский строй, знамя, взрослых полувоенных людей, женщин — не то учительниц, не то вожатых. И надпись на обороте: «Партизанская школа отряда им. Макаревича, 1944 г.» Да, такая школа была создана и действовала в партизанской бригаде имени Свердлова, в белорусском лесу. Но сначала о ее создателях — Вере Георгиевне Ивановой и Ядвиге Антоновне Чернявской…

Вы были в Брестской крепости? Видели эти поросшие травой красные кирпичные стены? Читали нацарапанные кем-то на кирпиче слова: «Умираем, не срамя»? Помните желтое пламя в закопченной чаше у обелиска? Вечный огонь — не только знак вечной памяти о погибших. Это и вечный набат военных пожаров, напоминание о них.

Вечером 21 июня Вера Георгиевна была с мужем в театре. В конце спектакля в зале вдруг погас свет, не было его и на улицах. Но это их не насторожило. Они были молоды и счастливы, они бежали домой к своему малышу. А утром в их дом ворвались фашисты. Мужа Веры Георгиевны, коммуниста, директора техникума, в тот же день расстреляли. Так же вошла война и в дом Ядвиги Антоновны Чернявской, подруги Веры. Они вместе работали в школе, учили детей. Теперь не стало школы. Ничего не стало. Они решили жить вместе, так все-таки легче. Друзья помогли им связаться с подпольем. Устроившись на работу грузчицами вещевого склада, добывая для партизан вещи и лекарства, они начали бороться с врагом, побеждая свой страх, тоже, как и герои крепости, готовые «умереть, не срамя».

Как-то утром, было еще очень рано, Ядвига Антоновна и Вера Георгиевна торопились на работу. Молча, хмуро шли они по улице. А навстречу фашисты гнали колонну женщин и детей из гетто. Неторопливо, в оцепенении обреченности шли люди навстречу своей судьбе, о которой к тому времени догадывались уже все жители Бреста. Вера Георгиевна и Ядвига Антоновна и сейчас помнят, как стояли на тротуаре среди немногих прохожих, сжимали в руках «аусвайсы» и думали, кричали молча об одном: только не так, только не в колонне отторгнутых от всего мира людей. Пусть смерть, но в борьбе.

В то утро они первый раз читали грузчицам записанную ночью сводку Совинформбюро. А после работы уносили с собой

бинты, медикаменты, теплые вещи для партизан.

Они жили так около трех лет, не зная, кто рядом, благословляя каждый день, если он прошел без облавы, и ночь, если удавалось встретить утро в своих постелях.

Когда спустя много лет после войны в Бресте состоялось собрание бывших подпольщиков, было много удивительных неожиданностей: здесь оказались соседи по дому, сотрудники одного учреждения, люди, помнившие друг друга по случайным встречам при обмене одежды на продукты. Это было не только неожиданно, но и прекрасно: не будь такой конспирации, не было бы и этого собрания. И не было бы того чуда, о котором я хочу рассказать.

Зимой 1944 года гестапо в предчувствии конца стало все чаще проводить облавы. Участились аресты и казни. Командование партизан приняло решение отозвать подпольщиков из города в лес. Из Бреста с помощью связного Вера Георгиевна и Ядвига Антоновна выбрались, спрятавшись в вагоне товарного поезда. В указанном месте скатились под откос в мокрый снег и грязь. Провожатый сказал им, что вон там, в лесу, начинается партизанская зона. И они поползли, а потом побежали к лесу и к болотам.

Зона — огромные топкие болота, покрытые по островкам деревьями, а по топям — мелкими кустиками. Вслед за проводником они вошли в болото и так, по плечи в снежной жиже, добрались через несколько часов до своих. В первой же избе они услышали, как кто-то крикнул: «Мама, да это же Вера Георгиевна, моя учительница!»

Через несколько дней в так называемом семейном лагере партизанской бригады имени Свердлова начали создавать школу.

Семейные лагеря возникли в конце 1942 года, когда гитлеровцы, охотясь за партизанами, стали уничтожать их семьи. Когда уже пылали непокоренные белорусские села, женщины, старики и дети целыми деревнями, собирая все, что можно взять с собой, уходили на болота под охрану партизан. Продукты сдавали в общий котел, рыли землянки и начинали лесную жизнь. А она была суровой: костров не жечь, чтобы враг дыма не видел, детишкам по лужайкам и прогалинам не бегать. Отходить на далекое расстояние тоже нельзя — болота оплошностей не прощают, засасывают быстро. И вот в таких условиях, когда три раза в день раздавался крик «Обе-е-ед!» и все тянулись с котелками за коллективной похлебкой и много раз в день крик «Во-оз-ду-ух!» и все бежали маскироваться и прятаться, детей не только спасали, но и учили. Девятнадцать школ насчитывалось в семейных лагерях брестских партизанских бригад весной 1944

года!

Школа, в которой работали Вера Георгиевна и Ядвига Антоновна, называлась школой № 2 «У дуба». На островке среди болот они вместе со старшими ребятами расчистили площадку между двумя большими дубами. Огородили ее березами и замаскировали навесом, соорудили даже парты, скамейки и учительский стол. Классной доской служил добытый кем-то из партизан лист фанеры, над ним прикрепили лозунг: «Смерть немецким оккупантам!», проложили к школьному острову гать по болотам. Но раньше всего, в самый первый день, они сделали то, что по закону о всеобщем обязательном образовании обязана делать и делает по сей день наша школа: переписали всех детей школьного возраста. Оказалось 92 человека, из них 61 первоклассник.

Через неделю торжественным маршем ребята пошли на свой первый урок. В течение пяти месяцев школьный день под дубами продолжался по двенадцать часов. Наверное, поэтому с 1 сентября 1944 года, сразу после освобождения Брестской области, ребята смогли продолжать учение в следующем классе.

Как учились и как учили в школе «У дуба», если на всех был один букварь, один учебник истории, один задачник арифметики и один учебник грамматики? Без бумаги, мела, чернил, карандашей? А так и учили. С выдумкой и риском. Во-первых, партизаны возвращались с задания не с пустыми руками: кто обои несет, кто газеты, карандаши. Даже школьный звонок добыли. Да и сами ребята проникали за немецкие посты и собирали кое-что полезное для школы. А во-вторых, действовала изобретательская мысль. Ребята обнаружили залежи мела — теперь было чем писать на доске. Перед школой расчистили площадку, посыпали песком и, сидя на корточках, выполняли домашние задания палочкой на песке-. Учительница тут же проверяла сделанное. «Во-озду-ух!» — кричит вдруг дежурный, и островок пустеет. А потом снова: «Ма-ма мы-ла ра-му…», «5х7 = 35». И все на песке. Старшие вырезали для малышей из дерева шесть десятков комплектов букв азбуки и один — для учительницы, побольше. Из веточек и чурочек сделали большие стоячие классные счеты. Писали на бересте. На ней же вырезали заметки для стенгазеты.

И даже уроки физкультуры были в этой школе. Бойцы под руководством раненого офицера Героя Советского Союза Ковалева оборудовали спортивную площадку — с перекладиной, бумом, беговой дорожкой, шестом и кругами для метания гранат. Шла и внеклассная работа: старшая пионервожатая Лена Мулярчик готовила ребят к вступлению в пионеры, Ядвига

Антоновна репетировала написанную ею пьесу «Юные мстители», Вера Георгиевна разучивала к пионерскому празднику с ребятами стихи. В штабе отряда шили из разрезанного на куски и выкрашенного в отваре крушины парашюта пионерские галстуки. Работали ребята и на своем пришкольном огороде. В лесу собирали лекарственные растения для отправки на Большую землю, так они здесь понимали лозунг «Все для фронта, все для победы».

Шла обычная школьная жизнь. Только тут она в буквальном смысле покоилась на зыбкой почве болот. В это самое время фашисты, спасая свои тылы, завершили блокаду партизанской зоны Брестской области. Все взрослые бойцы заняли круговую оборону. Несколько дней совсем не готовили горячей пищи, чтобы не обнаружить себя. Самолеты врага ежедневно — и не по одному разу — бомбили расположение партизан, немецкие каратели залегли в трех километрах от партизанских позиций. Все школьное имущество решили зарыть под дубами. Детям выдали сухарей на случай отступления. И они сидели тихо-тихо, надев на плечи свои торбочки, ожидая команды к отходу. А потом, когда напряжение спадало, снова откапывали «школу», съедали сухари и шли на уроки.

Даже в условиях непрерывного боя, среди топких болот, в которые загнала людей война, в условиях смертельной опасности и горя дети каждое утро шли в школу, писали и читали, пели песни и учили стихи. Это не только укрепляло веру в победу, но и утверждало неизбежность, обязательность победы. Если не верить, зачем тогда детей учить?

У Веры Георгиевны Ивановой сохранился «Протокол перевода в следующий класс учащихся партизанской школы при отряде имени М. И. Калинина бригады имени Ф. Э. Дзержинского от 25 июня 1944 г.», куда ее пригласили присутствовать на проверочных занятиях в качестве методиста-ассистента. Интересный документ! «Проверочные занятия проводились с 23 по 25 июня включительно, — записано в нем. — Присутствовали следующие товарищи: командир отряда имени Калинина старший лейтенант Н. К. Ляничев, комиссар Ф. А. Беляев, заместители комиссара по комсомолу С. А. Медведев и Т. П. Черных и инструктор обкома комсомола Н. К. Климец; от учителей — ассистент В. Г. Иванова и учителя школы при отряде имени Калинина Ф. П. Караберян, П. И. Ивановский».

И еще одна деталь, очень важная: в каждом классе комиссия ставила двойки тем, кто не усвоил материал. И делала внушения учителям. И портила, конечно, нервы родителям. Но высоко держала звание экзаменационной комиссии, твердо веря, что в

любых условиях дети должны иметь хорошие, прочные знания.

Вот и весь короткий рассказ о партизанском всеобуче и о тех прекрасных людях, которые, говоря казенным языком отчетов, его осуществляли. Осуществляли как один из главных законов Советской власти, несли людям обязательный в нашей стране свет знаний.

Они и после войны многие годы делали то же самое — старший преподаватель кафедры педагогики Брестского пединститута Вера Георгиевна Иванова и кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой того же института Ядвига Антоновна Чернявская.

Они живут в Бресте, недалеко от лесов, где учили детей, рядом с крепостью, где в закопченной чаше около обелиска горит вечное пламя человеческой памяти о горе и мужестве народа. О мужестве тех, кто умер, не срамя ни себя, ни Родины. О доблести тех, кто в трудное время жил чисто и светло, как это пламя.

Л. Графова
Отец

Вернувшись с войны после тяжелого ранения в родной Узбекистан, Хамит Саматов собрал в своем доме, отогрел, спас тринадцать осиротевших детей. Вам может показаться, что вы о нем уже слышали. Но при этом вы наверняка будете иметь в виду совсем другого человека — кузнеца Шамахмудова. Это о нем написаны книги, сняты фильмы. А Хамит Саматов мало известен. То ли потому, что Каттакурган, где он живет, дальше, чем Ташкент, от корреспондентских дорог, то ли просто потому, что слава не любит повторений. Да и меньше всего думал о ней Хамит.

Есть люди (с годами их остается все меньше), для которых жизнь измеряется как время «до» и «после войны». Никакие мирные впечатления не могут перекрыть или даже пригасить остроту пережитого ими. Такой же «вечный фронтовик» и Хамит. Любой его рассказ или начинается с войны, или кончается ею.

Первым пошел на фронт младший брат Хамита — его еще до войны призвали на действительную службу. Мангит-апа все глаза проглядела, высматривая почтальона, но писем от сына все не было. Скоро почтальон принес конверт с повесткой среднему брату Хамита. Получалось, что Хамит, старший и единственный теперь сын в семье, должен оставаться со старыми родителями, а война, значит, будет идти и — чего доброго — кончится без него. Допустить этого Хамит не мог. Под небом своего ласкового Узбекистана он еще не совсем понимал, конечно, что такое война. Но одно знал твердо: с его страной стряслась большая беда и стыдно отсиживаться дома. Хамит явился в райвоенкомат. Его просьбу уважили.

«Так началась моя, совместная с братом, фронтовая жизнь». Они защищали Москву и форсировали Дон, освобождали Ростов и множество деревень, названия которых, хоть среди ночи разбуди, выдаст без запинки неусыпающая солдатская память: Первомайское, Колышкино, Глубокое…

У Каменец-Подольского война разъединила братьев. Хамит оказался в Сталинграде. А когда гитлеровцев погнали от Волги, он брал Изюм («Узюм», — упрямо ошибается Хамит, но это единственная ошибка во всей его русской географии). В Изюме его назначили командиром взвода, а после боя наградили медалью «За отвагу». Потом дивизия, в которой воевал Хамит, подошла к Павлограду Днепропетровской области и так отважно

штурмовала этот город, что получила название 60-й гвардейской Краснознаменной Павлоградской дивизии (Хамит просит записать точно название — вдруг прочтут однополчане, отзовутся). Дальше Хамит брал Запорожье и получил за это орден Красной Звезды. И вот наконец Днепр.

Хамит не помнит дня своего рождения, вернее, не знал его никогда — в многодетных узбекских семьях не придавали значения датам, но 22 сентября 1943 года, день штурма Днепра, он запомнил на всю жизнь. В этот день умер Хамит. И родился заново.

…Полную боевую готовность объявили в 12 ночи. Ни секунды на размышление. 38 человек и три станковых пулемета погрузили в один баркас, и Хамит был командиром. «Вперед, вперед, Узбекистон!» — кричали ему по рации с берега. («Узбекистон» — так звали Хамита на войне). И он, отрываясь от наушников, тоже кричал: «Вперед! Вперед!» Бойцы налегали на весла, направляясь на тот берег реки, а враг «повесил» над рекой ракеты, и стало среди ночи светлей, чем днем, — хоть камешки со дна собирай. И тут враг начал бросать на людей все смертоносное, что только можно было бросить: пули, снаряды, мины. Баркас пробило — дыру заткнули шинелью. Не умолкая, строчили с баркаса пулеметы, но и крик, стоны тоже не умолкали. «Пятнадцать раненых, двадцать раненых», — считал, стискивая зубы, Хамит и повторял: «Вперед». Своих ран он не считал.

На середине реки баркас стал тонуть. Плавать Хамит не умел. Последнее, что осталось в сознании: левой рукой, которая горит как в огне, он хватается за невесть откуда взявшееся на воде бревно…

Февральской ночью 1944 года Хамит сошел с поезда. Ему казалось, он ступил наконец на обетованную землю, которая снилась ему в окопах. На перроне было пусто и темно. Вдруг он услышал, кто-то зовет его тоненьким голоском: «Дяинька, дяинька…» Не поверив своим ушам — наверное, ослышался, просто мяукает кошка, — он пошел не останавливаясь. Чувствует, кто-то дергает за полу шинели: «Дяинька!» У самых ног, на припорошенном снегом перроне, стояло босое, раздетое, от худобы почти прозрачное существо. Не раздумывая, Хамит подхватил ребенка здоровой рукой (левая после ранения висела плетью), закутал в шинель и быстро зашагал к дому.

В радости встречи отец и мать не разобрали сначала, что сын вернулся с войны не один. Заметив мальчика, Самат-ака нахмурился: «Это твой? Ты что, женился? Чем ты занимался на фронте?..»

Хамит рассказал, где подобрал ребенка. «Будет наш. Будет

Донату младший брат», — решили родители. С самого начала войны в доме жил Донат Клепиков, мальчик из-под Иванова, потерявший при эвакуации родителей.

Так в семье появился еще один мальчик, Кучкар. Через несколько дней он тяжело заболел. «Случай безнадежный, — сказал врач, — не поможет и больница». В больнице к тому же не было ни одного места. Хамит ни вышел от врача, пока тот не согласился поставить койку в своем кабинете. Рядом с койкой присела на стул Мангит-апа. Она провела в больнице шесть месяцев, ухаживая за чужим ребенком. А ведь всю свою жизнь не признавала больниц. И выходили Кучкара. Стал он самым сильным, самым озорным сыном в семье.

«В ту же зиму я повстречал Арслана, — продолжает Хамит, — на углу улицы Карла Маркса и Ленина. Он был синий от холода, но не плакал. Я взял его за руку, он пошел и ни о чем по дороге не спрашивал. А потом, возвращаюсь раз с работы, вижу на Пушкинской женщины обступили мальчонку лет трех, чистый такой, игрушку в руках держит. «Давно он здесь?» — спрашиваю. «Часа три». — «Ладно, — говорю, — идите, я подежурю». Честно, до самой темноты ждал, но никто за мальчиком не пришел. Мой отец назвал его Суннатом».

И наконец — рассказ про Лизу (здесь уже не сдерживается, плачет Хамит):

«Несколько раз замечал ее у малярийной станции, ходила в грязном платье, что-то искала. А тут пришла к нашему двору, смотрит через забор, как ребята во дворе играют. Я ее узнал и спрашиваю: «Что ты на малярийной станции делаешь?» Испугалась, но отвечает: «Когда все уходят, я там сплю». Ну, не мог я стерпеть и взял ее в дом».

«Не мог я стерпеть…» Не мог, как те украинские женщины, которые, рискуя попасть на глаза врагу, подобрали его, умирающего, на берегу Днепра в октябре 1943 года.

«…Это — человек!» — услышал над собою солдат Саматов сквозь тяжелый, похожий на смерть сон. Разомкнул веки, но ничего не увидел, только белое и холодное запорошило глаза. Догадался, что занесен снегом, и лишь дыхание пробивает маленькую пещеру в сугробе. Застонал, чтоб подтвердить: да, я человек, я жив!

Снова очнулся уже в погребе — кто-то перевязывал его раны. И увидел два женских лица — совсем молодое и постарше. Прошептал: «Пить». Ему принесли растопленного снега. «И колодец, и дом разбомбило», — сказала молодая. Раскрошив, положили ему в рот немного макухи, кусочек сахара. Он проглотил. Они радовались вслух: «Оживает наш солдат».

Утром женщины запрягли в тележку корову и отвезли его в госпиталь. Больше он никогда их не видел. Как звать тех украинских женщин — Хамит не знал, отблагодарить их ничем не мог. И одно было утешение: он отблагодарит их тем, что сам никогда не пройдет мимо горя.

Когда он приводил домой голодных, раздетых детей, Мангит-апа говорила: «Кто бы он ни был, это — человек». И Хамиту были эти слова знакомы. И успокаивался он: правильно идет по жизни. Добро добром оборачивается.

«…Нуримахаммат… Местные жители говорили, что в их мечети умер человек, просивший по дворам хлеб. А сын его остался один, ходит по базарам с собакой, ночью спит на кладбище. Кровь у меня вскипела, когда все это услышал, постановил себе разыскать мальчишку. А он долго бегал, прятался от меня — не хотел ехать. Дорожил своей свободой и своей собакой. Пес, правда, большой, хороший. Нашего Шарика видели? Это той собаки сын… Вот какой теперь Нуримахаммат, шестерых детей имеет. А вот Арслан. Красавец!»

По ковру разбросан веер фотографий. Среди них вихрастый, с упрямыми глазами Иван, туркмен Кучкар, таджик Нуримахаммат, белорус Женя, еврейка Лиза. Своего старшего, свою гордость — Доната («Он главный инженер нашего маслозавода!») Хамит причисляет порой к украинцам, хотя он русский. Случайно или из особой любви к Украине? Он, не умеющий хитрить, допускает это невинное лукавство просто потому, что национальность в его понятии мало что значит. Впрочем, как и другие названия человека, не имеющие отношения к сути человека. Например, фамилия. Не стал же Хамит всех детей в Саматовых переводить. Кто помнил прежнюю свою фамилию, с ней и остался. Всех детей занес в домовую книгу, а как оформлять, знать не знал. «Документы нужны? Люди живые — вот мои документы», — улыбается Хамит. Тогда он думал только об одном — как прокормить детей. «Правду сказать, ничего у нас, кроме вшей и соломы, к концу войны не было. Зимой на всех детей пара галош одна, по нужде выйти — очередь ждали».

Не думал тогда Хамит, богат он или беден, не загадывал, чем будет кормить детей завтра, спешил спасти — не упустить детскую жизнь. На фронте убедился: есть одно богатство на свете — человеческая жизнь, но как же хрупка она, как мгновенно может оборваться… А тут ребенок, тонкий росток. Можно ли медлить?

Горше всего было видеть, как страдают на войне дети. Сможет ли забыть Хамит обезумевшую мать, которая идет по фронтовой дороге и баюкает мертвого ребенка? А ребенка,

который сосет грудь убитой матери, можно забыть? На войне Хамит должен был воевать. А теперь пришло время спасать жизнь, согревать ее в детях изо всех сил и возможностей.

Когда вышли у Саматовых все продукты, а до урожая было далеко, Хамит решил: «Продам сапоги!» Отец молчал. Значит, давал согласие. Хамит понес на рынок и сапоги и шинель. За шинель предлагали два мешка отрубей, за сапоги — один мешок шрота. Ждал до обеда, надеялся получить побольше. Но тут уж народ стал расходиться. Хамит потерял надежду, и вдруг является откуда-то молодой парень, приценивается. «Давай, что даешь», — в отчаянии сказал Хамит. Принес с базара четыре мешка отрубей.

С проданной шинели начался добрый поворот в жизни семьи Саматовых. Кстати, и шинель и сапоги вскоре в дом вернулись. Их принес тот же парень и виновато объяснил, что сделать это велел ему отец. Когда парень описал внешность Хамита, старик сразу догадался, что шинель куплена у отца многодетной семьи, являющегося к тому же сыном Самата-ака, который всегда был известен своей добротой для других. «Он изюминку на сорок частей делить умел. Можно ли пользоваться бедой такого человека?» Отруби парень назад не взял.

На этом история с шинелью не кончилась. Пришел Хамит после ее продажи на работу, а начальник ему и говорит:

— В каком ты виде, Саматов! Уж не пропил ли ты сапоги и шинель?

— Я непьющий, — ответил Хамит. — Но должен же я накормить детей!

— Ты же холостой. Я своей рукой документы писал.

Хамит предложил:

— Не верите — пойдемте ко мне в дом, проверьте!

Как вошли во двор и увидели всех детей, глаза у начальника стали мокрыми. Тут же повез он Хамита к себе, отдал последнюю буханку хлеба, попросил жену сшить из своих рубах одежки детям. С тех пор и он и другие сотрудники стали помогать Саматову, чем могли. И стали каждый день выделять семье по тринадцать обедов. С этих пор голод у Саматовых кончился.

А потом в доме появилась Санобар, ставшая матерью всех его детей. Ей было девятнадцать лет. Какая же трудная доля досталась этой маленькой, тихой женщине! Сама ли она судьбу себе выбрала, или родители выдали ее за Хамита? Правда, он как-то обмолвился, что любовь была только с его стороны, а у Санобар — одна жалость. Прав ли Хамит?

«…Уже была Санобар, когда я нашел Мирали с его отцом. Иду ночью с работы и — что такое? — прячется у забора старик, голова у него одна, а ноги четыре. Имея уважение к старшим, я

подошел, поздоровался. Тут из-под чапана выскользнул вдруг мальчишка, а старик отвечает мне: «Э-э-эй, что спрашивать про судьбу? Не можешь помочь, иди своей дорогой». У них не было дома, скитались где придется, а старик был почти слепой. Я его за руку взял, он — мальчишку, и пошли в темноте гуськом».

Так стали жить у Хамита старик и его сын Мирали. Старика он вскоре устроил на работу — возить на арбе овощи и фрукты.

Особое место в рассказах Хамита занимает отец. «О, Самат-ака детей трудолюбию учил! Принесет кирпичи прямо во двор и — кто лучше? Кто быстрей? Победителю — приз, урюка две штуки».

А еще Самат-ака давал внукам весьма оригинальные уроки честности. Расскажет, например, притчу о том, почему плохо брать чужое, спрашивает каждого: понял? Вроде бы все понимают. Проходит время, и вот однажды на базаре говорит Самат-ака кому-то из них: «Возьми яблоко с чужой арбы». Внук мнется, а потом берет. «И-и-эх, — скорбно качает головой дед, — ничего ты пока не понял». — «Но ты же мне приказал!» — «Мало ли, кто что тебе прикажет! Ты не должен слушать. Ты свое сердце слушать должен».

Когда голод был, Самат-ака катышек хлеба возьмет в рот, а остальную свою порцию — детям. Они запоминали. Если бьет один другого, Самат-ака не ругается, скажет только: «Это — брат, твой брат. Ему, как и тебе, больно». Сажает Самат-ака виноград во дворе, дети воду таскают, радуются: «Вырастет, вкусно будет». «Это — нам польза», — объясняет Самат-ака. А потом сажает виноград на улице, дети не понимают: «Зачем? Чужие оборвут». — «Человек твою виноградину съест, тебя вспомнит, — объясняет Самат-ака. — Это больше, чем польза. Это доброта будет».

Радовался Хамит. Из какого горя пришли к нему его дети, сколько зла он сам на войне видел, а теперь все-все добром оборачивается. Кем бы они ни стали, главное — чтоб хорошие люди вышли, чтоб уважение к каждой жизни имели. Ну, а как же! Вот ползет муравей. Ты его обойди. Откуда тебе знать, по каким своим важным делам он ползет! Не ты его посылал. Разве человек затем родится, чтоб убивать?

«…Иван. Кто он мне? Нет, скорей, не сын, а брат будет. Приметил парнишку лет шестнадцати, один рукав, как у меня, болтается. Просил махорки или хотя бы затянуться. Отца его, оказалось, на фронте убили, мать при бомбежке погибла, сам партизанил, а теперь от всех отбился, бродягой стал».

Четыре года жил Иван Широков у Саматовых. Потом исчез. Искали его долго, но в один, как говорится, прекрасный день

явился сам и — с порога: «Бейте меня, ругайте, я виноват». Теперь Иван регулярно приезжает из своего Свердловска. А если долго не приезжает, Хамит отправляется к нему сам. Скучает Хамит.

И ничего ему от детей не надо. Были бы они счастливы. После войны объявились родственники Лизы. Когда приехали за ней, Хамит был в командировке. Предлагали они Санобар деньги, но она, говорят, так на них посмотрела!.. Два дня, правда, ждали они Хамита, чтоб спасибо сказать. Хорошие люди! Пусть счастлива будет Лиза.

День за днем шла жизнь. Начали к Хамиту люди наведываться с просьбой отдать ребенка на воспитание. Обижался Хамит: что, у меня им плохо? Да и сами дети не хотели от Саматовых уходить. Только Сунната, и то уже взрослого, отдал Хамит — решил он помочь Бахраму-ака, доброму человеку, который на старости лет остался один и которому некому хозяйство передать. Пусть будет счастлив Суннат.

Зато как торжествовал Хамит, когда дети находили родных. «Война рассыпала людей, как просо, будь проклята подлая война!» Сколько неожиданных встреч, сколько праздников видел двор Саматовых! Вот Нуримахаммат, тот мальчишка с собакой, отыскал сначала брата, потом сестру, и, наконец, родную мать нашли. Пусть будет счастлив Нуримахаммат. Пусть будут счастливы все дети!

Вот какая история про Хамита Саматова и его детей. Их дом — в самом центре утопающего в садах города Каттакургана, рядом с кинотеатром «Космос». Откроешь калитку — и кажется, что попал на деревенский двор. Привольно разгуливают куры, жужжат пчелы над ульями, цветет урюк, и каждое дерево как розовое облако, севшее на землю. Кроме дома Хамита на дворе стоит дом его брата Рабиджана и дом младшего брата Азима. А еще — каркас большого и длинного, как караван-сарай, строения. Это дед Самат-ака начал сооружать дом на совместную жизнь своим многочисленным внукам, чтоб все-все жили вместе, под одной крышей. Был Самат-ака хорошим каменщиком, и строение могло выйти на славу. Но не успел, умер Самат-ака.

При Хамите живут теперь только младшие, можно бы сказать — его собственные дети, но разве старшие тринадцать — не его дети? И лучше так: с отцом живут те пятеро сыновей и одна дочь, которые родились уже после войны и пока не успели обзавестись своими семьями.

— По-русски будем садиться или по-узбекски? — спрашивает Хамит. Санобар уже хлопочет в другой комнате, расстилая белую скатерть прямо на полу (пол, конечно, покрыт ковром), раскладывая по сторонам бархатные подушки.

— У меня от стульев ноги замирают. Да-а. И галстук не могу носить. Душит. Старший мой Донат галстук мне подарил, чтоб культурно было. Но беда с галстуком… Еще пиалушку? Кок-чай, полезно.

— И-и-эх, хорошо живем, правда? — спрашивает нараспев Хамит. — Все дети выросли, все крепкие, хорошие люди вышли. Своих детей имеют. Семья теперь наша девяносто душ стала. Хоть разъехались дети, а нас не забывают. Приезжают, письма шлют. Я персональную пенсию получаю. Кто в Узбекистане живет — мед даю, кто дальше уехал — фрукты посылаю. Что еще надо? Ишак у меня был, пчелам воду возил. Один человек говорит: машину как инвалид войны хлопочи. А мама моя старенькая говорит: «Не надо, не проси. Мы как в войну и после войны жили? Голод терпели. А сейчас чего не хватает?» Права Мангит-апа, ой, как мы терпели… Да вон он, музей!

В глубине двора стоит кособокая избушка.

— Вот здесь и жили. Тринадцать детей, Самат-ака, Мангит-апа и я. Сломать бы ее, но жалко. Музей!

Какой радостью было для Хамита письмо Надежды Ивановны Николаевой.

«Глубокоуважаемый Хамит! Только увидела Вашу фотографию в газете, и обмерло сердце. Стала читать статью и все больше волновалась. Сколько раз я и раньше вспоминала те страшные осенние дни 1943 года под Запорожьем. Фронт проходил через село Ново-Александровка, где мы жили тогда с мамой. В нашем подвале лежало несколько раненых бойцов, но одного я запомнила особенно. У него был восточный склад лица. Он больше молчал, может быть, не знает русского, думали мы с мамой. Но он так удивительно улыбался, превозмогая страдания. Столько света, столько благодарности было в его улыбке, что мы не смогли забыть это лицо.

Помните, к рассвету подъехали две телеги, раненых уложили по двое. А мы с матерью шли, держась руками за телегу, ни шагу не отступая в сторону. Лейтенант предупреждал нас, что будут проходы через минные поля. За селом попали под обстрел — к Ново-Александровке уже подступал враг. После первого взрыва лошади понесли. Кто-то из раненых крикнул: «Ложись!» Вторым взрывом нас с матерью присыпало землей. Мы остались живы, работали потом на кухне военного госпиталя, но тот обоз с ранеными так и

потеряли.

Не знаю, дорогой Хамит, Вы ли это были в нашем подвале? Некоторые факты не совпадают. Вы говорите: Вас увезли на телеге, в которую была впряжена корова. Но ведь корова только шла за телегой. Вы вспоминаете кусочек сахара, но у нас не было сахара, мы давали раненым кусочки яблока, чтобы утолить жажду. Вы запомнили дату 18 октября, а мне кажется, что бой был 18 сентября.

Может быть, это и не Вы… Но так или иначе, разве Вы должны благодарить «тех украинских женщин»? Это Вам низкий поклон до земли и всегдашняя благодарность, что ценой своих страданий спасли нашу жизнь, жизнь многих миллионов, кровью своей отстояли нашу землю. Спасибо и за Ваш гражданский подвиг после войны.

Мама моя, ей уже восемьдесят, тоже узнала Вас на фотографии и говорит, что человек с такой улыбкой, которую мы помним, мог совершить такое благородство — воспитать тринадцать чужих детей».

Хамит ответил Надежде Ивановне и вскоре получил от нее второе письмо, в котором она уточняла некоторые факты и сообщала о себе.

«Конечно, мы должны, мы будем не только переписываться, но и встречаться. Для всей Вашей большой семьи наш дом должен стать совсем родным. Напишите всем детям, если у кого отпуск, командировка, пусть не минуют нашего дома», — писала Надежда Ивановна.

Когда она с мужем приезжает в Каттакурган, Хамит призывает из разных городов своих детей, и они спешат в дом отца: Кучкар — из Оренбурга, Арслан — из Куйбышева, Нуримахаммат — из Кашка-Дарьи…

Собравшись вместе, достроили они, поштукатурили и побелили тот дом, похожий на караван-сарай, что заложил еще Самат-ака.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «За активное участие в общественно-политической жизни и воспитание 13 детей, потерявших родителей» Хамита Саматова наградили орденом Трудового Красного Знамени.

…Нет, не думал о славе Хамит! Но слава сама нашла его. Все правильно, все справедливо… Хоть доброта и не нуждается в наградах, но мы, люди, нуждаемся в том, чтобы воздать ей и помнить о ней.

Л. Терентьев
Тихий подвиг

Спокойной жизни Сережи Танкова приходил конец. Бомбы громыхали все чаще. Поговаривали о скорой эвакуации. О, если бы не проклятая болезнь с пугающим названием «костный туберкулез»! Ничего, что ему всего одиннадцать, он бы показал фашистам! Не пришлось бы сейчас отправляться в неизвестные места…

Детские санатории выезжали из Евпатории одновременно. Специальный состав отошел от вокзала ранним сентябрьским утром.

Погрузили все, вплоть до ортопедических кроватей. Тысячу больных детей надо было доставить к вокзалу. Каждого осторожно на матраце несли из палат в трамвайные вагоны. После — опять на руках — к вокзалу. Собралось много людей — родственники, совсем незнакомые. Казалось, весь город пришел на помощь. Счастье, что в ту ночь не бомбили…

Войну по-настоящему они впервые увидели при подъезде к Джанкою: горел вокзал, дымились разрушенные дома, слышался гул улетающих фашистских бомбардировщиков. Не легче и в Керчи. Но там детей ждал горячий обед. Ночевали в пустующей школе. Утром красноармейцы и матросы по сходням бережно переносили закованных в гипс ребятишек на борт корабля.

Немалого труда стоило капитану и команде увести корабль из-под бесчисленных налетов. Не у всех транспортов с людьми судьба была столь счастливой.

Из докладной органов Советской власти в мае 1943 года: «Условия эвакуации исключительно тяжелые. В пути следования к берегам Кавказа вражеская авиация налетала на суда с женщинами, детьми, стариками. Были случаи потопления кораблей, перевозящих гражданское население».

И вот неведомая, чуть таинственная Теберда — прекрасный тихий уголок на высоте больше километра над уровнем моря, в живописной долине реки. Куда ни посмотришь — красота необыкновенная: со всех сторон горы, покрытые сверкающей шапкой вечного снега.

Ожили корпуса здравниц. В одной из них на втором этаже разместился санаторий имени Крупской, внизу — «Пролетарий». Устраивались всерьез, по всем медицинским правилам — лечение не должно прерываться ни на один день.

Год прошел относительно спокойно. Но вот стали все чаще

появляться вражеские самолеты. А потом начались бомбежки.

Враг приближался к Северному Кавказу. К детям. Лишь немногие из них могли передвигаться на костылях, большинство было приковано к постелям.

…Уже несколько дней они что-то бурно обсуждали — Лева Косицкий, Валера Пухов, Семен Трачук, Толя Цоня. Что же им, комсомольцам, дожидаться прихода немцев?! Нет, решили, будем уходить. Их не отговаривали. Младшие тоже о чем-то шептались. Тайком экономили продукты, прятали в тайник. Сказали, что пойдут проводить товарищей, а сами ушли с ними.

Их было двадцать один, в возрасте от одиннадцати до девятнадцати. Шли в корсетах. Каждый шаг — мука.

Путь был один — через Клухорский перевал.

Туристский маршрут повышенной сложности, высота 2781 метр над уровнем моря, до Сухуми около 200 километров.

Нет теплой одежды, на ногах — летние сандалии, а ночами очень холодно. Даже закаленным туристам на такой высоте нужно два-три дня для акклиматизации. Но фашисты уже близко. И дети, выбиваясь из последних сил, шли.

Впереди был участок дороги, сплошь покрытый снегом и льдом. С одной стороны — отвесные скалы, с другой — пропасть. Ребята видели, как сорвалась лошадь с поклажей. Анна Степановна Данилевская, воспитатель санатория «Пролетарий», вдруг поскользнулась, ноги оказались над обрывом. Ее с трудом оттащили.

Трудно сказать, что стало бы с измученными детьми, если бы не встреча с местными жителями. Они напоили, накормили. Одна семья оставила у себя двенадцатилетнюю Аду Дадыкину.

Советские горные войска сдержали наступление альпинистской дивизии «Эдельвейс». Пройти через перевал ей так и не удалось.

Две недели продолжалась одиссея, пока не встретили евпаторийских ребят работники сухумского эвакопункта, доставившие их в госпиталь.

Но уйти из Теберды смогли далеко не все. 14 августа 1942 года сюда вошли оккупанты. Как жили здесь те, кто остался?

Из блокнота Владимира Некрасова, ставшего впоследствии журналистом: «Этот санаторий, разместившийся в сравнительно небольшом двухэтажном корпусе, объединял добрый пяток детских костнотуберкулезных здравниц. Малыши кое-где лежали вдвоем на одной ортопедической кроватке. Где уж там было до соблюдения строжайшего постельного режима! Но люди в белых халатах делали все — подчас даже по меркам мирного времени невозможное — для спасения ребятишек. Здание, рассчитанное

на полтораста-двести коек, вместило до полутысячи тяжелейших больных, в большинстве — лежачих. Были они, как правило, раздеты и разуты. Лежачие охотно давали свою одежду и обувь товарищам, поднимавшимся на ноги без разрешения врачей. А что им оставалось делать?»

Появившись в санатории, гитлеровцы забрали ключи от склада. Вначале выдавали больным понемногу кукурузной муки или сои. Получив порцию супа, вспоминает медсестра Тамара Яковлевна Муратова, дети выпивали жидкость, затем медленно разжевывали каждое бобовое зернышко, хлеб осторожно выкладывали на бумажку и собирали до последней крошки.

Кто мог передвигаться, добирался до леса. Собирали дикие яблоки, груши. Меняли на продукты последние вещи.

Главный врач Александр Васильевич Грабильцев нередко говорил сотрудникам: «Любой ценой мы обязаны сохранить детей, чтобы родителей встретили не могилы, а веселые ребячьи голоса».

Оккупанты, невежественно считая костный туберкулез заразным, заглядывали сюда редко. Удивлялись: зачем Советы возятся с больными!

Но однажды было велено собрать всех евреев. К парадному входу подошла закрытая машина: сорок восемь детей были уложены штабелем — друг на друга. Дверь закрылась. Машина уехала. Больше их никто не видел. Выяснилось затем из документов гестапо — та же участь ждала всех остальных обитателей курорта…

И все же территория санаториев оставалась советской.

Детей по-прежнему лечили. Каждый день измеряла температуру медсестра Валентина Гавриловна Бугреева. Каждый день с утра занималась перевязками Тамара Яковлевна Муратова. Нежно ухаживала за слабенькими нянечка тетя Паша — Прасковья Васильевна Архипова.

Детям читали сказки, книги о родной стране. Продолжала работать школа. Немцы приказали сжечь советские учебники. А их сохранили. И пришел день, когда педагога Анну Антоновну Кузнецову вызвали в гестапо. Случилось чудо — ее выпустили. Не до того уж было: оставалось лишь несколько дней до бегства захватчиков.

Потом пришли наши — лыжники, несколько человек. Смотрели на них настороженно — вдруг переодетый враг? Только когда дети услышали русскую речь, бросились обнимать. Следом приехала солдатская кухня. Мясо, молоко, хлеб — многие, особенно маленькие, уж и позабыли, что такое чудо есть на свете. Кончились пять жутких месяцев. Всего пять. А казалось — долгие

черные годы.

…Прошел не один десяток лет. Девочка Майя Данилевская, когда-то вместе с мамой-воспитательницей оказавшаяся в Теберде, став Майей Петровной, обратилась в редакцию городской газеты с просьбой рассказать о подвиге детей и сотрудников из евпаторийских санаториев.

Начались поиски и находки.

Глядя на этих милых, тихих старичков, трудно представить себе, что это их мужеству обязаны жизнью дети, застигнутые войной в санаторных палатах. Излеченные, вставшие на ноги, вернувшиеся к жизни.

Это им адресована телеграмма: «Передайте сотрудникам благодарность Наркомздрава сохранение жизни 1200 детей, перенесших фашистскую оккупацию».

Лев Косицкий преподает в Днепропетровске, кандидат технических наук Валерий Пухов окончил Московский инженерно-строительный институт, Сергей Танков работает в Евпатории, в санатории «Искра», Виктор Будный стал летчиком гражданской авиации. Борис Могилевский — редактор в горьковском издательстве, Юрий Логинов — сотрудник журнала «Нева».

В санатории имени Крупской создан музей — там собраны материалы и о тебердинской эпопее. Она стала достоянием истории, и в то же время она вечно жива — в детях и внуках тех, кто пережил ее.

Л. Овчинникова
Свет, в котором была надежда

Фронт приближался к Одессе. Бастионами становились крыши зданий — на них установлены зенитки. Бастионами становились улицы — они перегорожены баррикадами. На открытых машинах и даже на трамваях везли пулеметы, «ежи», мешки с песком. В эти самые дни из небольшого здания школы поселка Кривая Балка учителя и ребята вынесли грифельные доски. Их путь был близкий, но нелегкий. Помогая друг другу, они спускались вниз по крутому откосу степной балки, а потом уходили дальше, во тьму подземного лабиринта. Следом за грифельными досками из школы в катакомбы несли географические карты, стеклянные чернильницы-непроливайки, учебники, глобус. Так в августе 1941 года началось сооружение еще одного одесского бастиона. Из дома в дом в поселке передавали новость: учебный год школьники начнут в катакомбах.

«Мы заранее обошли подземные коридоры, — вспоминает бывший директор Кривобалковской школы Анна Авксентьевна Галько. — К тому времени катакомбы были уже густо заселены. Здесь многие семьи спасались от обстрелов».

Среди тех, кто в те дни оборудовал партизанские базы в катакомбах, была партизанская связная Г. П. Марцишек. Вот ее рассказ о том, как она впервые спустилась в подземный лабиринт: «Невольно оглянулась на выход, прощаясь со свежим воздухом и солнечным теплом. С каждым шагом темнота все больше окутывала нас, становясь непроницаемой… То опускаясь, то поднимаясь вновь, петляли шахматные дороги. Я хотела определить направление нашего пути, но после нескольких поворотов сбилась».

Сначала надо было обучить детей тому, как находить в подземелье дорогу к школе. То была нелегкая наука. У входа в катакомбы прикрепляли катушку ниток и разматывали ее до самого класса. А направления пометили стрелками.

В катакомбы принесли даже школьный звонок. И наступил день, когда нянечка Мария Степановна Белявская пошла с ним по штреку. Она переходила от одного каменного отсека к другому и звонила, звонила, звонила. Этот звук слышали и те, кто латал неподалеку старую одежду, обтесывал камни, сучил пряжу. Казалось, свежий ветер проносится из конца в конец каменных коридоров.

Из воспоминаний А. А. Галько:

> «Учебный год начали все классы — с первого по седьмой. Детей пришло много. К нашим воспитанникам прибавились ребята из других районов, загнанные бедой в катакомбы».

Прежде чем вывести на досках первые слова и цифры, учителя открывали тетради с записями сводок Совинформбюро. Шли трудные дни. Наши войска оставили Минск, Смоленск, Днепропетровск. Передовая линия фронта проходила в нескольких километрах от подземной школы. И каменные потолки сотрясались от близких разрывов бомб и снарядов. Но звенел школьный звонок, торжественно возвещая: пора на урок, пора на перемену.

Все было необычно в этих классах. Школьная доска — на камнях, классный журнал и указка — на камнях. Ребят попросили принести подстилки и дощечки. Сидели на камнях, писали на камнях. Здесь было холодно и сыро. Температура в катакомбах в любую погоду плюс 10 градусов. Многие ходили в курточках, сшитых из байковых одеял.

«Вот что было поразительно: с первых дней мы увидели, что даже те, кто раньше не отличался прилежанием на уроках, в подземной школе будто заново открывал для себя школьные предметы. Всем хотелось учиться», — вспоминает бывший учащийся Кривобалковской школы Василий Григорьевич Белявский.

Опасность рождала в детях острое чувство жизни. И они заново переживали и открывали все школьные радости. Но в духовном портрете школьников четко было обозначено и другое. Каждый осознавал учебу как свой долг перед защитниками города. Школа была теперь для ребят их фронтом борьбы с врагом. И потому каждое утро по темным штрекам, как звездочки, мелькали цепочки огоньков: дети шли в школу.

«Мы сами стали делать коптилки: на дно бутылки наливали немного керосина и зажигали фитилек, — говорит тоже бывший ученик подземной школы, ставший затем учителем, Александр Павлович Чесницкий. — С самодельными коптилками шли по штрекам и штольням. Случалось, и разбивали их. И тогда шарили руками в темноте, шли, держась за стены. Потом научились делать светильники из сплющенных гильз. Керосина не хватало, одна коптилка была на целую ватагу ребят».

В полутемных углах каменных отсеков читали стихи, решали задачи, писали диктанты.

Тяжел был быт. Трудно найти хлеб, воду, развести огонь.

Людям приходилось вспоминать самые древние и примитивные приемы. «Мальчишки часами били камнем о камень, стараясь высечь искру и зажечь паклю. Так добывали огонь. Спичек не было», — рассказывает А. П. Чесницкий. В нишах обтесывали камни, чтобы сделать жернова. С полей, подожженных гитлеровцами, приносили в катакомбы полуобгоревшие зерна кукурузы и ржи. Вручную мололи, и каша из этой крупы пахла дымом. Спали на камнях. Когда было затишье, выносили наверх и сушили одежду, постельное белье.

Более десяти лет занимался изучением подземного партизанского края инженер Валерий Яковлевич Юдин.

«Когда мы спускались в подземелье, — говорит он, — уже через три дня одежда, спальные мешки становились влажными. Нам говорили, что от долгого пребывания под землей одежда тлела на плечах. У некоторых начинались слуховые и зрительные галлюцинации. Новичков часто охватывало чувство беззащитности перед каменным лабиринтом».

Школа была одним из одесских бастионов, баррикадой, защищавшей гуманистические идеалы. Здесь, в подземной школе, как и должно по программе, учили немецкий язык. На страницы книг сыпался от взрывов песок, а в каменной нише звучали стихи и рассказы великих немецких писателей, книги которых были сожжены в Германии.

Такой была нравственная атмосфера школы — она воспитывала верность. Как и бойцы переднего края, школа жила и сражалась до последнего дня перед гитлеровской оккупацией, когда школьные тропки в катакомбах превратились в партизанские. В каменные лабиринты пришли отряды народных мстителей. Дети стали партизанскими разведчиками, связными.

Теперь ребята Кривобалковской школы, идя на урок, выходя на перемену, видят портрет Трофима Прушинского. Его именем названа пионерская дружина. Он был одним из учеников подземной школы. В апреле 1944 года Трофима схватили гитлеровцы. Жители поселка видели, как враги водили его от одного входа в катакомбы к другому и Трофим отрицательно качал головой. От него требовали, чтобы он показал, где скрываются партизаны. Трофим не раз носил продукты в отряд и знал, где расположена партизанская база. Его били прикладами, кололи штыками. Он умер, так и не показав врагам дорогу в партизанский лагерь.

Ныне в катакомбах села Нерубайское — Музей партизанской славы. Здесь подземные баррикады, каменные нары, кухня, партизанский красный уголок. Рядом с боевыми реликвиями в подземном музее воссоздана классная комната с каменными

сиденьями и столами.

…Издавна философы и поэты называли знание светочем, светильником. Когда мы говорим о подземной школе, эта метафора предстает символической картиной: освещенная керосиновыми лампами школьная доска. Она была издали видна в темных подземных коридорах. На нее выходили, как на маяк. В этом свете была надежда.

Д. Новоплянский
Дом в Котюжанах

Этот детский дом находился в бывшей помещичьей усадьбе на краю села Котюжаны. Большое и живописное старинное здание овеяно преданиями и легендами. Но все они меркнут перед одной подлинной историей.

В начале сороковых годов в Котюжанской усадьбе располагался дошкольный детский дом Винницкого облнаробраза. Здесь было сто тридцать мальчиков и девочек. Самым старшим шел восьмой год. Война ворвалась сюда незнакомым грозным словом «эвакуация». Дети после обеда спали во дворе под соснами, когда приехал старший батальонный комиссар. Он велел будить всех и эвакуироваться моментально. Директора накануне призвали на фронт. Ушел на фронт и его заместитель. Комсомолки-воспитательницы на скорую руку одели ребятишек — здесь были и годовалые. Детей усадили на подводы, укутали одеялами. С собой взяли хлеб, повидло, патефон, широкое оцинкованное корыто…

Обоз из четырнадцати подвод двигался днем и ночью. Дети постарше при бомбежках мигом соскакивали, убегали подальше и ложились в пшеницу, клевер. Маленьких уносили и прятали в кюветы. К Днепру спешили тысячи беженцев, на дорогах возникали пробки. Их «расшивали», и тогда первым делом пропускали подводы детского дома. На какой-то речке саперы восстановили переправу, и капитан кричал:

— Где ребятишки?! Давай ребят в первую голову!..

Но эвакуироваться не успели. Немецкие мотоциклисты появились под Уманью. Дети укрылись в ближней деревне, заняли в школе две классные комнаты. Спали на полу, по-солдатски подстелив свои пальтишки. Взрослые не ложились. Стрельченко, Гончарук, Солоненко и другие воспитательницы долго обсуждали создавшееся положение. Если построже экономить крупу, можно продержаться еще два дня. А потом? Что делать потом?

Решили: Ольга Феодосьевна Енджиевская, самая старшая по возрасту, пойдет завтра в Умань к немецкому коменданту просить для детей хлеба. Минуло завтра — она не пошла. И послезавтра не пошла. Дети голодали. Енджиевская осунулась, у нее заметно прибавилось седины, появилась в волосах белая прядь.

В Умани не прекращались массовые казни. Убивали активистов, расстреливали женщин и детишек, даже младенцев.

Комендант приказал приезжим сейчас же возвращаться и пригрозил расстрелом.

Обратный путь был нелегким. Двигались на перекладных от села к селу. Незнакомые крестьянки приносили картошку, молоко, но еды не хватало. Наступила осень с холодными дождями, заморозками, и ребята начали болеть.

Вернулись в Котюжаны ночью. Из усадьбы недавно ушли гитлеровцы, помещения были захламлены, загажены. Исчезли кроватки, тумбочки, коврики. Часть мебели спрятали соседи — утром ее вернули. Ребята быстро приводили свое здание в порядок. Детский дом обосновался на оккупированной территории, во вражеском тылу, — другого выхода не было. Все воспитательницы остались на своих местах. Были среди них солдатки — жены и сестры фронтовиков. Не покинули детей и повар Василий Игнатьевич Кушнир, прачка Устина Павловна Липа, пекарь Елена Ивановна Беспрозванная, извозчик Степан Самойлович Фарион. Руководителем детского дома стала пятидесятилетняя Ольга Феодосьевна, мать трех детей, уроженка деревни Метеличная Вологодской области.

Гебитскомиссар приехал к завтраку. Приехал по доносу полицая. Накануне дети собрали колоски. Смололи зерно, и Елена Ивановна испекла хлеб. Гитлеровец взял в столовой хлебницу с мелко нарезанными ломтиками и протянул детям:

— Киндер, киндер, бери!

Витя Тарнавский подошел к хлебу и получил сильный удар резиновой плеткой. Больше никто подходить не решался, а гитлеровцу хотелось еще потешиться. Он размахнулся и швырнул хлеб на пол. Голодные дети кинулись поднимать хлеб. Гебитскомиссар фотографировал эту сцену «на память».

Оккупанты не прочь были поиздеваться над детьми, которых обрекли на верную смерть. Детдом не снабжали — ни грамма хлеба не давала ему новая власть. И ни одной капли молока. И ни единой щепотки соли. В окрестных селах люди голодали. Прокормить в семье двух-трех детей было делом нелегким. Поэтому дальнейшая судьба ста тридцати малышей детского дома может показаться невероятной.

В районе, где гитлеровцы отбирали и угоняли последних коров, население снабжало детский дом свежим молоком. Приносили картошку, фасоль, бурачки для борща — все, чем могли поделиться. Некоторые приходили издалека в слякоть, непогоду.

— Товарищи, у кого есть соль? — спрашивала Енджиевская. И детскому дому приносили соль…

У Килины Устиновны Шитюк было трое своих детей, да еще

из детдома каждый день приходили Андрейка, Витя, Василек и Ким. Называла их Килина Устиновна сынками и относилась как к родным. Такими сынами и дочками пополнились семьи Петра Андреевича Арнаута, Марфы Ивановны Фарион.

Жил в местечке Мурованые Куриловцы одинокий старик, которого немцы узнали как специалиста-мельника. Ему приказали срочно пустить мельницы и назначили чем-то вроде инспектора. Однажды по его распоряжению привезли куль муки. В другой раз Енджиевской передали записку: «Заберите муку — два мешка, — отложено на Котюжанской мельнице. Берегите детей. С глубоким уважением…» Подпись была неразборчива.

Только через четверть века удалось узнать, кто был этот таинственный мельник.

Обнаруженные в архивах документы подтвердили, что о Котюжанском детском доме заботился подпольный райком партии. Коммунисты охраняли детей. Им прислали к зиме фуфайки, кожу для ботинок. Одним из тех, кому поручили помогать детдому, был С. П. Амелин.

К началу войны Степану Петровичу Амелину шел шестой десяток. Родом он был из Богучарского района Воронежской области. Прошел гражданскую войну, служил потом в ВЧК — ОГПУ. В тридцатых годах Амелин стал в Мурованых Куриловцах бухгалтером дорожного участка, и его тут мало кто знал. Бывший чекист остался на захваченной фашистами территории, чтобы по заданию партизанского подполья устроиться на должность мельника. Оккупационным властям «доброволец» понравился, его назначили инспектором здешних мельниц — старых, полуразрушенных. Все шло, как задумано было. Предполагалось, что в ноябре 1941 года Амелин сумеет переправить партизанам первый куль муки, но тогда же решено было отвезти эту муку детскому дому. С тех пор подпольщикам с помощью Амелина не раз удавалось добывать муку, и всегда отдавали ее прежде всего детдому. Это считалось само собой разумеющимся.

Степан Петрович до последних дней (он скончался в 1956 году) работал в МТС.

Таких людей было немало. Из Морозовской больницы регулярно приезжал в детский дом врач — неулыбчивый хромой человек лет сорока пяти. Никто его сюда не направлял. Василий Павлович выстукивал, выслушивал маленьких пациентов, советовал, как лечить абсцессы, показывал, как приготовить мазь против чесотки.

Большая, добрая, порой невидимая сила постоянно оберегала детей. Но и невзгод на их долю пришлось немало. Неделями, иногда месяцами сидели без хлеба. Ели цветки липы, траву-

подорожник, белую акацию, бузину, бурьян с зелеными «калачиками». По утрам с трудом открывали припухшие глаза. У многих отекали руки и ноги. И все это еще не было самым страшным. На детский дом обрушилось горе пострашнее голода и чесотки.

Полицай из соседнего села — фамилия его Колесник — донес оккупационным властям, что в Котюжанах все еще существует детдом и что есть там еврейские дети. Колесник приехал с гитлеровцами. Четырех мальчиков раздели догола и повели на расстрел. Ночью в детдоме никто не спал…

Остальных еврейских детей удалось спасти. Восьмилетнюю девочку по фамилии Кешнер внесли в список как Марию Федоровну Кушнир, и она осталась в живых. Мальчика Грабовского нарекли Иваном Ивановичем. Укрывая этих детей, взрослые рисковали жизнью. Но они презирали бы себя, если бы поступили иначе.

Так в краю сожженных, истерзанных, разграбленных селений жил этот детский дом. Юные наши граждане отмечали советские праздники, пели вполголоса советские песни. Под новый год справили, как в прежние времена, елку. Ее украсили бумажными фонариками, гирляндами. Восьмилетний Ким Замиховский был Дедом Морозом. Окрестные жители позаботились, как могли, о гостинцах, и было в каждом кульке два ореха, яблоко, кусочек ячменного хлеба…

Солнечным весенним утром Дарья Ефимовна Гончарук собрала всех во дворе.

— Сегодня, ребята, Первое мая! — голос ее дрожал. Она спрашивала, помнят ли дети, как празднуется день Первомая. Ей так дружно и звонко отвечали «По-ом-ним!!!», что слезы туманили глаза…

Самым же большим и счастливым событием был приезд партизан. Вот что рассказывал об этом бывший комиссар партизанского соединения, секретарь подпольного Винницкого обкома партии Дмитрий Тимофеевич Бурченко:

— Наше соединение совершило рейд по вражеским коммуникациям Жмеринка — Одесса. Однажды вечером начальник разведки Федор Манжос доложил, что в населенном пункте, остающемся слева, обнаружен… детский дом. По словам разведчиков, там больше ста советских ребятишек. Признаюсь, мы и поверили и не поверили. После двух лет оккупации во вражеском тылу живет и здравствует детский дом — возможно ли это? Вместе с командиром соединения Яковом Ивановичем Мельником, с другими партизанскими командирами отправились мы в Котюжаны. В детдоме уже был отбой, ребята спали. Они

мигом поднялись. Мне трудно рассказать, что творилось, как ликовала детвора. При свете двух керосиновых ламп мы могли хорошо рассмотреть ребятишек. Все они были чистенькие, в аккуратно заштопанной и залатанной одежде, но очень худые. Дети запели: «Полюшко-поле, полюшко, широко поле! Едут да по полю герои, эх, да Красной Армии герои». Партизаны были взволнованы. Каждый старался найти для этих ребят самое душевное, ласковое слово.

С детишками находились три воспитательницы и директор Енджиевская. Эта женщина делала все, чтобы спасти детей. Мы узнали, как дети бедствуют, голодают. Партизаны доставили сюда мешки с мукой, крупой, чтобы был в детдоме добрый запас. Тут же мы забили для них трех кабанов и быка. Енджиевская пожаловалась: дети давно не видят сахара. К сожалению, в тот момент и у нас его не было. Вмешались разведчики: «Товарищ комиссар, разрешите поехать к раненым, у них на повозках всегда сахар водится». Поскакали к обозу и собрали там килограммов двадцать.

Партизаны роздали детям звездочки, зажигалки, карандаши, яблоки, игрушки, тетради. Это были драгоценные подарки: Родина говорила своим детям, что помнит их, что скоро их выручит…

Ранней весной 1944 года нагрянул в Котюжаны гитлеровский карательный отряд. Отступая, враг свирепо расправлялся со всеми, кто связан был с партизанами, убивал старых и малых. Одиннадцать карателей въехали в детский дом. Они были голодны и первым делом съели приготовленный для детей завтрак. Потом стали сгонять воспитанников в пекарню. Туда же загнали взрослых. Теперь страшная трагедия казалась неминуемой. Но судьба вдруг явилась сюда в образе лихих красноармейцев-разведчиков, одетых в белые полушубки. Они схватили карателей без единого выстрела: вокруг были ребятишки.

Дети выжили, выстояли. Потому что в труднейшие минуты поспевали к ним на помощь красноармейцы, партизаны, колхозники. Потому что село Котюжаны дало ребятам надежных и самоотверженных воспитателей. Спасение юных наших граждан — коллективный подвиг этого далекого украинского села. И сказалась в этом подвиге духовная сила народа, выдержавшего трагические первые месяцы войны и сумевшего в этой войне победить.

Сейчас в живописной помещичьей усадьбе на краю села по-прежнему детский дом. Здесь можно встретить и работников-ветеранов, тех, что растили ребят в горькие военные годы.

Некоторые из них уехали. Некоторых, в том числе Ольги Феодосьевны Енджиевской, уже нет в живых. Почти все воспитанники тех лет получили образование, пошли на заводы, шахты, в колхозы. После работы в Донбассе и службы на флоте вернулся в Котюжаны Ким Замиховский. Здесь женился, теперь у него большая семья — восемь детей, работает электриком. Из Киева приезжал в Котюжаны слесарь вагонного депо Ювелин Немировский, из Полтавской области — теплотехник сахарного комбината Ромуальда Жмуцкая. Окончив мореходное училище, плавал судовым механиком Василий Соколов. Педагогом стала Корнелия Туркевич, музыкантом — Владимир Григориченко. Бывшие воспитанники приезжают как на родину в любимые Котюжаны, в дом, где мерзли, голодали, где ночью при свете керосиновых ламп пели партизанам свои песни.

Немало видел на своем веку старинный этот дом, немало сложено о нем преданий, легенд. Но быль удивительнее легенды.

Ж. Миндубаев
Босоногий марш

Маленькая, пожелтевшая от времени четвертушка бумаги. Неровно прыгающие буквы: «На основании решения исполкома облсовета и обкома ВКП(б) детский дом должен быть немедленно эвакуирован. Обязываю вас организовать эвакуацию. Персональная ответственность возлагается на директора детдома».

В 1942 году такие приказы получили во всех детских домах Сталинградской области — фашисты рвались к Волге. История эвакуации одного из домов стала известна благодаря письму, полученному автором.

«Мне рассказали потрясающую историю, — писала из Ялты В. Ключникова. — Дело было во время Сталинградской битвы. В это тревожное время простая советская женщина буквально из-под немцев спасла целый детский дом. Колонну ребят — а там, говорят, были совсем маленькие детишки — она со своими подругами пешком вела от фронта за Волгу. Ребята прошли километров триста, все остались живыми и здоровыми благодаря храбрости и самоотверженности той, которая вела их.

К сожалению, человек, рассказавший эту историю, не знает точно фамилии героини. Кажется, ее звали Клавдия Борисовна и она работала где-то в Сталинградской области директором детдома».

…Ее звали Клара Борисовна Брамник.

Клара Борисовна вспоминает:

— Нашему детдому выделили восемь вагонов. В них надо было посадить всех детей, затолкать постели, книги, продукты и медикаменты — путь лежал не близкий, на Урал. Ребятишек в дороге надо было поить, кормить и лечить. Когда погрузились, комендант, издерганный, охрипший, отыскал меня:

«Заберите еще шестнадцать ребят. Сняли с грузового эшелона. Где-то под Ровно у них разбомбили пионерлагерь».

Детдом ждал отправки, ждал паровоза. А вместо паровоза появились немецкие бомбардировщики и начали делать свое черное дело. Все воспитательницы и старшеклассники бросились вытаскивать ребятишек из вагонов и разбегались в разные стороны. Кругом все грохотало. А когда самолеты улетели, на станции остались разбитые вагоны, горящие составы и пионервожатая Маша — ей было восемнадцать лет. Ее первую убило осколком бомбы.

Что делать?

Из-за горизонта выплывала глухая канонада. Надо было увозить ребят, но самолеты разбомбили пути. Оставался один выход — вести детей пешком за Волгу, за триста с лишним верст. Ребят было сто восемьдесят. Самым старшим не исполнилось и шестнадцати. А младшие еще только через два года должны были пойти в школу. Всех их надо было уводить от фронта, от смерти.

Мы пошли. Соорудили заплечные мешки из наволочек. Взяли самое легкое и самое теплое. Забрали все продукты, посуду: никто не знал, сколько придется идти, где ночевать и чем питаться в прифронтовой полосе. Это было в конце июня 1942 года.

Малышей несли за плечами. Дети засыпали на ходу, крепко обхватив ручонками наши шеи. Стояла жара. Иногда проходили лишь пять-шесть километров за день. Попутные подводы были счастьем — в них усаживали самых маленьких, остальные шагали, держась за телегу. Помогали колхозники — кормили ослабевших ребят, подвозили. Если бы не добрые люди, то многие не дошли бы до Волги…

Через три недели на детей было больно смотреть: грязные, одежда порвана, истрепалась на бесконечных проселках обувь. Шли босиком. Завелись вши. На берегу какой-то речушки сделали дневку: мыли, стирали, латали белье, прятались по кустам — над головой то и дело проносились немецкие самолеты, летали бомбить Камышин.

Все мы боялись одного — только бы кто-нибудь не простудился, не заболел. Ночевали где придется — в пустых школах, на сеновалах, нескошенном поле. На счастье, ночи были теплые.

Ближе к Волге хлеба не жгли, а косили. Старшие ребята помогли колхозникам убирать пшеницу.

Надо было спешить, а поднимать детей в дорогу становилось с каждым утром все труднее и труднее. Постоянно приходилось ломать голову: как достать две-три подводы, чтобы довезти ослабевших? Чем лечить больных?

На крупномасштабной карте путь, пройденный детским домом, — лишь несколько сантиметров. Зеленые пятна низин, извилистые проселки, деревеньки, читая названия которых Клара Борисовна волнуется, то и дело поправляет поседевшие пряди на висках.

— Вижу, воспитательницы на пределе. Стараюсь быть строгой. А ночью — у самой глаза мокрые. Второй месяц от мужа с фронта никаких вестей.

В Камышине — сутолока эвакуации, бомбежка, дым пожаров.

Несколько дней прожили в пустой школе. Надо переправляться за Волгу. Как? Пароходов нет. Помогли военные. Командир сказал:

— Сегодня ночью на ту сторону везем лошадей. На плотах. Поплывете?

Тогда переправлялись через реку только по ночам. Днем над водой постоянно висели фашистские самолеты. В полночь было тихо. Помню: над водой крупные звезды, хлюпают в темноте волны. Вконец измотанные дети жались друг к другу.

Под утро были на левом берегу. Два дня отдыхали в пустом помещении какого-то уже эвакуированного детдома. Потом пошли на север, дальше. Заволжская степь, песок. Недалеко от станции Гмелинка встретили знакомых из облоно. Они не верили своим глазам: «Вас считают погибшими!» На следующий день приехал нарочный, привез наряд на продукты, вагоны. Спросил:

— Есть потери?

— Есть, — ответила я. — На станции Филоново убита пионервожатая.

Сто восемьдесят детей совершили тот босоногий марш. К концу похода все оборвались, обносились. После, уже в эшелоне, отмывали ребят, одевали в чистое.

— Замечательные воспитательницы были у нас, — говорит Клара Борисовна. — Любовь Петровна, Бронислава Исаевна, Вера Петровна, всех и не упомнишь.

Да, эти женщины совершили подвиг.

Но прежде всего это подвиг Клары Борисовны, хотя о себе она не говорит. Да вся ее жизнь — образец чистоты и благородства, непрерывное испытание терпения и доброты.

Кларе было восемнадцать лет, когда она впервые прикоснулась сердцем к беззащитному и потому вдвойне тяжкому детскому горю.

В начале двадцатых годов на Украину, в городок Изяслав, прибыла партия детей-сирот из голодного Поволжья.

В бывшем имении пана Потоцкого организовали детский дом. Нужен был директор. Не распорядитель благополучного хозяйства, а человек, в душе которого для каждого попавшего в беду ребенка хватит любви и участия, честности и мужества. Да, мужества, ибо каждая пара башмаков и каждый кусок хлеба были проблемой.

Нетрудно подсчитать, сколько стали выплавил за свою жизнь сталевар, сколько хлеба вырастил крестьянин, сколько книг написал писатель. Но как измерить служение детям педагога, воспитателя, отдававшего не одному, не двум — сотням воспитанников свое сердце?!

Пятьдесят лет работы в детских домах. Сотни писем из всех

уголков страны. В них — любовь и признательность за все, что Клара Борисовна сделала для них — нынешних сталеваров, хлеборобов, учителей.

Я. Каменецкий
Дневник Миши Тихомирова

Когда в сентябре 1941 года вражеская авиация стала засыпать город зажигательными бомбами, в школе, где я был директором, из старшеклассников сформировали команду МПВО. Пятнадцатилетний Михаил Тихомиров возглавил противопожарное звено.

Однажды, когда после отбоя воздушной тревоги Миша доложил: «Пожар погашен!», мы увидели, что волосы его будто припудрены известью. Но то была не известь, а седина…

Через несколько месяцев Миша погиб при обстреле города.

Родители его были учителями. Лидия Дмитриевна преподавала математику. Василий Владимирович работал завучем школы имени академика Марра, а затем в той же должности проработал все девятьсот дней блокады в одной из немногих действовавших в Ленинграде школ — 367-й. Он был одним из первых ленинградских учителей, удостоенных звания заслуженного учителя школы РСФСР. Ныне из всех Тихомировых жива лишь Нина Васильевна — Нинель, «блокадная ученица» 367-й школы.

У меня сохранился дневник Миши Тихомирова.

Ленинград, 8 декабря 1941 года

Начинаю этот дневник вечером 8 декабря. Порог настоящей зимы. До этого времени еще было малоснежие и морозы были слабые, но вчера, после 15-градусной подготовки, утром ударил мороз — 23 градуса. Сегодня держится на 16-ти, сильно метет весь день. Снег мелкий, неприятный и частый, пути замело, трамваи из-за этого не ходят. У меня в школе было только три урока.

Война ширится. Сегодня узнали о начале военных действий между США и Японией. Вклеиваю сюда на память несколько вырезок.

Так как дневник начинает писаться не только не с начала войны, но с середины обычного месяца, необходимо сделать краткий перечень всего интересного, что произошло у нас и как мы живем в данный момент.

Ленинград в кольце блокады; часто бомбардировался, обстреливался из орудий. Топлива не хватает: школа, например,

отапливаться углем не будет. Сидим на 125 г хлеба в день, в месяц мы получаем (каждый) примерно около 400 г крупы, немного конфет, масла. У рабочих положение немного лучше. Учимся в бомбоубежище, так как окна (из-за снаряда) забиты фанерой и собачий холод в классах. Дома живем в одной комнате (для тепла).

Едим два раза в день: утром и вечером. Каждый раз суп с хряпой или чем-нибудь другим (довольно жидкий), какао утром, кофе вечером. До последнего времени пекли лепешки и варили изредка каши из дуранды (теперь она кончается). Закупили около 5 кг столярного клея, варим из него желе (плитка на один раз) с лавровым листом и едим с горчицей.

9 декабря

Пятнадцатиградусный мороз без сильного ветра. Трамваи после вчерашних заносов не ходят. Целый день с утра до вечера идет отдаленная стрельба. Ребятам в школе дали без карточек (а возможно, будут давать и впредь) жиденького супа. Все-таки это что-нибудь да значит. Днем у нас с 10 до 5 часов света нет, самые неприятные — последние часы, темно. Сегодня со двора перетащили дрова. Днем поели хлеба, попили горячего кофе с хлебом, салом, полусухарем и галетиной. Всего, конечно, минимальное количество, но все же это — из ряда вон выходящее событие. Вечером думаем шить варежки. Спать лягу часов в 8.

10 декабря

Погода все та же. В 6 часов мама ходила в очередь за конфетами, но безуспешно. Вернувшись, сообщила радостную новость: нашими войсками взят снова Тихвин. Приподнятое настроение. Мама сшила первую пару варежек. Замечательные. Просторные, теплые. Сегодня сварили суп на два дня из 10 картошек (две кастрюли), кружки бобов, чуть-чуть лапши и по кусочку мясных консервов… Клея по городу нет. При случае запасем еще. Пока он идет у нас замечательно с разными острыми приправами.

Затоплен камин. Сейчас будем греться, пить кофе, читать вслух. Настроение бодрое. Ждем газет с подробностями боев за Тихвин. Дневник я теперь пишу, как только дают свет, то есть после 5 часов.

11 декабря

Сегодня — еще радостная весть: наши войска взяли Елец. На Тихом океане заваривается страшная каша. Япония действует вовсю. В школе было из-за холода четыре урока. Вероятно, так будет и впредь. Собрались все дома до двух часов. Поэтому согрелись чаем. Выдано по сухарю и галетине. Обедать сегодня будем позднее. Вокруг — упорные, но, по-моему, ложные слухи о прибавке хлеба. Идут разговоры об эвакуации через лед Ладожского озера. Кто говорит — идти пешком 200 км, кто — 250 км. На вторую декаду выдадут еще понемногу масла. Если удастся получить — замечательно. Сегодня намечается шитье варежек для меня.

12 декабря

После сильной ночной метели — замечательно ясные, морозные утро и день. Улицы занесены снегом. Трамваи не ходят. Испытал свои новые варежки — прямо спасение для рук, совсем не мерзнут. Мама получила за первую декаду месяца 800 граммов черных макарон. Сразу же разделили их на 10 частей. Выходит по неполной чайной чашке на кастрюлю супа. Суп сегодня уже варили с капустой. Папа сегодня ушел в школу на ночное дежурство. Взял два одеяла, надел свежесшитые стеганые ватные брюки: ведь в школе лютый холод! Такие же брюки, вероятно, будут готовы к среде и для меня. Сейчас мы втроем сидим и читаем. Скоро пойдем спать.

Вообще все мы страшно похудели, в ногах и теле слабость, которая особенно чувствуется после пилки дров (даже очень непродолжительной), ходьбы и т. д. Тело все время зябнет, пустяковые царапины и ожоги не заживают очень продолжительное время. Стараюсь уроки приготовлять в школе, раньше ложиться спать.

13 декабря

Газет еще нет, но сводка, кажется, хорошая. Второе наступление немцев на Москву провалилось с огромными для них потерями. Гитлер бесится, юлит, старается придумать хоть какое-нибудь объяснение провала «молниеносной войны». Америка ведет себя, как боксер тяжелого веса в начале боя: бодро сообщает о гибели линкора и линейного крейсера — «пустяки,

мол, наплевать». Папа продежурил ночь благополучно, пришел еще до ухода нашего в школу. На вечер план такой: греемся у камина, пьем кофе, читаем «Морского волка» и рано ложимся спать. Завтра также думаем отсыпаться. Сегодня начали подготовку к 20-му числу: отрезали часть от 2-дневной получки хлеба. Так что ко дню моего рождения, вечером, каждый получит на пиру по такой добавке.

14 декабря

Спали до одиннадцати часов. День прошел незаметно. Варили обед, я доделал микроскоп, но еще не испытал его. Вечером прочли при камине три главы «Морского волка». Скоро должны выключить электричество. До этого момента почитаю «Большие надежды» Диккенса. Потом — спать. К вечеру оставил четыре ломтика сушеного хлеба (очень маленьких), кусочек сухаря, пол-ложечки топленого сахара (чаю я не пил во избежание запухания), и будет еще, благодаря воскресенью, выдача шоколада. Сегодня подсчитал остатки клея — 31 плитка. Как раз на месяц.

В городе заметно повысилась смертность: гробы (дощатые, как попало сколоченные) водят на саночках в очень большом количестве. Изредка можно встретить тело без гроба, закутанное в саван.

15 декабря

Туман при морозе в 25 градусов. Все покрыто инеем. По краям улиц скапливаются громадные сугробы. Снег убирать трудно, поэтому даже после не особенно сильного снегопада трамваи не ходят. В бомбоубежище школы — адский холод. Заниматься очень трудно. Мама идет сегодня на ночное дежурство.

С некоторых пор все замечают, что у меня опухает лицо. Думаю поэтому как можно больше уменьшить себе порцию воды. Вообще об опухании: по городу болезнь эта очень сильно распространена. Опухание начинается с ног, переходит на тело; многие умирают. Еще раз подчеркиваю громадную смертность среди населения. Возвращаясь из школы, можно встретить до 10 гробов.

16 декабря

После первого урока, ввиду холода, нас попробовали перевести в 11-ю школу; оказалось, что там еще хуже: к холоду прибавилось отсутствие света. Не знаю, как просидели два урока. Потом мы пошли в столовую. Съели по тарелке супа.

Сейчас ждем прихода мамы. Затопим плиту, будем варить обед.

Наши части все продолжают теснить немцев. Газет еще не было, но, кажется, нами заняты Клин, Ясная Поляна и еще несколько станций и местечек. Писем пока ни от Бори, ни от «бузулучан» (как я мысленно называю теперь наших) нет.

Вообще же держать настроение достаточно бодрым иногда трудно: сказываются и холод, и недоедание.

17 декабря

В школе — три урока: заболел физик. Кроме жиденького супа дали микроскопические дозы повидла. Хоть кое-что!

Дома согрелись кофе. С утра оставили к нему понемногу хлеба. Мама дала по кусочку из остатков сала. Я свою порцию подсушил в камине и оставил к вечеру. Буду есть и читать в постели (к своей кровати я поставил лампочку). Сегодня отложили уже третью порцию хлеба в фонд 20-го числа.

Сводка, кажется, хорошая: кроме нескольких местечек наши войска взяли Калинин. Вообще же газеты приходят очень плохо.

Еще немного о школьных занятиях: в школе я почти совсем не пишу, стараюсь только понять и запомнить. Уроков в большинстве случаев дома не готовлю. «Хватаю» только самое главное.

18 декабря

Мороз полегче, ветра нет. В бомбоубежищах такой же холод. Писали контрольную по химии, руки закоченели. Учителя готовятся к концу 1-го полугодия ставить отметки.

Сегодня будем топить плиту. Когда придет папа, может быть, напилим дров. Капуста идет к концу. Потом как-нибудь будем выкручиваться.

Все мы ждем не дождемся прорыва кольца блокады, а отсюда улучшения положения населения. Все в очередях, на улице почему-то уверены, что это последний тяжелый месяц.

19 декабря

Канун моего дня рождения. День после школы занят усиленной работой: пилим дрова, колем и таскаем в комнаты. Перед работой подкрепились остатками черных сухарей и кусочками сала с какао. Для истощенного организма работа кажется страшно тяжелой, руки быстро устают.

Скоро будем обедать. Голод дает себя чувствовать, да и все тело ломит от усталости. Потом затопим камин, вымоем головы и ноги, сменим белье. На завтра мама достала за 10 пачек папирос маленький кусочек дуранды (дорого). Из него и из бобов она устроит праздничную кашу. Отрезали сегодня последний (четвертый) пай в счет праздничного пира. Немцы вспомнили о нас: вчера был короткий, но очень интенсивный обстрел, кажется, Куйбышевского района. Сегодня тоже кого-то обстреливали.

20 декабря

Запишу о празднике немного. Он еще впереди. Сейчас варится торжественный обед.

В школе сегодня много работали, я — по уборке снега (2 часа), папа — по разборке дома на дрова для школы. Потом я и еще некоторые ребята поехали на завод за «буржуйками» для школы и учителей.

Завод — у Волкова кладбища. Масса гробов… По дороге видели неубранный труп на улице… Все это производит очень тяжелое впечатление.

Привезли к школе пять печурок. Потом, погрузив на санки одну, оставленную для папы, поехали втроем домой. Мама страшно обрадовалась: печурка чугунная, цилиндрическая, вес приблизительно 4–4,5 пуда. Приладили к ней самоварную трубу, затопили. Результат — великолепный. В комнате сразу стало теплее. У мамы — тоже удача: она достала 1200 г бомбошек. Сейчас это очень выгодные конфеты.

21 декабря

Воскресенье. Спали в замечательном тепле от печурки до 10 часов. Потом согрели на ней суп и поели. Мама ушла на дежурство. Получили хлеб и уже отрезали частицу в фонд новогоднего праздника. Сейчас 2 часа, но уже темнеет. Только что кончился сильный артобстрел города. Немцы зашевелились, вероятно, благодаря теплу (температуре —2°). В 5 часов начнем варить обед на буржуйке. Вечером затопим камин.

День рождения прошел великолепно. Я получил замечательный коллективный подарок: альбом для рисования и великолепно изданную книгу «Античное и новое искусство» с замечательными репродукциями творений великих мастеров. Потом начался обед, состоящий из двух тарелок густого супа с капустой, каши из разваренных бобов сои с лапшой (кажется, никогда не ел такой вкусной!), кофе. К кофе было выдано по кусочку вареной почки, тресковых консервов, хлеба, меда. Из всего этого каждый состряпал десяток миниатюрных бутербродов и с наслаждением, медленно съел. Кроме того, ко сну мама выдала по нескольку конфет. Организм почувствовал сытость!

Камин не топили, так как великолепная печечка очень сильно нагрела комнату.

22 декабря

На улицах лужи. Теплый влажный ветер. После школы устраиваем «замор червя» ради нашей новой победы: взяли Будогощь и еще несколько станций. Это имеет громаднейшее значение для ленинградцев.

Вчера после обстрела была тревога. Полетали самолеты, похлопали зенитки. Бомб не слышали. Это первая тревога после долгого затишья. В теле все чувствуют слабость, но к Новому году ждем улучшения.

23 декабря

Снова небольшое похолодание. На улицах скользко. С фронта новых вестей нет, в школах собираются ставить отметки за первое полугодие. В теле слабость. Единственное, что утешает, — это надежда на скорое улучшение. Комнатные условия в климатическом отношении благодаря печурке просто замечательные. Топим ее каждый день, суп варим тоже на день.

Очень беспокоит вопрос с продуктами: почти ничего не получено, а началась 3-я декада.

Постскриптум. Вот вести с фронта: вклеиваю вырезку из «Ленинградской правды». Судя по всему, немцам придется удирать, чтобы не быть окруженными.

24 декабря

Настроение не очень веселое, так как сводки еще не слышал, во всем теле и особенно в ногах сильная слабость. Ее чувствуют все. Сегодня узнали в школе о смерти учителя черчения. Это вторая жертва голода… Уже не ходит в школу преподавательница литературы. Папа говорит, что это следующий кандидат. Многие учителя еле-еле ходят. Жить было бы можно, если бы получали вовремя даже наш маленький паек. Но это очень трудно. Да, нужна сейчас Ленинграду немедленная помощь.

В первую половину дня была спокойная воздушная тревога.

25 декабря

Сегодня Нинель из-за кашля и насморка, а главное, для сохранения сил, не ходила в школу. Мы же, придя в школу, узнали великолепную весть: прибавка хлеба! Получаем теперь по 200 г. Это показатель нашего положения на фронте. Все воспрянули духом.

Сегодня днем попьем как следует кофе с хлебом, да еще с повидлом. Его мама достала 1 кг вместо конфет, которых все равно не достать. Теперь можно будет на печечке жарить множество мелких сухариков. Замечательно! Сводка сегодня довольно хорошая — мы движемся вперед на многих направлениях.

26 декабря

Из-за отсутствия света в школе занятий не было. Вернувшись, наколол дров для нечурки и стал ждать папу. Когда он пришел, устроили питье кофе с повидлом. Хлеб по случаю прибавки имеем возможность выделять на дневной «замор червя» специально. Вечером мама угостила нас овсяным киселем из кострики с малым количеством муки и глицерина. Ели с солью — замечательно вкусно.

Все ждут новых улучшений. Прибавка хлеба — громадный уже шаг в деле спасения ленинградцев. Сейчас пьем вечерний кофе. Потом почитаем «Морского волка». Кофе я стараюсь пить пустым: из хлеба насушены мельчайшие сухарики… Галета расколота на мелкие части… Имеется чайная ложечка повидла. Позже, отдыхая в постели, буду читать и медленно поглощать все это… Замечательно!

Воздушная тревога. Самолеты летают, но, вероятно, наши. Не обращаем ни на них, ни на тревогу внимания.

27 декабря

В школу не пошел. Дома наколол дров для печурки, потом лег. У Татьяны Александровны мама достала книгу Беляева «Властелин мира». Кажется, очень интересная. На улице мороз 20 градусов. Стекла в узорах. Скоро затопим плиточку.

Вклеиваю весь сегодняшний листок «Последних известий». Он, по-моему, достаточно отразит всю картину положения в мире.

Опишу еще конец дня. Мама достала 2 литра разливного портвейна. Понемногу попробовали все. Из дуранды, кофейной гущи, муки (неизвестно какой) на олифе нажарили лепешек. Не очень вкусно, но хоть что-нибудь да дает.

28 декабря

Опять двадцатиградусный мороз. С утра над городом гудят самолеты, но тревог нет. Сводки информбюро пока не имеется. Утром у меня температура 35,8; к середине дня немного повысилась. Завтра думаю опять не пойти в школу.

На толкучке обменяли 3 куска сахару и коробок спичек на 500 г растительного масла. Это великолепно. Ведь в жировом отношении последний месяц у нас исключительно голодный (по карточкам масло еще не было возможности получить!).

Сегодня в меновом отношении очень удачный день: за 1/2 литра керосина мама достала 20 конфет из кофе и жженого сахара со сгоревших Бадаевских складов. Они очень вкусны. Папа же принес около 2 кг муки из отходов патоки (это в обмен на ликер). Потом он принесет еще кг 3. Не знаем, насколько она безвредна.

Слабость продолжается. До каникул в школу не пойду. «Обеды» на Нинель и меня берет папа. Первого числа по случаю праздника он получит за нас кроме супа еще какие-то блинчики. 3-го для ребят устроят спектакль в Большом драматическом и тоже «обед из трех блюд». На него-то уж думаю сходить. Сводки еще не слышал, но, кажется, наши дела на фронте хороши: взята станция Бабино.

30 декабря

Чувствую себя значительно крепче и лучше. Трехдневное безделье даром не прошло. Мама получила вместо мяса грудинку в 75-процентном размере. Все мы считаем, что это очень хорошо.

Вчера делали опыты с новоприобретенной мукой. Общий вывод — никуда. Пробовали жарить болтушку из нее на сковородке. Получилась густая масса, чуть-чуть сладковатая, чуть-чуть горьковатая, вязнущая на зубах; мама сказала даже, что она щиплет горло. Все мы не знаем даже, насколько безвредна эта мука. Мне же эти «конфеты» очень нравятся, и я впредь буду их варить.

Папа уходит в школу дежурить на всю ночь. Снабдили его какао, кружкой, конфетами и вообще чем могли (в школе поставили печурку, и он попьет ночью какао).

31 декабря

Папа пришел с дежурства с радостной вестью: наш десант высадился в Крыму, занял Керчь и Феодосию и громит немцев. Крым должен быть очищен от немецкой сволочи!

Сегодня празднуем Новый год. Вечером — пир (насколько возможно, конечно). К вечеру над столом укреплю медный кронштейн с лампой (ниже старого). Будем жить при двух лампах.

Настроение у всех хорошее, у меня хорошо окрепли ноги. Сейчас где-то бьют орудия — идет обстрел города. Мама ушла пешком (трамваи не ходят) в школу — надо получить карточки на новый месяц.

1 января 1942 года

Двадцатипятиградусный мороз. Ясно. Сводка хорошая: нами заняты Калуга и Кириши. Папа ходил в школу, но там ничего особенно праздничного не было. Получили новые карточки. Сил в организме столько, что занялся микроскопом: рассматривал паразитов человека.

Вчерашнее празднество прошло хорошо: на столе «великое обилие яств», настроение замечательное. Произносились тосты за победу наших частей, за встречу всех нас вместе после войны целыми и невредимыми. Легли спать рано.

2 января

Мороз 27 градусов. На улице прямо охватывает нос и щеки. Ходил по магазинам в поисках пленок для моего «Лилипута»

(думал сфотографировать хотя бы один разрушенный дом), но ничего не нашел. Света не было целый день. Капуста кончается. Впереди нерешенная проблема супов (крупой в магазине и не пахнет, а есть так называемая «ржаная мука», брать которую не хочется). Масло тоже еще не получено.

3 января

Света еще нет. На сегодня была назначена елка для учащихся со спектаклем в Большом драматическом театре и обедом. Когда пришли туда, то узнали, что елка переносится на 7-е число. Муку решили подождать брать. Будем ждать крупы. От фотографии придется отказаться, так как пленки нигде нет. Буду работать с микроскопом. Вот только дали бы свет.

У Нинели испортился желудок. Все очень беспокоимся. Поим ее салолом и часто даем вина. Сейчас испорченный желудок — исключительно неприятная штука.

В городе наблюдается недостаток хлеба. Лавки пусты. Надеемся, что получим во второй половине дня.

4 января

Продукты еще не получены. Вчера мама взяла на пробу 400 г «ржаной» (дурандовой) муки. Чайную чашку всыпали в суп. Сегодня пробовали: вкус дает, но и только. Капусту кладем уже только для вкуса, по неполной чайной чашечке. Сегодня мама испекла из части взятой муки и кофейной гущи лепешек и вечером сварила жиденькой кашицы. Все это кажется замечательно вкусным.

Опасность с Нинелиным желудком, кажется, миновала, но папа жалуется на слабость в ногах. Вообще же город вымирает… Смертность огромная; света нет; воды нет; трамваи не ходят; улицы покрыты снегом, который совсем не вывозится…

Городу нужна срочная помощь.

5 января

Потеплело. Использовали это: перетащили все дрова со двора в комнаты. Днем был сильный обстрел нескольких районов города. Настроение у всех невеселое: у папы состояние ног не улучшается, Нинель жалуется на желудок снова, продуктовая

ситуация отвратительная. Организмы ослабли и требуют срочной поддержки. Особенно беспокоит нас всех сейчас состояние папы. Есть нечего, а впереди тяжелые времена.

К вечеру центром у нас становится печурка. Ради экономии керосина сидим при двух ночниках; если имеется интересная книга, читаем понемногу… Вид со стороны, вероятно, довольно унылый и мрачный.

На фронте положение пока не меняется. Кольцо рвут, очевидно, снаружи; у нас же пока никаких улучшений, хотя город переживает страшно трудное время… Город замирает…

6 января

Целый день сидел дома. Погода неустойчивая, температура держится около 10 градусов. Сегодня до нас дошли кой-какие слухи о взятии Мги, что для нас, конечно, очень важно.

Около половины четвертого начался сильный артиллерийский обстрел нашего района. Били два орудия: часто в продолжение 15–20 минут. Нинель в это время находилась на улице, и мы беспокоились о ней, так как снаряды шлепались очень близко.

Вчера вместо крупы взяли 2 кг «ржаной» муки. Перебрали сухари и растолкли мелкие обломки в ступке. Из этого всего в ближайшее время будем варить каши, а что касается будущего, то будем надеяться на лучшее, так как в противном случае положение просто безвыходное. Завтра 7-е, день, на который из-за отсутствия света перенесена наша елка. Света будем ждать сегодня вечером.

7 января

К одиннадцати часам пошли в театр. Свет дали, поэтому елка состоялась. В сильном холоде посмотрели «Дворянское гнездо». Артисты играли плохо: в пальто, валенках и шубах. Потом — обед. При впуске в столовую величайшая толкотня и беспорядок. Обед: крошечный горшочек супа, граммов 50 хлеба, тоненькая котлетка с гарниром из пшена и немного желе. Хлеб и котлеты принесли к вечернему пиру: предполагается каша из «ржаной» муки.

Завтра — занятия, хотя есть слух о продлении каникул. С фронта ничего особенно утешительного нет, но благодаря елке ли, обеду ли настроение бодрое (да и свет после четырех суток

темноты).

8 января

Вчера вечером по моей просьбе мама достала у Юры остатки докторского микроскопа (штатив и труба). Юра перестал, очевидно, им интересоваться, а поэтому я попытаюсь эти остатки присвоить, тем более, что, присоединив к трубе объектив и окуляр от моего «козла», я получил сносную для работы штуковину. Микроскоп этот не похож на наши теперешние; сделан, кажется, в Лондоне.

Вернувшись из школы (мы оставались дома, так как каникулы продлены до 15-го, что замечательно), папа принес еще скорбную весть: умер от истощения Владимир Петрович Шахин и еще один преподаватель. Все это действует угнетающе, а по городу везут еще гробы и гробы в громадном количестве…

Ноги у папы пока не лучше, мои тоже чувствуют слабость. Скорее бы улучшение! Но с фронта ничего утешительного нет.

9 января

Мороз не легче. Опять сидел целый день дома. Папа достал 4 кг муки (отходы от производства патоки, по 25 р. за кило). Я упоминал уже о свойствах, испытании и оценке, данных этой муке. Но теперь, благодаря мне, отношение к ней резко улучшилось: в энциклопедии я нашел статью, в которой указывается, что при производстве патоки получается некоторое количество глюкозы (виноградного сахара), о котором или о которой говорят, что сейчас она очень поддерживает организм. Кроме того, муку можно менять на толкучке. Из мучной болтушки с некоторым количеством сахара получается какое-то подобие повидла. Оно нравится всем, за исключением Нинели. С этой штукой с большим успехом нами пьется чай, кофе и т. д.; я, кроме того, ем ее «сырьем».

Некоторые изменения в городе: сняты кони Клодта с моста через Фонтанку; рядом рассечен сверху донизу бомбой дом. Люди по городу ходят, как тени, большинство еле волочит ноги; на больших дорогах к кладбищам масса гробов и трупов без гробов. Трупы, просто лежащие на улицах, — не редкость. Они обычно без шапок и обуви… Трудно будет выдержать этот месяц, но надо крепиться и надеяться.

Э. Максимова
Вторая победа

Увидела я эту бумагу случайно, в рукописном фонде Музея истории Ленинграда: деловая записка заведующей детским садом номер 20 об эвакуации на Урал, июнь 1942 года. Меня заинтересовал энергичный стиль документа: «Скоро полгода, как мы здесь, дети здоровы, питание налажено, нас десять женщин, мы считаем себя фронтовиками, только наш фронт — нежный и веселый, работаем дружно, любовно, планово, твердо веря, что близок день, когда сможем с рук на руки передать своих питомцев их родителям в любимом Ленинграде».

Где она — заведующая Евгения Николаевна Скотникова?

Меня вдруг ожгла простая мысль: кому, когда попадется в следующий раз на глаза этот лист грубой желтой бумаги, снова уложенный в папку, которую сейчас унесут куда-то в глубь Петровской куртины (музей помещается в Петропавловской крепости)? А за листком — история, история. Сегодня еще, может быть, полнокровная — с живыми красками, звучащая.

В ближайшем киоске Ленгорсправки мне дали адрес: переулок Макаренко, 3, квартира 14. От Евгении Николаевны Скотниковой потянулась цепочка к людям и событиям, о которых пойдет рассказ. События эти будничные и необыкновенные — смотря из каких лет на них глядеть.

Детсад был обычный, районный. Утром приводили аккуратных, умытых, симпатичных ребятишек, вечером, ухватив за руку маму, бабушку, реже папу, они так же весело разбегались по домам. Их воспитательницы, озабоченные интеллектуальным развитием детей, знали свое дело — читать им, играть с ними, гулять, открывать мир.

На седьмой день войны заведующих детсадами вызвали в райисполком: завтра в 10.30 эвакуация. Куда? Неизвестно. Вы считаетесь мобилизованными. Надо же оповестить родителей, побеседовать, собрать вещи — когда? Сами решайте. Имейте в виду: детей с сестрами и братьями до десяти лет не разлучать. Ясно? Действуйте.

Оказалось, что одна ночь — военная — срок большой. Про себя пришлось забыть. Забежали домой, оставили записки мужьям (у кого еще не ушли в армию): «Сложи в чемодан вещи мои и ребят, зимнее не надо, принеси в детсад».

Утром в автобусы садились «неделимые» дети, трехлетние и школьники. Нарушила Евгения Николаевна инструкцию, взяла

вместе с сестрами Трыковыми четырнадцатилетнего Валю. А как иначе? Их мать умерла, отец просил слезно (последний раз он тогда ребят видел, умер в блокаду). А в конце войны детсад проводил Валентина на фронт.

Когда в 1943 году начали создавать школьные интернаты, Евгения Николаевна пошла на хитрость, придумала «карантин по скарлатине», чтобы ребята по-прежнему оставались вместе.

Такое это было странное учреждение, именовавшееся детским садом.

Итак, дети стояли возле автобусов, уже отдельно от родителей, прижимая к себе мишек, кукол — каждому разрешили взять из детсадовского богатства самую любимую (спустя много, много лет в эти игрушки еще будут играть дети этих детей). Младшие не очень горевали — они ехали «на дачу». А старшие потом сочинили стихи: «Так плакать хочется, но нужно улыбаться, чтоб мама грустной не была».

Мамы не были грустны — это состояние души мимолетное, даже светлое. У мам на сердце лежал неподъемный камень. Они не представляли себе, что разлука продлится четыре года, не думали, что многим детям суждено стать сиротами. Но сами ночью вышивали — так велено было — на рубашечках дату рождения, адрес. Значит, чтобы опознали, если ранят, если… (Одна из рубашек — Вовы Каленова — лежит сейчас в музейной витрине.)

Мамы бежали рядом, кричали вслед автобусу, а те, что сумели пробраться на перрон, — вслед эшелону: «Одевайте Аллочку теплее, она простуживается», «Соне — два раза в день капли в уши, я положила…» Каждая — свое. Тем же, кто увозил детей, слышалось одинаковое: «Сберегите!»

Их было поначалу пятеро — заведующая, три воспитательницы на две группы и няня. На 68 детей, у которых, кроме них, не было никого. Как написала потом одна из них:

Есть ли на сеете богаче мать?
Тридцать детишек семья,
Надо одеть, умыть, причесать:
Мама теперь им — я.

В музеях теперь и эти куклы, и эти стихи — в память об их военной работе. Именно их. Матери в осажденном Ленинграде ждали — что еще им оставалось? Дети в лесной уральской деревеньке жили в полную силу — что ж еще могли они? А вот женщины, которые были рядом с ними четыре года войны, не просто выполняли свои обязанности, сознавали свой долг. Изо

дня в день они совершали подвиг материнской любви. Только мамами называть себя запрещали. Говорили: «Я тебя и поцелую, и приласкаю, на ночь ножки укутаю, но я тебе не мама. Твоя мама в Ленинграде, ты к ней вернешься».

Эшелон, каждый вагон — детсад, уходил все дальше от Ленинграда. А безотрадные мысли упирались все в один тупик: как же мы справимся?

Знаете, что вселило первую робкую надежду — на остановках проводница рвала детям цветы. «Ох, забыла фамилию», — сокрушается Евгения Николаевна. Да разве возможно упомнить сотни фамилий! А их было не меньше, людей, которые обогрели ленинградцев — парным молоком, дровами, добрым словом — на их долгом пути. На Урал-то попали не сразу. Прежде детей привезли в Ярославскую область, в деревню Лукино.

За что ни схватись — проблема. Ладно, можно летом поспать и на полу, каждый день его мыть, белье проветривать. Но как в жару сохранить молоко? Стирка, купание — уходит уйма воды, где ее брать? На все Лукино один колодец. Нашли заброшенный, очистили от гнили, «закрыли» вопрос. А тут новый открылся — потруднее.

Стали приезжать из Ленинграда за детьми напуганные первыми бомбежками, исстрадавшиеся мамы. Кого-то увозили на восток, а кого-то — обратно в Ленинград. Напрасно молили воспитательницы не трогать детей с места. Сотни женщин, собравшихся на станции Всполье (в Ярославскую область вывезли сто тысяч детей), не поддавались ни уговорам, ни предупреждениям, требовали: отправляйте домой! Их отправили. Поезд до Ленинграда не дошел.

Война меж тем уже подкатилась к самому порогу сада.

В октябре ленинградские детские учреждения двинулись из Ярославля на Урал. Недавние заботы — прокисшее молоко, неглаженые простыни — в одночасье превратились в сущий пустяк, потому что, если первая эвакуация была сопряжена всего лишь с неблагоустройством, то вторая — с опасностью.

Осознавали ее и дети. Как писал папе на фронт десятилетний Витя: «Эта первая настоящая война в моей жизни».

Уезжать поездом уже нельзя, только водой, а навигации осталось несколько дней. Ближайшая пристань — за десятки километров, которые отлично просматриваются с неба.

Сохранилось детское описание трехдневного похода к Волге одного интерната. На лошадях везли только маленьких, остальные шли пешком. Саша взял худенькую Дору на руки, запахнул ей ноги своим пальто. Руки опухли от холода, одежда покрылась льдом. Старшая сестра спросила семилетнюю Асю:

«Холодно?» — «Ничего, я еще потерплю».

Когда ее сняли с телеги, чтобы посадить другую девочку, она послушно побрела рядом.

Воспитательница помнит: «То и дело надо было поднимать падающих лошадей, чинить телеги, оттирать щеки, руки, но идти и все идти, как в «Железном потоке», под дождем и снегом».

Ребятам из детсада № 20 было чуть теплее: на случай бомбежки каждому привязали под пальто на спину подушечку и смену белья. Дорогу развезло, двигались медленно. Рядом с повозкой, набитой малышами, неотступно шла высокая красавица в черном платке — Ольга Федоровна Смирнова. Ей оставалось два месяца до родов.

«Златовратский», для безопасности отведенный от пристани, был загружен сверх меры: вместо 250 пассажиров — тысяча. Двадцатый детсад не берут. Сейчас пароход уйдет, самолеты висят над головой, река вот-вот встанет, что тогда? На Скотникову смотрели продрогшие, испуганные дети…

Короче, их посадили, дали две каюты. Непостижимо, как они разместились. Евгения Николаевна так всю неделю и просидела у дверей на суповой кастрюле, прихваченной еще из Ленинграда.

С ночи занимали очередь в камбуз — приготовить детям котлеты. Ночью же стирали их бельишко, благо в каютах просыхало быстро. Детей регулярно мыли. Их занимали, образовывали: нельзя же упустить такую возможность, плывя по великой реке! Рассказами ребят еще и отвлекали. Рыбинск, Горький бомбили, «детские» суда шли сквозь пожары.

Из-за скученности начались болезни, и почти в каждом городе приходилось оставлять заболевших. В двадцатом же саду никто не кашлянул. Даже после Казани, когда плыли уже среди льдин, за буксиром (шедшие следом не пробились, вмерзли в Каму). Даже в теплушке, промерзавшей насквозь, хотя Скотникова изловчилась и добыла лишнюю порцию чурок.

Уж не знаю, что сберегло детсад: лизол, которым она одержимо промывала вагоны, каюты, нары, или фанатическая преданность десяти женщин (еще пятеро приехали позже из Ленинграда), прикрывшая их незримым, непроницаемым для бацилл облаком.

Отчетливо вижу сцену: в классную комнату школы в райцентре Чернушка, куда только что доставили с поезда детсад, входит замешкавшаяся на станции Евгения Николаевна. Это что же такое — дети прямо в пальтишках повалились на голые матрацы! Нет, так они не отдохнут и не выспятся.

Взрослые, сами еле стоявшие на ногах, раздевают полусонных ребят, укладывают на чистые простыни. «Посмотрела я на них, —

говорит Евгения Николаевна, — порозовели, раскинулись, как дома. Ну, и отлегло чуть от души».

Утром, по белому блестящему первопутку, по трескучему морозу, в розвальнях, на сене, укутанных в тулупы и одеяла, натертых вазелином, их повезли в деревню Легаевка. Дети визжали от восторга. Взрослые держались из последних сил. Как ни заботливы руководители района, приветливы деревенские женщины (они и всплакнули: «Сиротиночек привезли!»), вчерашние страхи и завтрашняя неизвестность сдавливали сердце до физической боли.

За две недели до приезда детей специальный уполномоченный Ленсовета — такие были во всех областях и республиках, принимавших ленинградцев, — Любовь Анисимовна Нехамкина с заместителем председателя облисполкома Георгием Николаевичем Белецким и заведующим облоно Василием Петровичем Масягиным часами сидели над картой области, ожидавшей 20 тысяч детей. Все брали в расчет: мощность колхоза, состояние школы, дорог. «А хлеб — пекарня приличная?», «А врач — медпункт близко?»

Полторы сотни деревень — Черный Яр и Красный Яр, Атняшка и Атряшка, Воробьи и Шерья — перекладывали печи, сколачивали топчаны, пекли шаньги. Всё помнят в Ленинграде: как, усадив детей на печку, раненый танкист Иван Зотов угощал детишек семечками, как спешковский председатель Шистерев притащил в корзине поросенка, а директор Беляевской школы Сажин — скамейки, как поломские женщины дарили носки, яранские — валенки.

Детсад Скотниковой поселили в новом доме. Хороший дом, двухэтажный, но летний, пустой. Как утепляли, приспосабливали — по винтику, по дощечке, о том можно отдельный рассказ писать. Все становилось событием: умывальный уголок отделили, придумали распялки из лучинок (в первый год, пока не было керосина, единственное освещение). А уж день, когда раздобыли зеркальце, особо отмечен в памяти.

Летом 1944 года инспектор, обследовавшая Легаевский интернат, забыв, что составляет докладную, живописала: «Спальня младших поражает белизной. Домашний уют располагает к сладкому сну. При голубоватом лунном свете дети засыпают под звуки колыбельной».

Чего это стоило! Нам не оценить — забыли те мерки, те нормы.

Любовь Анисимовна рассказывает про удачнейшую из своих командировок: привезла из Москвы пуговицы, резинку продержечную («Ребята штаны уж руками держали») и 15

килограммов олова, добытого через Совнарком («Не спрашивайте, кто разрешение давал»), — лудить дырявые казаны.

Катастрофически быстро росли ребячьи ноги. Выручали лапти. Бывшие дети говорят, что это одно из сильных ощущений детства — надежная, теплая земля Легаевки под ногами. Лапти роднили не только с деревенской ребятней — с историей России. Едва ли они думали так тогда. Но теперь, подходя к пятидесятилетию, они все чаще уносятся мыслями в Легаевку. Как сказал поэт, «я ловлю в далеком отголоске, что случилось на моем веку». Они убеждены: все доброе, что случилось после, — оттуда.

Детей держали в чистоте и опрятности. Для их воспитательниц одно из самых острых воспоминаний — руки, леденеющие в проруби, пока переполощешь полсотни простынь, обмороки, случавшиеся с ними не раз в баньке, которую жарко топили по-черному, пока перемоешь малышей.

Составляя меню, подсчитывали, как в мирное время, калории. Полина Никитична готовила из картошки пирожки, котлеты, блинчики, запеканки. А ребята все тощие. Спросила она как-то шестилетнего Вовку Каленова, забравшегося на кухню: «Что ж ты у нас худой какой?» — «Худой, да сытый». Формулу приняли — худые, да сытые.

Его сестра Римма вспоминает: «Мы не чувствовали войны, потому что не голодали… До нас докатывались слухи о беженцах, которые варили лебеду. А в нашей обители каждое утро дежурные намазывали на хлеб масло. Пусть оно едва прикрывало дырочки на ломтике хлеба, но вкуснее, чем так, не было. Я и теперь столько же мажу, потому что это — вкус детства!»

Разумеется, работали на земле — усердно, даже радостно. Любимая поговорка: «Что посеешь, то поешь». Городские дети вошли во вкус крестьянских хлопот. Как же, у них огород, живность, им надо дрова пилить, дом белить, снег сгребать.

Ленинградские дошкольницы научились печь хлеб, запрягать лошадей, управляться с сохой, чистить уборные и печные трубы.

Складно и легко перечисляется все это на бумаге. А женщин порой охватывало отчаяние. Евгения Николаевна: «Бреду по ледяной жиже за семь километров в правление просить семенной картофель, еле ноги волоку, думаю: лягу сейчас при дороге, и будь что будет». И все же забота о хлебе насущном — она объяснима. Хотя бы тем, что выбора не было. Однако была у их легаевского жития другая сторона.

…Собрались недавно шесть бывших воспитанников детсада: Владимир и Римма Каленовы, Евгения и Ольга Тайдышко, Исаак Юдборовский, Юрий Гаринов. Врач, заводской контролер, четыре

инженера. Разное вспоминали. Женя Тайдышко — как их, малышей, с первым весенним солнцем заворачивали в одеяла и выносили спать на воздух. Гаринов — праздники, подарки. Юдборовский — он был старше — рыбалку, ночное.

Вспоминали разное, и все — одно: у нас было истинно счастливое детство. «Это — в войну-то, без семьи?» Как дружно восстали они против такого вопроса! Экспансивная Римма Ефимовна вскричала: «Мы — без семьи? Взрослые нас любили, все ровесники — братья и сестры, домашний распорядок жизни, никаких зажимов — такую семью еще поискать!»

Александра Алексеевна Трещалова разрезала свое единственное крепдешиновое платье на ленты для бантов и кос. Понятно. А как эти женщины души свои делили на столько частей и каждому ребенку доставало любви, тепла?

У них хватало своего горя. Первой овдовела Евгения Николаевна. Следом получила похоронку Фиса Алексеевна Дегтярева. У одной дом разбомбили, у другой в Ленинграде осталась дочь-студентка, у Анастасии Ивановны Михайловой умерли все близкие — десять человек… В округе интернат прозвали «легаевским монастырем». Что правда, то правда, — никаких развлечений у них не было, они знали одну службу, одну веру. В ней растили и свой детский сад.

Колхоз «Вторая победа», его председатель Кирилл Филиппович Востриков подсобляли, чем могли. Спустя двадцать лет в районной газете Евгения Николаевна сообщала «дорогим односельчанам» о том, как хорошо сложились судьбы детей, которых «мы с вами вырастили». Народ в Легаевке суровый, не так чтобы к городским доверчивый. А этих ребятишек приняли в сердце. Потому, между прочим, много чего переняли у ленинградцев в свой сельский обычай.

Детсад ходил в школу, во все классы — от первого до седьмого. Не хватало тетрадей, учебников, ручек. Ленгорсовет постановил: отправить эвакуированным детям школьные принадлежности на сумму 210 тысяч рублей. Да, детей было больше, чем рублей! Мало книг, нет пианино, пластинок. А детей надо развивать.

Только обосновались в Легаевке, неизвестно, что в Ленинграде, где мужья, душа разрывается от предчувствий, а Евгения Николаевна требует: надо с детьми петь. Ее педагогические отчеты, аккуратно посылаемые в Ленгороно, состояли из обычных частей: интернациональное воспитание, физическое, художественное. Сообщала: «Стараемся вырабатывать слуховую наблюдательность, учим слышать чириканье птиц, шорох осенних листьев под ногами, различать голоса животных».

В какое тяжкое время об этом думали!

Чего только не было в интернатах — рукописные журналы, теневой театр, кукольный, трамплины, горки, джазы, лектории, цветники. При свете коптилок взрослые отдавали детям все, что когда-нибудь видели, читали. «Эта книга всем известна, и зовут ту книгу Нина», — написано в одном детском стихотворении о воспитательнице. «Книгой Ниной» стал звать ее весь интернат.

А были вечера, вспоминает Евгения Николаевна, называемые «Делай что хочешь». Ися с Валей в уголке сочиняют стихи. Рядом девочка пишет письмо, тихо всхлипывает. И вдруг взрыв смеха: кто-то вырядился котом в сапогах. Пусть побалуются, побалагурят — немного им на это времени отпущено. Мало они смеялись, и у них внутри тревога билась.

Уложат воспитательницы ребят, разойдутся по своим закуткам, те затихнут, а потом зашепчутся:

— Ты маму во сне видишь?

— Раньше я не слушался, теперь бы слова не сказал.

Наверное, спокойнее было бы дать детям забыть прошлое. Но забыть не давали — память всячески укрепляли. У каждого в ящичке лежал вышитый матерчатый конверт с фотографиями, письмами, сухими листочками — всем, что напоминало о доме. Назывался «добро».

Заслышав издали колокольчик почтового возка, детсад замирал. Что-то везет Устинья Игнатьевна? Первыми письма читали взрослые: вдруг там беда непоправимая? А чаще она давала о себе весть безответным молчанием Ленинграда. Вот уже нет мамы у Лиды Молчановой, у Коли и Вити Бобровых.

Но ребенка нельзя оставить без писем! Коле и Лиде писал с фронта дядя Володя, муж Ольги Федоровны. Писали родители других детей. Это был единственный способ сохранить родственные узы, пусть не с семьей — с родным городом.

Изредка прорывались из Ленинграда посылочки, в конвертах — мулине, шнурки. Однажды пришла варежка. Глядь, через неделю — другая. Их обсматривали, нюхали: пахнет домом!

А были письма и такие: «Я — отец Павлика Комарова и последний близкий ему человек, так как недавно моя жена и моя мать умерли в Ленинграде. Я с первых дней войны на фронте, и едва ли мне скоро удастся увидеть сына… Незнакомые мне товарищи! Постарайтесь сохранить мне сына здоровым. Он — единственный, кто у меня остался. В случае моей смерти очень прошу устроить Павлика».

И не было предела тяжести ноши, которую все брали и брали на себя эти женщины. Александра Алексеевна Трещалова отправилась в Ярославскую область за Фимой Блохом,

заболевшим еще в Лукино, оставленным там в больнице. Разыскала мальчишку, привезла в Легаевку, к сестре. Нельзя же разлучать детей, так можно и растерять их!

Из Легаевки родителям писали по несколько раз в месяц, слали рисунки, сообщали, кто какие сказки любит, кто плавать научился. Последнее письмо ушло 8 июля 1945 года: «Выезжаем домой. Слушайте по радио сообщение о дне нашего прибытия».

Провожать интернат вышла вся Легаевка. Женщины плакали, у мужчин ком стоял в горле. Не провожали — отрывали от себя что-то очень близкое.

Обратно ехали, как из санатория. Напекли печенья на дорогу, везли цветы, на станциях покупали клубнику. Девочки все в парадных розовых платьях, банты розовые, щеки розовые.

Когда мамы потом вели их по Лиговскому проспекту, прохожие оглядывались — отвык город от благополучных, красивых детей.

Про встречу что ж говорить, ее не опишешь. Вскакивали родители в вагоны задолго до перрона — эшелон подходил торжественно, не спеша. Только не все сразу узнавали своих…

Встретили не всех. У Александры Алексеевны Трещаловой еще целый год жила маленькая Мухина — мама у нее была в армии.

«Мои ордена — мои дети», — так отвечает Александра Алексеевна на вопрос о наградах. Вернувшись в Ленинград, она и остальные продолжали заниматься все тем же — воспитывать хороших людей. Не сделав карьеры, все так же, воспитательницами в детских садах. Без мужей подняли собственных ребят. Теперь живут с ними, с внуками и правнуками.

Кроме большого общего нашего Дня Победы есть у них свой военный праздник — день возвращения в Ленинград. Называют его так же, как колхоз в Легаевке, — «Второй Победой». Это ли не победа — детство, которое не отдали войне?!

Сыны полков, сыны заводов

Вначале, случалось, пели,
Шалили, во тьме мелькая,
Вы, звездочки подземелий,
Гавроши Аджимушкая,

Вы, красные дьяволята,
Вы, боль и надежда старших…
И верили дети свято,
Что скоро вернутся наши.

— В каком же ты классе?
— В пятом. Мне скоро уже двенадцать!
…При этих малъцах солдату
Отчаянью можно ль сдаться?

Да, стали вы светлячками
Подземного гарнизона.
…Мрак. Жажда. Холодный камень.
Обвалы. Проклятья. Стоны.

И меньше живых, чем мертвых,
Осталось уже в забоях…
«Эх, если б в районе порта
Послышался грохот боя!

Мы наших сумели б встретить,
Ударили б в спину фрицам!»
Об этом мечтали дети,
Еще о глотке водицы,

О черном кусочке хлеба,
О синем кусочке неба.
Спасти их мы не успели…
Но слушайте сами, сами:

Наполнены подземелья
Их слабыми голосами.
Мелькают они по штольням
Чуть видными светлячками.

И кажется, что от боли
Бесстрастные плачут камни…

Ю. Друнина

Ю. Яковлев
Поднятая в атаку

Я никогда не писал представлений к награде. Это дело командирское, а я был всего-навсего солдатом. Но последнее время, когда сажусь за рабочий стол, мне все чаще кажется, что я пишу не рассказ, а представление к награде. То ли наступил командирский возраст, то ли я дошел до зрелого понимания того, что нет в жизни ничего прекрасней, чем торжество справедливости.

И сейчас я ощущаю себя не писателем, а командиром, взявшимся за перо, чтобы написать представление к награде. Мне кажется, что слышу эхо боя, чувствую запах горелой ржи и вижу девочку с широко раскрытыми глазами, усталую, оглушенную, держащуюся из последних сил.

Раненый красноармеец был тяжелым. И с каждым километром становился еще тяжелей. Не отдавая себе отчета, он все сильнее опирался на худенькие плечи девочки и только, когда на него находило просветление, пересохшими губами шептал:

— Спасайся, дочка, беги домой…

Девочка не отвечала. Она еще волокла по земле тяжелую длинную винтовку бойца. От приклада на пыльной дороге оставалась бороздка, которая, как нить Ариадны, указывала путь домой. Дом ее находился в Бресте, куда этим утром война вонзилась своим главным острием. В грохоте разрывов, выбегая из дома, отец-военный крикнул матери:

— Уводи детей! Мы выстоим!

А уже днем мать и братишка после бомбежки затерялись в толпе беженцев, а она — тринадцатилетняя девчонка — превратилась в бойца. С винтовкой в руке, с раненым красноармейцем, который без нее не мог ни передвигаться, ни жить.

Когда они — девочка и раненый красноармеец — выбивались из сил, то сворачивали с дороги в пшеничное поле и ложились на землю. Стебли смыкались над ними, как вода. И на какое-то время становилось тихо, как под водой. Только мирно стрекотал кузнечик, да попискивал перепел. Но воды не было. Ни глотка. А жажда становилась похожей на боль. И вдруг раздавался надрывный гул, и в небе появлялись желтобрюхие машины с черными крестами. Фашистские стервятники летели так низко, словно плыли по пшеничному полю. И плотный гул вдавливал в землю девочку и бойца. Ревели моторы, выли бомбы, с дробным

грохотом били в небо пулеметы. Но, пересиливая себя, девочка не закрывала глаза. Один раз она увидела лицо летчика. Это был первый фашист, которого она увидела.

Потом снова дорога, раненый красноармеец, повисший на ее плечах, и винтовка в руке. Тринадцатилетняя пионерка еще не сознавала, что, вынося из боя раненого и спасая его оружие, она приняла на себя все, что положено бойцу и сама стала красноармейцем.

Так в первый день войны брестская школьница Клава Шаликова вместе со взрослыми бойцами была поднята в атаку.

Она привела своего первого раненого в часть. Его увезли в тыл, а Клава так и не узнала ни имени его, ни фамилии. Но если этот боец жив, то он-то помнит небольшую упрямую девочку, которая вывела его, истекающего кровью, к своим. И сохранила оружие.

В части Клаве Шаликовой сказали:

— Спасибо, доченька. Иди…

Клава покачала головой:

— Мне некуда идти. Отец воюет. Мать с братом потерялись. Я останусь с вами.

Стояли нестерпимо трудные дни первого военного месяца. А Клава была счастлива, что она среди красноармейцев. Она чистила картошку, таскала дрова, дежурила у телефона. Она проводила тревожные ночи у изголовья раненых, которые лежали в избах на соломенной подстилке. Все старалась облегчить их страдания. Стены хат плясали от близких разрывов, а девочка рассказывала бойцам о родном донском селе с ласковым названием Казачий Хомутец, где она родилась, о том, как училась ездить верхом на пожарных лошадях. Читала стихи Джамбула. Пела песни гражданской войны, которые вместе с подружкой Нюрой Хижеватых разучилала в хоровом кружке. Когда же у нее на руках умирали раненые — плакала… И была счастлива? Да, была. Она и теперь подтверждает — была счастлива. И всю войну была счастлива, потому что могла отдавать свои силы, свою кровь Родине, а не наблюдать за битвой из далекого тихого угла. Может быть, именно это понимание счастья, требующее большой человеческой зрелости, всю войну удерживало Клаву Шаликову на самых трудных участках, вдохновляло на отчаянные поступки.

Ее все-таки попытались отправить в тыл — ведь совсем девчонка! — но она сбежала из эшелона. Всеми правдами и неправдами стала санитаркой госпиталя ПГ-175, но пробыла там недолго, пока в госпиталь не попала раненая санитарка Саша Потик.

— Девочки, здесь могут работать и старухи. Наше место на

передовой.

Через несколько недель Клава очутилась на курсах военных радисток. Тайна беспроволочной связи. Схема приемно-передаточного устройства. Стрельба из автомата. А с плаката на нее смотрела женщина с тревожными, скорбными глазами: «Родина-мать зовет!» Клаве казалось, что на нее смотрят живые глаза, чем-то похожие на глаза ее матери. Это мама зовет Клаву туда, где идет бой, поднимает ее в атаку.

В 302-й Краснознаменной ордена Кутузова горнострелковой дивизии Клаве Шаликовой сказали:

— Хочешь в ординарки?

Уж больно мала была эта радистка, как она потащит на спине тяжелую рацию?

— Хочу сражаться! — был ответ.

Из дивизии девочку — ей 14 лет! — направили в 827-й горнострелковый полк.

Война не разбирается, кто солдат, кто командир, кто мужчина, кто женщина. Или девочка. Если на тебе гимнастерка с петличками и пилотка со звездочкой и в сердце твоем не остыли слова воинской присяги, — подставляй плечо под общую ношу. Рация весит 18 килограммов, и если ты — радистка, то для тебя не будет рации полегче и винтовки покороче. Льет дождь. Под ногами хлюпает раскисшая земля. Рядом застряла «сорокапятка», надо помочь вытащить — все помогают. Если подвернется речка, надо постирать ребятам бельишко. Только потом в полуобгоревшей холодной избе можно притулиться в углу, спрятать нос под ворот гимнастерки и уснуть, как снегирь на веточке. Пока чей-то хриплый голос не заревет над ухом: «Тревога! В ружье! Танки!»

Клава Шаликова — радистка. Она должна выходить на связь, принимать приказы, чинить свою радиостанцию, о которой на войне шутили: «Я тебя вижу, но не слышу!» Но наступал момент, и Клава Шаликова из тихой радистки превращалась в бесстрашного бойца и оказывалась на острие атаки.

Это произошло в селе Белозерском. Половина села — наша. Половина — у врага. На колокольне пулеметчики. Нужно выбить фашистов орудийным огнем. Но нет боеприпасов. Повозка со снарядами застряла в пути — убило лошадь.

И тогда перед лейтенантом Безбородовым вырастает Клава Шаликова:

— Я попробую достать лошадь.

— Где ты ее достанешь?!

— У немцев. Я же казачка…

Она кралась по огородам. Через капусту и помидоры.

Скрывалась в зарослях кукурузы. Прошла мимо «нейтральных» хат. И вдруг на «немецкой» половине услышала конское ржание. Кони! Через некоторое время Клава уже была рядом с площадью, где у колокольни находилась коновязь. Возле лошадей прохаживались гитлеровцы. Клава лежала за плетнем в нескольких шагах. Она думала, подсчитывала. Каждое движение, каждую секунду. И решилась. Выбежала на площадь. Дала очередь по немцам. Вскочила на коня. Перемахнула через плетень. И, прижавшись к конской шее, поскакала по огородам к своим. Все это слилось в одно сплошное действие, в котором не было ни перерывов, ни мгновений для раздумий. Она неслась на коне, а следом бежали враги. Звучали автоматные очереди. Но Клава как бы напрочь лишилась чувства страха. Вернее, страх стал чем-то второстепенным, на него не было времени. Потом, когда дело будет сделано, ей, с опозданием, станет страшно. Но между страхом запоздалым и страхом преждевременным — бездна.

— Вот конь!

Она соскочила на землю и протянула уздечку командиру. И видавшие виды бойцы смотрели на нее расширенными глазами, пораженные этой отвагой.

Есть на войне высший подвиг — подвиг во имя товарищей. Отвести от них беду, прикрыть их жизнь своей жизнью.

— Я попробую, — сказала Клава, когда полк штурмовал Тернополь и вдруг атака захлебнулась. Бил пулемет. Преграждал путь невидимой огненной стеной. Уже не один боец, пытавшийся преодолеть эту «стену», лежал на мостовой, раненный или убитый. И тогда возникла боевая задача первейшей важности: подавить огневую точку противника, заставить замолчать пулемет.

— Я попробую.

Не стрелок, не автоматчик, не сапер, не минометчик, не мужчина, а девочка-радистка произнесла эти слова.

Она оторвалась от земли и пошла на штурм невидимой огненной стены. И случилось так, что пули пролетели мимо. Дрогнула, покачнулась огненная стена от ее бесстрашия. А еще через несколько минут Клавина граната полетела в амбразуру. Пулемет замолчал. Девушка открыла путь полку. Отвела смерть от товарищей. О себе Клава тогда не подумала. Только когда цепи бойцов поднялись, почувствовала прилив острого непередаваемого счастья оттого, что смогла сделать невероятное, что друзья живы и город будет освобожден.

Это произошло 4 апреля 1944 года. В тот же день на пути возник новый вражеский пулемет. И тогда пошел Клавин товарищ

по взводу — Толя Живов. Он тоже подавил пулемет. Но погиб, прикрыв собой амбразуру. Ему присвоили звание Героя Советского Союза. Его именем назвали улицу в Москве. А Клава Шаликова осталась жива. Но разве это умаляет подвиг? Разве она не была готова погибнуть, когда пошла на фашистский пулемет?!

Кто был на войне, хорошо знает грозный смысл слова ОПТИД. Отдельный противотанковый истребительный дивизион. И еще ОПТИД означает постоянный неравный поединок небольшой пушки с грозным танком, незащищенных бойцов с одетым в броню врагом. Истребители танков! Они появляются в самых опасных местах. На танковых прорывах.

232-й ОПТИД. Третья батарея. Радист батареи — Клава Шаликова. Танки лезут на огневую позицию. Половина расчетов выбыла из строя. Снаряды рвутся рядом. Фашистские танки идут прямо, фронтально. Сейчас они раздавят пушку, и расчет, и радистку Клаву, которая перевязывает раненых. Старший сержант Неклюдов сам наводит орудие. Невысокий, чернявый, бесстрашный.

Припал к прицельной трубе: «О-о-огонь!» И вот танк горит. Но за танком оказываются автоматчики. Фашисты бегут к орудию, они кричат: «Рус, сдавайся!» А в орудийном дворике лежит тяжелораненый командир капитан Сакваралидзе.

«Надо спасти командира», — решает Клава. Она не только радистка, не только добровольный санитар. Она еще комсорг. Раненый капитан тяжелый. И немцы рядом. Очень трудно тащить его и отстреливаться, отстреливаться. «Рус, сдавайтесь!» В ответ — очередь, очередь. Хорошо, что есть запасные диски. Ребята тоже прикрывают отход огнем. Отходят по ржаному полю. Трудно идти, стебли спутывают ноги. Раненый такой тяжелый. Гремят автоматные очереди. Упасть. Переждать. Дать очередь и снова вперед. Разве тут есть время подумать о себе, о своей жизни?! Сейчас главное — жизнь командира. Она спасла его. Сама была ранена четыре раза. И все же считала себя счастливой. Что за удивительное представление о счастье было у нее! Каким масштабом измерить его? На каких весах взвесить? Счастье — когда выигран бой, когда живы друзья и когда в этом есть и твоя лепта.

Клава Шаликова была на фронте пионеркой, комсомолкой, комсоргом. В партию не вступила только потому, что, когда кончилась война, ей было лишь семнадцать лет.

16 марта 1945 года она вернулась в часть из госпиталя. Батарейный «боевой листок» радостно сообщил: «Вернулась после ранения краса и гордость батареи Клава Шаликова». А 20 марта Клава уже снова шла в бой. Упал солдат. Клава бросилась к нему.

Стала перевязывать. Вокруг свистели пули. Одна — обожгла Клаве переносицу. Девушка стерпела боль, продолжала врачевать раненого. Совсем близко начали рваться мины. Чтобы спасти товарища, Клава закрыла его своим телом. Одна мина разорвалась совсем близко… Это был последний подвиг Клавы Шаликовой на войне.

В госпитале в бреду она шептала:

— Скорей, скорей на фронт! Там мои ребята.

— Успокойся, доченька, день-два полежишь и пойдешь, — успокаивала ее нянечка, но сама-то знала, что эта удивительная девушка уже никогда не увидит своих друзей, не увидит и солнца, и салюта Победы.

Когда бой для всех кончился, для Клавы он продолжался. Это был тяжелый госпитальный бой. За лицо, изуродованное осколком, за зрение. Этот бой Клава вела вместе с врачами, которые поражались ее мужеству и неодолимому желанию стать полноценным человеком.

Это был новый подвиг Клавы Шаликовой. Последний? Нет! Еще есть Коля. Коля Шаликов. Замечательный парень — сын Клавдии Ильиничны. Она вырастила и воспитала его одна. Без чьей бы то ни было помощи. Слепая, она отдала сыну все, что могла, научила его всему, что умела сама. Даже свою военную специальность передала сыну. Он — радист 2-го класса. И когда Колю спрашивают, кто научил его морзянке, помог разобраться в приемно-передаточном устройстве, он отвечает:

— Мать.

Она научила его высокой верности в дружбе. И Коля для нее теперь не только сын, но и друг. Она говорит:

— Мой сын — мои глаза.

Коля напоминает ей тех славных ребят, которые были с ней рядом там, на фронте. Таких, как Толя Живов, Витя Коняев, Юра Алексеев, Кавалерии Носов… Она ведь воспитывала Колю по их подобию.

По их подобию она воспитывает и сотни детей, пионеров, к которым приходит, чтобы преподать великий урок любви к Родине и объяснить, что такое настоящее счастье.

Я познакомился с Клавдией Ильиничной Шаликовой после войны. Но мне кажется, что знаю ее давно, еще с военных лет, и что все люди знают ее, узнают, когда встречают на улице.

Шел солдат с войны домой,
Шел дорогой дальней.
Он играл войне «отбой»
На трубе сигнальной.

Он играл «отбой» смертям,
Пушкам всем и танкам,
Маскировочным сетям,
Брошенным землянкам.
Он играл «отбой» полям,
Обгоревшей роще,
Фронтовым госпиталям
И военной почте, —
Всем играл, кто принял бой
И в живых остался.
Лишь себе сыграть отбой
Он не догадался.
Все забыли про него,
А солдат в дороге,
Чтобы в случае чего
Дать сигнал тревоги.

Я пишу эти строки, как после боя пишут представление к награде. Березки тянут к окну зеленые ветви. В облаках пробивается солнце. Звучат голоса ребятишек… Я пытаюсь разделить жизнь Клавы Шаликовой на две части — на войну и на мир. Но не делится эта цельная, прекрасная жизнь — жизнь человека, поднявшегося в атаку за Родину и не сыгравшего себе отбоя.

В. Вирен, Н. Шумаков
Из племени непокоренных

Ровная, как футбольное поле, лужайка возле речки Вырки — излюбленное место для ребячьих игр. Колхозники, возвращаясь с работы в родное село Песковатское, всегда легко могли определить, какую картину последний раз смотрели ребята. Если впереди ватаги бежал паренек с фанерным щитом, крича: «Кто к нам с мечом пришел, от меча и погибнет!», значит, в сельском клубе шел «Александр Невский». А когда на пригорке виден был силуэт мальчика в накинутом в виде бурки пальто, значит, смотрели «Чапаева». Но, кого бы ни изображали ребята, душою всех мальчишек, игр и затей был Саша Чекалин.

В пятнадцать лет Саша носил на груди значки «Ворошиловский стрелок», ПВХО и ГТО, имел собственноручно собранный радиоприемник, самозабвенно любил природу, даже знал латинские названия многих луговых трав и цветов… Пожалуй, справедливо товарищи прозвали его неугомонным. А в семье он прочно завоевал себе имя — непоседа. Отец, придя с работы и не застав сына дома, спрашивал:

— А где Саша-непоседа?

* * *

В воскресенье день выдался солнечный, тихий. Саша пристроился у подоконника и налаживал радиоприемник. Через окно он видел широкий, заросший травой двор, где бегали куры и важно расхаживал соседский козел.

— Ну, прямо как в деревне, — подумал Саша. — А еще город, районный центр…

Три года назад Надежду Самойловну Чекалину назначили на ответственную должность в небольшой районный городок Лихвин Тульской области. Сюда из Песковатского переехала и вся семья.

Павел Николаевич Чекалин, отец Саши, работал слесарем, он был большим мастером своего дела. От него Саша перенял любовь к труду.

Город стоит на холме, внизу протекает широкая Ока. В центре — несколько каменных строений, остальные дома деревянные. Славится Лихвин садами. Весной, когда дует ветерок, в воздухе, словно снег, летают лепестки яблонь и вишен…

Саша вышел на улицу и полез на березу укреплять антенну. Пристроив металлический стержень к толстому суку, он вернулся в комнату и снова взялся за приемник.

«Вот и наступили каникулы, — подумал Саша. — В понедельник махну в Песковатское. И ребята ждут, и папа тоже, недаром же отпуск подгадал к моим каникулам… Возится небось на своей пасеке…»

И тут вдруг приемник подал голос. Саша насторожился. Слова какие-то необычно взволнованные: «…без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы и подвергли…»

Чекалин не стал дослушивать и выбежал на улицу.

— Витька, война! — крикнул он младшему брату и бросился к школе. По дороге догнал педагога Николая Ивановича Виноградова. Тот уже знал страшную новость.

В школе собрались все учителя и ученики-старшеклассники. Состоялся митинг…

* * *

Саша Чекалин обратился в военкомат с просьбой зачислить его в истребительный отряд. Разумеется, ему отказали. Молод. Саша обиделся, но унывать не стал. Кое-кого он знал из тех, кто принимал участие в формировании ополчения. К ним-то Чекалин и решил обратиться. Тут ему повезло.

Юный ополченец отлично стрелял, хорошо знал все виды стрелкового оружия. Как говорится, на лету схватывал уроки военного дела, чем и обратил на себя внимание командиров. Чекалина часто ставили в пример другим.

Однажды Саша зашел к командиру истребительного отряда. Тот одобрительно посмотрел на значки Чекалина и спросил:

— А верхом ездить умеешь?

— Конечно, — ответил Саша.

— Добро! Зачислю тебя в конный истребительный отряд.

Теперь Александра редко можно было увидеть в городе. Вместе с другими кавалеристами он выезжал в лес вылавливать диверсантов.

Своего коня Саша Чекалин назвал Пыжиком. Лошадь была низкорослая, уже немолодая, но очень выносливая. Чекалин своего Пыжика очень любил. Доставал для него корм, а иногда урывал из своего пайка кусочек хлеба или сахара. Пыжик отвечал ему взаимностью: выполнял все его команды.

В октябре гитлеровцы начали большое наступление. Фронт

приближался к Лихвину. Как-то раз Саша, приехав из отряда домой, сказал матери:

— Собери меня как следует. Я, наверное, уеду на всю зиму.

Мать достала теплое белье, валенки. Дала три буханки хлеба.

Началась новая полоса в жизни Александра Чекалина.

* * *

Стоянка партизанского отряда находилась в самой глуши Уланского леса, смыкавшегося с брянскими лесными массивами. В отряде Чекалин встретил много знакомых — одни прибыли сюда из Песковатского, другие — из Лихвина. Александр был самым молодым из всех партизан. Ему исполнилось шестнадцать лет. Все его любили. Командир отряда Дмитрий Тетерчев относился к нему, как к сыну.

Сначала Саша выполнял легкие поручения: наладил радиоприемник, записывал сводки Советского информбюро, носил воду, собирал дрова для костра. Потом задания стали потруднее. Однажды Саше Чекалину и его приятелю Алеше Ильичеву поручили выяснить, сколько оккупантов находится в Песковатском, и заодно раздобыть оружие, в котором партизаны очень нуждались.

Юные разведчики прошли вечером по селу, потом заглянули к Сашиным родственникам и остались у них ночевать. Те рассказали обо всем, что знали о расположении и продвижении вражеских войск.

Ночью вместе со старостой в дом вошли гитлеровцы. Старший, ефрейтор, оставил двух солдат на ночлег. Те разделись и улеглись на лавке. Саша, услышав храп, тихо слез с печки. За ним — Алеша. Хотели прикончить «гостей» и забрать оружие, да стало жаль стариков хозяев: фашисты обязательно бы на них выместили свою злобу. Утром юные разведчики вернулись в отряд. Тетерчев, выслушав донесение, спросил:

— Ну, а оружие достали?

Юноши опустили головы.

— Не повезло… — пытался оправдаться Алеша.

— Завтра оружие будет! — уверенно заявил Саша.

— Хорошо, — согласился командир.

На следующий день Александр возвратился с трофейным оружием и обмундированием.

— Все сразу не мог принести, еще четыре автомата и восемь гранат спрятал в лесу.

На вопрос, где и как он раздобыл оружие, ответил:

— Приказано — достал! Вот и все.

А дело происходило так. От землянок Саша направился к железнодорожной станции, где в свое время он приметил немецких охранников. Идти нужно было километров десять. Саша медленно пробирался через ельник и болото. Остановившись под кряжистым деревом, оглядел местность. Что-то очень знакомое. Ну конечно, он был здесь прошлой весной. Стоял перед этой поляной, напряженно вглядываясь в серо-розовое небо, чтобы не прозевать вальдшнепа.

Саша услышал треск веток. Быстро нырнул в ельник и залег. Очень скоро он увидел колонну немцев. Десять человек. Надо подпустить их как можно ближе. Выложил на мох гранаты и взял на изготовку полуавтомат.

Фашисты двигались медленно. Ближе, ближе. Осталось метров двадцать пять, не больше. Саша поднялся и бросил подряд одну за другой гранаты. Маленький осколок резанул ему ухо. Шестеро гитлеровцев остались лежать на поляне, остальные побежали. Спокойно, словно на стрельбище, целясь под «яблочко», Саша уложил еще трех оккупантов. Десятый удрал. Чекалин осторожно вышел на поляну, собрал трофеи.

Так был выполнен приказ командира…

* * *

В потертом пиджачке и в таких же видавших виды штанах Чекалин шагал по берегу Вырки. Он шел на встречу с отцом, который был их связным.

Вот и небольшой обрыв, отсюда он палил из ружья в щук.

Изба бабушки стояла на краю села. Еще издалека он услышал кудахтанье кур и гоготанье гусей. Оказывается, во дворе гитлеровцы гонялись за «курками», «гусками». Павел Николаевич сидел на бревнах и вязал из березовых веток метлу. Он мрачно поглядывал на вояк, которые потрошили птицу. Вдруг хлопнула калитка и во двор как ни в чем не бывало вошел Саша.

— Здорово, папаня!

Отец поднялся навстречу сыну, а бабушка при виде внука перепугалась. Немцы же не обратили никакого внимания на подростка. Саша поздоровался с бабушкой и прошел в избу. Попил из крынки молока, задвинул пеструю занавеску, лег на лавку около печки и притворился спящим.

Тем временем фашисты принесли фляги с водкой, уселись за стол, где уже стояли две тарелки с яйцами, лежали сало и каравай хлеба, жареная птица. Изрядно выпив, солдаты

оживленно болтали.

Саша понимал по-немецки. Гитлеровцы говорили о том, что ночью на одной из улиц Лихвина партизаны убили патрульных; на шоссе, возле леса, взорвалась автомашина с боеприпасами; во многих деревнях появились большевистские листовки.

Саша радостно улыбался: в боевых делах партизан принимал участие и он.

После обеда оккупанты куда-то ушли.

Саша поднялся. Бабушка, убирая со стола посуду, упрекнула его за то, что он не вовремя пришел в село: немцы ищут партизан.

Павел Николаевич шепотом сообщил ему ценные сведения. Вдруг раздался резкий стук в дверь. В комнату вошли два фашиста. Третий остался стоять во дворе, охраняя выходы из дома.

— Ты кто есть? — ткнул пальцем в Сашу унтер-офицер.

— Чекалин Саша…

— А ты? — и указал на Павла Николаевича.

— Его отец. Чекалин. Их схватили.

…Холодная осенняя грязь чавкает под ногами, ее комья попадают в широкие раструбы фашистских сапог. Солдаты ругаются и злобно толкают прикладами автоматов отца и сына.

— Папа, папа… сшибай одного, а я другого, — шепчет отцу Саша.

Но Павел Николаевич понимает, что сын вряд ли осилит здоровенного рыжего солдата… Допрос начал обер-лейтенант:

— Партизан? Где лесная хата? Где отряд?

— Ничего мы не знаем! — ответил Чекалин-старший. Мы из деревни никуда не уходили, всю жизнь здесь живем…

— Партизан! — уверенно и торжествующе сказал еще раз офицер. — Теперь вам капут! Совсем капут! — И он провел тыльной стороной руки по своей шее. — А сейчас — увести.

Чекалиных посадили в погреб. Загремел засов.

— Кто-то меня увидел и донес, — сказал Саша. Павел Николаевич постелил лежащие в куче пустые мешки.

— Давай-ка, сын, спать, силы еще пригодятся, утро вечера мудренее.

…Стук кованых сапог разбудил их.

— Вставай, пошли!

На улице чуть брезжил рассвет. Приблизились к школе.

«Неужели будут расстреливать?» — подумал Саша и вопросительно посмотрел на отца. Тот угадал мысль сына, пожал плечами.

Из школы вышли солдаты и остановились у двери. За ними показались люди в рваных гимнастерках, в обмотках без ботинок,

с кровавыми пятнами на одежде и лицах.

Все арестованные, в том числе и Чекалины, были отданы в распоряжение шеф-повара для работы на кухне. Притащили несколько мешков с картофелем и заставили чистить. Человек с рукой на перевязи сообщил партизанам, что все они попали в плен, выходя из окружения.

Павел Николаевич и Саша сидели на земле у дровяного сарая. За сараем — камыши, ручей, кустарники, а дальше — лес.

Отец и сын переглянулись и шмыгнули за сарай. Прислушались: тихо. И изо всех сил бросились к лесу. Через некоторое время послышались выстрелы. Оглянувшись, они увидели фигуры в шинелях зеленовато-мышиного цвета.

— Спохватились, да поздно, — усмехнулся Чекалин-старший. — Ищи ветра в поле…

Когда опасность миновала, отец сказал:

— Ну, Саша, теперь и мне придется в партизанский отряд подаваться. В село больше нет пути…

Юный Чекалин еще несколько раз ходил в разведку, дважды — за оружием. Но ему очень хотелось принять участие в настоящем бою. Командир говорил:

— Успеешь, пока ты в разведке больше нужен. Вот будет случай…

Такой случай представился в конце октября. По дороге, ведущей из Перемышля в Лихвин, разведчики обнаружили вражескую автоколонну. Группа партизан во главе с Тетерчевым затаилась в заросшем ивняком кювете.

Автомашины, заполненные солдатами, проходили одна за другой. «Ударим, когда машины будут напротив нас», — подумал командир.

Бой был коротким. Несколько фашистов, выскочивших из машин, попали под огонь Сашиного полуавтомата.

Партизаны быстро собрали трофеи — оружие, патроны, гранаты — и скрылись в лесу.

* * *

…Мост через Оку охранялся усиленным отрядом гитлеровцев, и партизаны решили подорвать рельсы в километре от реки. Операция была крайне важной и опасной. С отрядом отправились командир Тетерчев и комиссар Макеев.

Тщательно замаскировавшись у опушки леса, партизаны стали ждать поезда. Скоро два часа. Все замерзли. День был хоть и бесснежный, но по-зимнему холодный.

Наконец послышались голоса и стук молоточков по рельсам. Это шли осмотрщики.

— Этих пропустить! — приказал Тетерчев. — Пусть доложат на станции, что все в порядке.

Послышался глухой ритмичный звук.

— Приготовились! — скомандовал Тетерчев, а через несколько минут сказал: — Отставить! Дрезина.

Когда дрезина скрылась из глаз, партизаны высыпали на полотно. Сбросили пальто, шапки и принялись за работу. Впереди поставили мины, а для страховки (мало ли что бывает) разобрали еще и рельсы. Вдруг Макеев поднял руку:

— Внимание! Ложись вдоль насыпи!

Показалась группа вооруженных фашистов. Они тщательно проверяли путь. Когда оккупанты поравнялись с местом засады, партизаны открыли огонь. Гитлеровцы бросились в сторону леса. И только Саша заметил, что один из них спрятался в канаве. Саша выстрелил в него и не промахнулся.

— Да, — сказал ему Тетерчев, — опоздай ты на минуту, многие из нас были бы на том свете.

Издалека послышался гудок паровоза. Быстро закончив приготовления и убрав трупы с насыпи, партизаны побежали к лесу. Взрывом поезд разорвало на две части, рухнувшие под откос…

* * *

Саша лежал в землянке.

Его знобило, голова была горячая, все тело ныло. «Вот некстати эта болезнь, — думал юный партизан, — люди ходят на задание, а я…» В землянку вошел Макеев.

— Как себя чувствуешь?

— Ничего, товарищ комиссар! Через два дня встану. Комиссар покачал головой:

— Тебе, Саша, надо побыть в тепле не два дня, а больше… Мы решили послать тебя в Мышбор. Ты же хорошо знаешь учительницу Музалевскую? Вот у нее и отлежишься, отдохнешь…

— Как это так запросто, без боевого задания?

— Успокойся. Задание получишь. Кое-что надо будет уточнить по дороге, да и в самой деревне. Ну. а заодно и подлечишься.

Саша медленно поднялся, надел пальто, затянув его покрепче ремнем, взял гранаты и полуавтомат.

— Задание тебе командир объяснит, — сказал Макеев.

Чекалин добрался до Мышбора к вечеру и, как было условлено, предварительно зашел к связному. Тот сообщил, что Музалевская арестована и отправлена в Лихвин, сейчас в деревне очень много фашистов, лучше будет, если Саша уйдет в село Песковатское.

Низенький, обмазанный глиной домик Чекалиных. Окна и двери крест-накрест забиты досками. Мать и брат в эвакуации, бабушка далеко у родственников.

Оторвав доски, Саша открыл дверь и вошел в избу. Пахнуло затхлостью и сыростью. В лампе, к счастью, сохранился керосин.

Обнаружив два полена и сломав табуретку, затопил печь. На дворе темно, дождь — вряд ли кто заметит дымок из трубы. Лег на печь и накрылся лоскутным одеялом, под которым спал еще в детстве.

Вдруг послышался легкий стук в окно. Саша слез с печи, взял полуавтомат.

— Саша! Это мы…

Голос показался знакомым.

— Егор, ты? — тихо спросил Чекалин.

— Я, я и Левка со мной…

Чекалин отодвинул засов и пропустил ребят.

— Как же вы узнали, что я здесь?

— Да это Егорка заметил и за мной зашел, — сказал Лева Виноградов.

— Саша! В селе немцы.

— А где же Сергей?

— Сейчас придет. Соображает насчет харчей… Сергей принес хлеб, бутылку молока и два яйца. Егор принес мед.

— О, так вы меня быстро на ноги поставите, — улыбнулся Чекалин.

Ребята рассказали Александру о последних новостях, о гитлеровских злодеяниях в селе.

— Ничего, скоро палачи поплатятся за все. Недалек тот день! — сказал Саша.

Поздно ночью ребята разошлись по домам. Саша заснул на теплых кирпичах печки…

* * *

Леве Виноградову ночью не спалось. Чуть забрезжил свет, он оделся и вышел на улицу. На дворе стоял легкий морозец, покрывший серебристым инеем деревья, хаты, жухлую траву.

Мальчик взял топор и направился к сараю за дровами. Заслышав позади голоса, оглянулся. На другой стороне улицы

шагали фашисты, а среди них трусил какой-то человечек в полушубке. Виноградов насчитал двенадцать солдат. «Ого, — подумал он, — куда это они направляются? А кто же этот человечек, не староста ли Авдюхин? Кажись, он. Предатель. Интересно, за кем они? Уж не за Чекалиным ли?»

Лева не ошибся. Немцы подошли к чекалинской избе, окружили ее. Староста крикнул:

— Чекалин, выходи! Мы знаем, что ты здесь!

Фашисты дали несколько автоматных очередей по окнам и двери. И на это им никто не ответил. Трое гитлеровцев подбежали к двери и стали вышибать ее прикладами. Внезапно распахнулось окно, Саша метнул гранату и выпрыгнул из окна. Но граната не взорвалась, трое рослых фашистов настигли, связали руки…

В тот же день его отправили под стражей в Лихвин, в фашистскую комендатуру.

— Говори, где партизаны? — кричал фашистский офицер.

— Я ничего не знаю! — ответил Чекалин.

— Ты — партизан, комсомолец, мать твоя коммунистка, отец… Мы все знаем.

— Я все равно ничего не скажу, — сказал юноша.

— Заставим!

Двое солдат схватили Сашу, потащили в соседнюю комнату…

После пыток Сашу снова ввели к коменданту.

Но он и на этот раз не сказал ничего и, быстро схватив со стола массивную чернильницу, бросил ее в лицо офицеру.

Ударами кулаков и прикладов Александра сбили с ног, связав, искололи штыками…

— Повесить! — прорычал комендант.

Юношу выволокли наружу и бросили в сарай с каменным полом. Там он пролежал без сознания до самого утра.

6 ноября 1941 года Александра Чекалина повели на казнь.

…Вот площадь, родная школа. Фашисты согнали сюда людей. Фанерную дощечку с надписью «Такой конец ждет всех партизан» Чекалин снял с себя и отбросил в сторону. А когда ему стали надевать петлю на шею, звенящим голосом запел «Интернационал».

27 ноября 1941 года Красная Армия освободила Лихвин. О подвиге юного партизана узнала вся Советская страна. Сашу Чекалина торжественно похоронили тут же на площади, которая теперь носит его имя.

Указом Президиума Верховного Совета СССР Александру Павловичу Чекалину присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

В 1944 году город Лихвин переименован в Чекалин. Здесь в 1958 году открыт памятник Герою Советского Союза Александру Чекалину.

М. Сбойчаков
Гордость отряда

Ночные секреты Леня Голиков не очень любит. Уж больно нудно тянется время. Особенно худо себя чувствуешь, когда все проходит без происшествий, как в эту ночь, на 13 августа 1942 года. С вечера пришли они, шесть партизан, к шоссейной дороге Псков — Луга, чтобы проследить движение по ней фашистов. Цепочкой расположились у дороги.

Безмолвно вокруг. Замолк птичий гомон. Изредка ухнет филин, где-то всплеснет крыльями сова из подлеска, и снова тишь. Партизаны почти совсем отучили фашистов по ночам ездить. Ни подвод, ни машин на дороге не показывается.

Глаза у Лени начинают слипаться. Нельзя ни встать, ни размяться. Поблизости лежат Александр Петров и Иван Васильев. Поговорить бы, глядишь, и дремота бы отстала, но и это исключено: в секрете ничем нельзя обнаруживать себя.

Остается одно — перебирать в памяти прошедшие бои. Леня старается живо представить себе все так, словно бы сейчас он — участник тех сражений.

Вот перед глазами село Апросово, в котором находился немецкий гарнизон. Апрельской ночью партизаны вихрем влетели в него. Рассредоточились. Подбежал Леня к одной избе, слышит — скрипнула дверь. Сразу за угол. Выбежали три фашиста, встревоженные поднявшейся стрельбой. Леня сразил их очередью автомата.

Во двор заскочили Зуев и Скорников.

— Постойте тут, я избу проверю, — сказал им Леня и скрылся в сенях.

Резко открыв дверь в избу, он крикнул: «Хальт! Хенде хох!» Никто не отозвался. Шагнул через порог. В хате что-то затрещало. Леня отпрянул за притолоку. Разобрался — звонил полевой телефон. Значит, штаб тут какой-то, должны быть документы. Так и есть. Нащупал на столе сумку, бумаги, забрал их. Зуев забеспокоился о нем, поднялся на крыльцо.

— В порядке, — тихонько сказал ему Леня, повесив на плечо кожаную сумку.

Все хотели бежать дальше, но тут послышался топот. Пять немцев спешили ко двору, как попало одетые — кто в шинели, кто во френче, один без шапки. Леня дал по ним очередь. Может, не все убиты? Проверить не успели: к избе бежало еще несколько немцев. «Наверно, к командиру за помощью бегут», — мелькнуло

в голове у Лени. Партизаны уложили у забора и этих. Много они тогда фашистов истребили.

Но важнее всего сумка. В ней оказались ценные документы: приказы, распоряжения, указания фашистских начальников. Командир отряда И. И. Глейх с комиссаром М. В. Сураевым представили Леню к высокой награде — ордену Красного Знамени.

Вскоре после этого произвели налет на деревню Сосницы. Тоже удачно получилось. Вслед за командиром роты Голиков забрался на чердак избы, стоявшей на перекрестке улиц. Все как на ладони было видно оттуда. Гитлеровцы очумело метались, а им навстречу и в спину — пули с чердака.

Горячо благодарил его командир роты, Лене даже неудобно стало. Он сказал:

— Василий Андреевич, это ж вы придумали на чердак залезть. И фашистов побили куда больше, чем я.

— Мне так положено, я командир, — ответил Андреев. — А ты, Леня, молодец, смело воюешь.

28 мая он ходил в разведку с Ваней Васильевым. Из леса осматривали место, где стояла деревня Шапаниха. Фашисты сожгли ее. Ветер вихрил черный пепел. Больно смотреть. Решили уйти, но тут Леня заметил шестерых немецких солдат с лопатами. Что делают они на пепелище? Пригляделся и определил: раскапывают ямы, куда колхозники упрятали хлеб и добро.

Оставив Ваню для прикрытия, Леня пополз к врагам. Подобрался совсем близко и открыл огонь. Двоих убил, остальные убежали.

Через три дня в этой же сожженной деревне он, подкравшись, уничтожил еще двух фашистов. С того дня раскопки прекратились.

Командир отметил действия Лени в разведке специальным приказом, объявил благодарность, назвал его бесстрашным бойцом и закончил такими словами: «Ставлю Голикова в пример личному составу отряда».

Секретарь комсомольской организации Олег Анучин заговорил с Леней о вступлении в комсомол. И без этого Леня думал не раз: задержался в пионерах, война помешала. Хотел заслужить почетное звание комсомольца в борьбе с фашистами. Маяковский об этом хорошо сказал: «Если тебе комсомолец имя, имя крепи делами своими!» В комсомол Леню приняли единогласно.

С конца июля партизаны ушли далеко от родных мест — от Старой Руссы, Дедовичей, от Полы. 4-я бригада перебазировалась к Радиловскому озеру, что в Струго-Красненском районе

Ленинградской области. Отсюда и вышли на задание…

Ох и томительная же ночь! В секреты бы лучше посылать пожилых, их ведь больше тянет полежать.

Наконец стало рассветать. Командир диверсионной группы Глазков дал сигнал отхода. Петров, Васильев и Голиков задержались. Они заметили, как на повороте дороги мелькнул зеленоватый «опель». Легковая машина! Не иначе с офицером. Шесть глаз устремились на дорогу.

Вот «оппель» уже недалеко. Мчится на большой скорости. Ничего, сбавит — впереди мостик через ручей. Точно, уже притормозил. Васильев поднялся и, широко размахнувшись, кинул противотанковую гранату. Неудачно: перекинул дорогу и к тому же граната разорвалась далеко сзади. Машина продолжала идти. Теперь вскочил с гранатой сосед Голикова — Петров. Леня с надеждой взглянул на товарища — с ним он много раз ходил на задания. Рука у Петрова твердая. Не подвела и в этот раз. Граната грохнула перед самой машиной. Но она и на сей раз не остановилась, Леня решил: «Как поравняется со мной, дам длинную очередь». Он уже разглядел, что в машине два офицера. Между тем «опель» резко замедлил ход и остановился, немного не поравнявшись с камнем, за которым лежал Леня.

Немцы выскочили из машины и бросились наутек: один по канаве, другой по лугу в сторону леса. Тот, который убегал по канаве, кричал и отстреливался.

— Саша, бей по крикуну, а я возьму того, — крикнул Леня.

После двух-трех коротких очередей «подопечный» Лени свалился в траву. Довольно быстро взял на мушку «своего» крикуна и Петров. Друзья поспешили к машине. Саша уткнулся в нее, а Леня огляделся, нет ли какой опасности. На дороге было пусто.

— Тут чемодан, не сдвинешь, помоги, — позвал из машины Саша.

Леня уже готов был лезть в машину, но тут застыл от удивления: по лугу в сторону леса бежал тот офицер, в которого он стрелял и, как ему казалось, убил. «Вот гад, живучий».

— Саша, жди, — крикнул Леня уже на бегу. У гитлеровца прыжки в сажень. «Чешет, как черт лысый!» Вот он обернулся и, увидев, что его преследует мальчик, решил его пугнуть. Зажав под мышкой папку, дал очередь из автомата.

«Ах ты гад!» Леня ответил очередью. Промахнулся. Сердце от бега и волнения колотилось, мешало стрельбе.

Фашист все больше отрывался. Эдак он скоро и на опушке леса окажется. Допускать его до леса нельзя. Надо нажимать. Леня сбросил тяжелые кирзовые сапоги. Бежать стало легче.

Немец стрелял короткими очередями. Как ни старался, Леня не мог на бегу попасть в фашиста. Решил попробовать с колена. Наконец преследуемый им гитлеровец плюхнулся в траву. Соблюдая предосторожность (вдруг тот ранен или пошел на хитрость), Леня подбежал к нему. Скорчившийся фашист лежал лицом вниз. Он оказался генералом. Рядом валялась красная папка.

Взяв автомат и папку, Леня поспешил назад. Саша ждал его около машины. Они схватили чемодан и потащили его в лес. В нем оказались домашние вещи, соль и сладкий хлеб. А вот папка была ценным трофеем. В ней обнаружили документы исключительной важности.

— Немедленно направить в штаб партизанского движения, — распорядился командир бригады Глебов.

За эту операцию Александр и Леонид были представлены к награде.

В представлении написано, что Голиков Леонид Александрович родился в 1926 году в деревне Лукино Старорусского района Ленинградской области. В партизанский отряд вступил добровольно в январе 1942 года. Как передовой боец, принят в ряды ВЛКСМ. Отличился во многих схватках, за что награжден орденом Красного Знамени и медалью «За отвагу».

Указом Президиума Верховного Совета СССР за этот подвиг Леня Голиков был удостоен звания Героя Советского Союза, а Александра Петрова наградили орденом Ленина. Оба они вскоре были зачислены разведчиками в штаб бригады.

Партизанские бригады наносили серьезный урон фашистским войскам. Для борьбы с ними фашисты бросили крупные силы карательных частей. 6 ноября 1943 года жестокий бой разыгрался у Радиловского озера.

Каратели напирали со всех сторон. Куда бы разведчики ни пошли, всюду на фашистов натыкались.

В поисках выхода из сложной обстановки штаб бригады нередко допускал ошибки, которыми фашисты спешили воспользоваться. Роковой просчет штаб сделал, когда рассредоточил все свои отряды (их было четыре). С каждым днем они все дальше и дальше отдалялись один от другого.

Связь штаба бригады с отрядами была потеряна. Решили пробиваться через линию фронта, чтобы выйти в советский тыл.

24 января 1944 года штабная группа остановилась на короткий отдых в деревне Острая Лука. Решили обогреться и запастись продуктами, так как дальше на пути до самой линии фронта деревень не было: их все сожгли гитлеровцы.

В Острой Луке и разгорелся тот последний для Лени

Голикова бой. Они дрались до тех пор, пока кончились патроны. А затем начали пробиваться к своим.

Командир бригады С. М. Глебов полз впереди. Леня старался не отставать от него, давая короткие очереди. Он видел, какую выгодную позицию у ветряка заняли вражеские пулеметчики.

Начальник штаба Трофим Петрович Петров, поднявшись, бросился к лесу и тут же упал, сраженный пулеметной очередью. Вдруг остановился и Семен Михайлович. Леня увидел, что он тяжело ранен.

— Спасай документы! — только и успел сказать он Лене.

Снег от каждой очереди вихрем поднимался всюду — впереди, по бокам и сзади.

Вон недалеко большой камень — только добраться бы до него! Но в этот момент что-то больно ударило в грудь.

Его догнал пулеметчик Ладожин. Леня, стараясь говорить громче, сказал: «Спасай документы!..»

Так погиб юный разведчик Леонид Голиков.

П. Демидов
Аркаша

На него смотрело круглое дуло пистолета. Дальше, продолжением ствола, два рыжих зрачка, разделенные горбинкой носа. Весь мир собрался для него в этом стальном кольце. Дуло дрожало, прыгало, будто ехало на телеге. Будет ли конец этой безумной дороге? Он не выдержал и отвернул голову, подставив висок.

Фашист выстрелил…

Из письма бывшему заместителю командира по разведке 2-й партизанской бригады имени Героя Советского Союза К. С. Заслонова Константину Павловичу Федорову пионеров дружины имени Бориса Петрова:

> «…Что касается бывшего разведчика Аркаши, мы обязательно узнаем и все Вам опишем. Сегодня мы проводили сбор отряда «Герои — наши земляки», и старшая вожатая прочитала от Вас письмо. Мы взялись за поиски Аркаши».

Невысок ростом, худощав, подвижен. Если смотреть со спины — мальчик! А повернется Аркадий Филиппович Барановский — и словно глянул ты в лицо войне. Черная повязка — там, где был когда-то правый глаз. Сглаженный временем, однако заметный шрам у левого виска — след входного отверстия пули. Руки-ноги — гнутся, ходят? Смеется: «Тяперь (это по-белорусски так), тяперь — да, вот разве к погоде дают знать…» «Давать знать» есть чему: автоматная очередь швырнула его на несколько метров назад, автоматная очередь впилась в правую руку, потом в обе ноги, в грудь. И много ли надо — в тринадцать лет?

В самом деле, много ли надо в тринадцать лет? Росный луг, чтоб бегать босиком. И речку тихую — нырять с обрыва. И дом. И школу. И хлеб.

Но луг стал минным полем, речка — водным рубежом, дом — пепелищем. А хлеба не стало вовсе.

Восемь дней шли бои за деревню. На девятый в Сенно вошел противник. Аркаша с такими же, как он, мальчишками шнырял в опустевших окопах — подбирали оружие и боеприпасы, прятали в тайники. Для чего? Спроси их кто-нибудь тогда — не ответили бы. Если удавалось, устраивали стрельбы — надевали на шест фашистскую каску. Да и вообще какой мальчишка пройдет мимо бесхозного пистолета?

Потянулись будни оккупации. Фашисты забрали из деревни все, что можно было забрать. Вскоре неподалеку от Сенно был создан лагерь для военнопленных, а через несколько дней в деревне появился Николай Пронин. Он постучался ночью к соседу Аркаши — Соколовскому — и попросил приюта. Пронин бежал из лагеря.

Солдата спрятали. Но он не хотел, не мог пережидать войну. Стоило появиться над деревней советскому самолету — Николай выскакивал на улицу и кричал: «Наши!» Кое-кто пожимал плечами: «Чудак-человек, сам в петлю лезет. Плохо ему тихо сидеть?» Плохо. Аркадий не только видел это — чувствовал сердцем. Но как было помочь солдату? Раз паренек подошел к Пронину:

— Дядя Коля, ну а дальше что? Ведь схватят тебя.

— Схватят, однако, Аркаша. А как быть? В лес уйти — куда я с пустыми руками?

И тогда Аркадий показал, где спрятано оружие. Ночью Пронин покинул деревню. К тому времени, к 1942 году, партизанское движение в Белоруссии стало набирать силу.

Николай встретился с партизанами. Рассказал им о ребятах из деревни Сенно, и вскоре к Аркадию пришли связные. Он передал партизанам все оружие и стал просить, чтобы те взяли его с собой.

— Трудно у нас, малыш, — лейтенант Федоров положил руку ему на плечо, — облавы, засады. А вот помочь нам ты бы, наверное, мог.

— Как?

— Нам нужны свои глаза в деревне. Понял? Аркадий кивнул.

— Будем держать с тобой связь. Договорились? Долго ждал Аркаша связного. Решил: пообещали просто так, чтобы не огорчался. Но вот однажды…

Из письма К. П. Федорова:

> «Занимаясь разведкой в тылу врага, мне приходилось иметь контакт со многими людьми из гражданского населения Белоруссии. В том числе был парнишка по имени Аркадий, ему в ту пору, в сорок третьем году, было лет 13–14. С его помощью я получал важные сведения для бригады, через него имел контакт с агентурой… Он привел к нам в бригаду группу, человек 11–13, бывших полицаев из Сенно, которых сумел сагитировать, переубедить. Они перешли на нашу сторону с оружием, предварительно разгромив полицейский участок».

Из рассказа А. Ф. Барановского:

— На вторую встречу лейтенант Федоров приезжает примерно через месяц. Ну вот что, говорит, есть одно дело. Немцы мобилизовали в полицию молодежь. Так надо бы тех, которые не по своей воле пошли, переправить к нам. Представляете, что это значит? Каждую секунду я мог встретиться с провокатором. В душу человеку не залезешь. Федоров говорит: «Аркаша, подумай, если непосильно, не берись. Погубишь сам себя. СД тоже работает».

Я говорю: попробую. А сам думаю: очень это скользкая стежечка. И вот, говорит, мое первое указание. Подговори одного человека из полицаев, откройся ему, самого надежного выбери. Дай ему задание, чтобы завербовал еще товарища, но чтобы тот тебя не знал. Если, говорит, операция провалится, могут погибнуть два-три человека. А этот пусть другого завербует, и так по цепочке пусть идет.

Я, честно, ночь не спал. С кем же поговорить? Ну, нашел. Брат его учился со мной, на одной парте сидели, последним кусочком делились. Колымага Иван, мой школьный товарищ, а тот Колымага Николай. Думаю: да неужели он меня продаст, этот старший брат, который был мобилизован в полицию? Знает, что я первый школьный друг брата. Ну, однажды я подобрал такой момент, когда он пришел домой обедать. Он как раз получил новый мундир. Я захожу. «О, — говорю, — Коля, здорово тебя одели». Он молчит, даже внимания не обращает. Я говорю: «Погоны какие, а к этим погонам еще бриллианты, прямо как настоящий Наполеон». — «Ладно, ладно, — говорит он, — не болтай». Решился тут я. Говорю: «Пойдем поговорим». И спрашиваю: «Неужели ты, Коля, думаешь служить немцам?» — «А куда я денусь? Никто меня не возьмет, не примет в такой форме». Тут я ему изложил все, как мне Федоров наказывал. «А куда мы денемся потом?» — «А это не ваше дело». — «Ты начальство знаешь?» — «Знаю». — «А когда мы можем встретиться с ним?» — «О встрече еще рано говорить. Когда будет все готово. Тогда и встретимся». — «Они меня не расстреляют?» — «Наоборот, присягу примете, партизанскую. Но только чтоб с оружием». Так мы подготовили первую группу.

Прошел еще месяц. Стал готовить вторую группу. В отряде мне сказали: «Аркаша, тебе оставаться в Сенно нельзя. За тобой идет слежка СД. Со второй группой ты должен идти сам». Это передали от Федорова.

Когда я со второй группой уходил, не знали эти полицаи, кто руководит операцией. Один подходит: «А тебе что тут надо, ну-ка марш отсюда!» Тут я понимаю, что уже надо раскрываться, и

говорю: «А ты как с командиром разговариваешь, ну-ка встань по команде «смирно»!» Смеху было…

Константин Павлович Федоров говорит об Аркаше:

— Верите, думал, если и живой он, наверняка не видит. У нас в Ломоносове есть общество слепых. Так я ходил по улицам и все глядел на них, Аркадия высматривал. А как его найдешь — столько лет прошло! К тому же и фамилии не помнил. Просто Аркаша. Чувствую, понимаю: невозможно так найти, а мысль все же работает — вдруг…

А как это вообще бывает — вдруг? Так ли уж все случайно? Вот жил Федоров и все думал об Аркаше. Списался с пионерами. Те стали думать тоже. В деревне Куповать открывали памятник Константину Заслонову. Выступали на митинге партизаны. Кто-то сказал:

— Здесь, на этом же месте, где погиб наш легендарный командир, погиб и еще один герой. Это было в 1943 году. Тринадцать лет было Аркаше Барановскому. А воевал он, как настоящий солдат. Не успел наград заслужить. Только карабин один, лично, перед строем, врученный ему комбригом. Так, со своим оружием, он и принял неравный бой.

Случайно сказали, случайно услышали… Но какая образуется цепочка памяти. Пусть недостает в ней сегодня нескольких звеньев, все равно со временем они будут восстановлены, и каждому воздастся должное. Нет, не «вдруг» это.

О пионерских же поисках — особо. Чтобы осмыслить их, понять их место в истории (да-да, именно в истории!), давайте представим себя в будущем. На месте внуков и правнуков. Когда будут изучать они наше время, с благодарностью вспомнят тех, кто сохранил им имена Аркаши Барановского, Николая Пронина, Бориса Петрова, Константина Федорова. В одном ряду с историографами и летописцами стоят мальчики и девочки в алых галстуках, сельские и городские школьники, красные следопыты. Живая память народа.

…Федоров понимал: идти в разведку больше некому. Так, как знает эти места Аркаша, не знает, пожалуй, никто. А пойти необходимо. Появилась новая группа карателей. Узнать, сколько их, как и чем вооружены, где стоят — все это нужно было разведать Аркаше и его напарнику Володе Шавранскому.

Ранним утром двигались на конях вдоль речки. Заглянули на хуторок — никого. Впереди показалась Куповать, та самая деревня, подле которой все случилось.

Аркадий потянул носом: дымом табачным повеяло, да не нашим, чужим. Вокруг ни души, стало быть, засада. Значит, нужно особенно схорониться, потому что фашист уж постарается

выбрать место, чтобы все просматривалось и простреливалось. Аркадий предложил было спешиться, чтобы перейти речку и с другой стороны, с господствующего берега, изучить местность, а может, и обстрелять ее. Володя, однако, двинулся дальше так же, верхом, и Аркадий последовал за ним. Аркаша снял с груди карабин, щелкнул предохранителем автомата Володя. Проехали шагом метров двадцать.

Еще не успела отзвучать команда «Хенде хох!», как парни ответили на нее дружным залпом. Соскочили с лошадей, а над головами, с обоих флангов, уже летели пулеметные очереди. Володя крикнул: «Отходи к берегу! Буду тебя прикрывать!» — и бросил в сторону речки гранату, чтобы расчистить Аркадию проход. И умолк. Аркадий ползком вернулся к нему. Володя лежал на спине, прижимая правой рукой к груди автомат. Он был убит.

Аркадий взял автомат друга и начал вести огонь. Бросил вправо и влево по гранате, чтобы прикрыть свой отход, и в этот миг осекся автомат. Когда Аркадий пытался сменить диск, его ранило в правую руку. Будь враги далеко, он бы успел сделать это, но их разделяли буквально метры. Аркадий поднялся на ноги, рассчитывая зубами выдернуть кольцо последней, третьей, гранаты и бросить ее левой рукой, когда каратели подойдут вплотную. Не успел.

Его расстреливали в упор, с пяти метров. Автоматная очередь оплела тело, скрутила, согнула его и отбросила назад. Аркадий никогда не думал, что пуля обладает такой силой: будто кто-то что есть мочи поддал ему кулаком. И все-таки он нашел в себе силы подняться. Держа автомат здоровой рукой за ствол, с простреленными ногами и грудью, он шагнул навстречу врагам, размахивая оружием, как палицей. Страшный удар по затылку прекратил этот неравный бой. Хрустнула кисть под сапогом — это выбили у него гранату, вырвали, чуть не с пальцами вместе, автомат, долго били прикладами и ногами. Сознание его плавало, то уходя, то возвращаясь, качалось, как лодка на волне.

Подошел офицер. Вытащил пистолет, стал спрашивать о чем-то. Потом достал нож и распорол на Аркашиной груди гимнастерку. Бросил команду солдату, отошел. Солдат — Аркадий навсегда запомнил его — расстегнул кобуру.

Из письма К. П. Федорову пионеров дружины имени Бориса Петрова: «У нас большая радость. Мы отыскали героя, о котором вы писали. Его зовут Барановский Аркадий Филиппович. Его адрес: БССР, Витебская область, Лепельский р-н, Стайкский сельсовет, д. Стайки».

Из письма А. Ф. Барановского К. П. Федорову:

«Вы спрашиваете о моем здоровье и зрении. На здоровье пока что не жалуюсь. Все хорошо. Когда меня доставили в госпиталь, мне нужна была срочная операция, но врачи были в сомнении — вряд ли выдержу и перенесу наркоз. Меня осмотрел хирург и сказал, что, хотя я серьезно истощен кровью, зато сердце исключительно крепкое. Правый глаз мне удалили сразу же. Правда, когда я начал просыпаться и стал проходить наркоз, в палате немного попартизанил, так что вынуждены были привязать меня к койке. Через три недели мне сделали другую операцию, потом еще одну. Правая рука долгое время не разгибалась, но сейчас все нормально. Дали мне вторую группу инвалида Отечественной войны пожизненно».

— Выходит, я виноват, что об Аркашином подвиге никто не узнал тогда, — вздыхает Константин Павлович. — Верите, никто не думал, что он выживет. Никто! Помню, метался Аркаша на телеге и все твердил: «Где мой карабин? Где мой карабин?» Тот самый, именной. Мы думали, в бреду он, в горячке. А потом, когда увезли его в тыл, разве тут найдешь кого? Война еще шла…

Из письма А. Ф. Барановского К. П. Федорову:

«Вы спрашиваете, какие я имею награды. Стыжусь я отвечать на этот вопрос. Я даже вам солгал, Константин Павлович, что у меня есть медаль партизана Отечественной войны. Нет ее у меня. Но я за это не обижаюсь, потому что некогда было в то время этим заниматься».

П. Демидов
Сестры

> «Русская Демеш Лидия обвинялась в оказании помощи партизанам. Выяснилось, что она постоянно поддерживала связь со своей сестрой Ольгой, находящейся в партизанском отряде. Оттуда Лидия получала мины для совершения диверсий…»

Оставалось допечатать последнюю фразу — и операцию можно считать законченной. Затем — положить донесение в конверт, чтобы назавтра, спецпочтой, оно ушло в ставку. После войны этот документ найдут в архивах польского министерства внутренних дел.

Лиде было тринадцать лет. Казалось бы, что особенного сделала она? — подорвала эшелон, поддерживала связь с партизанами. Удивить ли было гитлеровцев подобным. В этой непостижимой Белоруссии, у этого непонятного народа — партизан или связной чуть не каждый; и стреляют, и вешают, и жгут их — ничто не помогает. Тринадцать лет. Кляйне медхен, ей бы в куклы играть, мит пуппен, а у нее в руке — мина. Ей бы плакать по вечерам от жутких сказок, а она — воюет с солдатом фюрера. С солдатом, который согнул Европу! И солдат боится девочки: закрывает в страхе глаза и стреляет вслепую, наугад — вдруг попадет? А солдат — это армия. Выходит, армия в страхе перед девочкой? Вот о чем расскажет то донесение…

Две сестры. Лида и Ольга. Тринадцать и шестнадцать лет. Еще есть братишка Борис, совсем маленький. И мама, Ефросинья Георгиевна. Все — Демеш.

Вспоминает Борис:

— Было пасмурное утро, и мне почему-то запомнился тот день, большие, громадные самолеты летели низко над станцией. Их было много, казалось, им не будет конца, партия за партией пролетали они над Оршей. В городе от их рева не было ничего слышно, а они все летели и летели, с крестами на крыльях и хвостах. Думали, будут бомбить, как раньше, но они в тот день не сбросили ни одной бомбы.

Потом стало тихо (трудно понять и объяснить эту тишину). В домах и на улицах сразу послышалась немецкая речь. Люди стали выходить из своих убежищ, а чуть позже немцы сами стали обыскивать и выгонять из подвалов и погребов наших, в основном были старые и дети. Выгнали и нас: маму, меня, Лиду.

Собирали людей на улицах и площадях, сгоняли целые толпы и что-то долго говорили и объясняли населению (по-видимому, втолковывали свои порядки). Кое-где раздавались выстрелы, и набожные каждый раз крестились. Мама крепко прижимала меня к себе, Лида тоже жалась ближе к маме, стояли долго, очень долго, мне казалось, что мы стоим целый день. Когда нас отпустили, люди почему-то не сразу стали расходиться по домам, но после нескольких очередей из автоматов на улицах стало пустынно. Трудно поверить в столь ясную память ребенка, но у меня до сих пор перед глазами те дни. И вспоминать по-другому, по-детски, я уже не могу.

Когда мы подошли к дому, наши ненужные «им» пожитки были выброшены прямо на улицу, а то, что подходило, они оставили для себя. Про Ольгу в то время никто не знал, что с ней и где она. Мама объяснила, что она ушла в деревню к тетке, так как там легче прожить, а потом кто-то пустил слух, что Оля заболела тифом (немцы тифа боялись). Как только мы подошли к своему дому, из комнаты вышел здоровый верзила и сказал на ломаном русском языке, чтобы женщины ежедневно делали в их комнате уборку (он имел в виду маму и Лиду). «А вы можете оставаться жить там», — и он показал нам на вторую комнату. Каждый день фашисты выгоняли всех на работу, уходила на целый день и мама. Поздно вечером она возвращалась усталая, разбитая, часто брала меня на колени, гладила по голове, вздыхала и говорила: «Что же это такое, надолго ли это и как жить дальше?» А я ей подсказывал, что если выгнать немцев из дома, то на этом все и кончится — и война кончится, и все будет по-старому, по-прежнему.

Очень часто мама брала из шкафа свои любимые вещи, куда-то уходила и, возвращаясь, всегда приносила или ведро картошки, или буханку хлеба. Отворачиваясь, говорила: «Жить-то надо…»

Я как-то сразу заметил, что Лида вдруг стала намного взрослее. Она вытянулась, сделалась замкнутая, часто шепталась с мамой. Мать ей говорила: «Не лезь, куда не нужно, хватит нам и одной» (наверное, имела в виду Олю).

Помню, как за нашим домом и дальше стояли, подходили и уходили целые эшелоны с немецкими солдатами, с танками и прочим грузом. Запомнился случай: как-то на запасных путях стоял эшелон с солдатами, они чему-то радовались, многие играли на губных гармошках. Мы, ребятишки, пялили на них глаза. И вот один из них на ниточке опустил к земле какую-то игрушку из вагона, показывая, чтобы кто-нибудь взял ее. Один мальчик, старше меня, подошел и дернул ее, она взорвалась у

него в руке. И я не могу забыть, как он с окровавленной рукой и оторванной нижней губой с криком побежал домой, а они хохотали, крича: «Пух, пух!»

Лида часто брала корзину или сумку и уходила на железнодорожные пути собирать уголь, и, если ее останавливали часовые, она объясняла, что собирает уголь, чтобы отапливать комнату, в которой живут немцы. Таким образом она пробиралась туда, куда ей нужно было (где мне тогда было понять, что она вот так, рискуя жизнью, помогает выполнять боевые задания).

Хотя погода была прохладная, Лида почему-то стала ночевать в сарае. Я потом уже узнал, что там, в груде старых битых кирпичей, хранились мины и взрывчатка.

Однажды я вошел в сарай, а Лида стояла ко мне спиной и что-то стирала. Не оборачиваясь ко мне, она вдруг выплеснула из таза воду на груду лежавших в углу кирпичей и только потом обернулась. Увидев меня, она сказала: «Ух, пузырь (она так меня звала), напугал ты меня» — и достала из-за кирпичей стиранную вещь — «косынку» (это был пионерский галстук).

Не могла семья Демеш эвакуироваться: двое малых на руках у матери, куда с таким хвостом! Не стало любимого парка, что зеленел возле дома, — порубил, повыжег фашист, качели и карусели переделал в виселицы.

Трое пионеров, старшая среди них Оля, как бы подполье свое, пионерское, организовали. Упрятали галстуки (до возвращения наших), по ночам писали на стенах: «Смерть фашистам», «Смерть Гитлеру», срывали немецкие афиши и раз даже кошку дохлую бросили в колодец, которым пользовались гитлеровцы.

Ольга мечтала пробиться к партизанам. Искала встреч, ловила слухи. На аэродроме, куда угнали на работу, сговорилась с Толей Корнеевым (ему тогда было тринадцать) непременно отыскать партизан. И отыскали. А в ответ услышали то ли в шутку, то ли серьезно:

— Придете с оружием — примем.

Черный дым застил небо над лётным полем, хлопали взрывы, в панике метались враги — это Ольга и Толя оставили о себе память, а сами на захваченном велосипеде, у девчушки парабеллум на груди, — к опушке, к месту встречи.

Так и прижились в отряде. Она — поначалу все больше по кухонной части, а потом дали серьезное задание: пробраться на станцию в Оршу — поглядеть, посчитать, запомнить.

После этого поручили поставить магнитные мины под эшелон с горючим. В партизанской справке (№ 2037 от ЗЛИ. 67 г., Минск, партархив) о ней написано: «За время пребывания в партизанах, будучи малолеткой, показала себя бесстрашной разведчицей,

спустила под откос семь вражеских эшелонов, участвовала в разгроме нескольких немецко-полицейских гарнизонов, на своем счету имеет около 20 уничтоженных вражеских солдат. Участница рельсовой войны».

Ко времени, когда Лида стала работать на связи с партизанами, немцы уже хорошо знали об Ольге. За нее давали цену немалую — землю, корову и десять тысяч марок. Копии ее фотоснимка были розданы и разосланы всем патрульным службам округи, полицаям, старостам и тайным агентам. Захватить и доставить ее живьем — таков был приказ ставки.

Однажды в районе Березине, направляясь в разведку, Ольга и двое парней повстречали группу кавалеристов. Одеты конники были в гражданское, кто как, так что вполне походили на партизан. Когда отряд приблизился почти вплотную, Ольга поняла, что произошла страшная ошибка. Красные диагонали пересекали шапки незнакомцев — а в ту пору партизаны лент уже не носили, — однако слишком поздно заметила оплошность Ольга.

Кто-то из преследователей крикнул:

— Не стрелять! Взять! — и отряд начал окружать ребят.

Вспоминает Владимир Старовойтов, командир отделения отряда «Шамаринский» партизанской бригады «Чекист»:

— Ее товарищи сумели заставить своих лошадей перепрыгнуть в кювет, а Ольгина лошадь боялась прыгнуть и некоторое время стояла в нерешительности… Но все же прыгнула. Ольга спешила проскочить снежное поле, это метров пятьсот, чтобы скрыться в лесу. Полицаи стремились окружить девушку, но Ольга на полном скаку отстреливалась из автомата, а когда кончились патроны, вытащила пистолет. Одного из ее товарищей ранило, и он, чтобы не попасть в плен, застрелился… Ольга ушла.

Младшая сестра стала ее связной. Вспоминает Герасим Керпич, командир бригады «Чекист»:

— Подвиг Лиды заключался в том, что она была передатчиком сведений об обстановке в Орше, о насыщенности немецких войск, их дислокации.

Валентина Реутова, разведчица, рассказывает:

— Ольга прибыла в отряд раньше меня, и у нее уже было много боевых дел на счету. Мы с ней пошли на задание в Оршу, там я познакомилась с Лидой. Там я выполняла задания только с Лидой Демеш. Она у меня была проводником, мы с ней ходили по Орше, она впереди, а я позади на расстоянии, это нужно было для конспирации. Ходили к одному врачу за медикаментами — он работал у немцев в госпитале. Ходили на свидание и знакомство

с власовцами (было и такое задание), и всюду го мной была Лида. Она очень умная и сообразительная, ей не надо подсказывать, она все сама знала… Где я не могла пройти, шла она: она была маленькая, и ее нигде не задерживали и пропускали, и она смотрела все, что надо, и пересказывала мне. Ходили с ней на железнодорожную станцию, смотрели, какие стоят поезда. Например, когда увидели цистерны с горючим, то сразу вернулись и взяли магнитную мину с двухчасовым механизмом.

Они шли вдоль железнодорожной платформы, обе маленькие, тоненькие. Лида к тому же с остриженными волосами (мама говорила: так спокойнее, пусть «они» думают, что отболела тифом), ни дать ни взять две подружки-говорушки из какого-нибудь там пятого «А» или «Б». А вдоль платформы — составы, теплушки, открытые платформы и укрытые брезентом зеленым, и доски гнутся от сапожного шага, и клекот стальных затыльников карабинных прикладов о цемент, а все больше автоматы, на ремне через шею или правое плечо, и только согнуть палец — и веером пули, очередью и без очереди, и в стороны, веером. Так убивают человека. А человеку одному — тринадцать, другому — чуть больше, и ни заступиться, ни выручить, ни сказать защитного слова, даже ни оплакать…

Они шли вдоль платформы: Лида впереди, Валентина чуть поотстав. Лида — с лукошком, яйца для продажи, поскребыши последние из дому взяла, а иначе к чему бы им на станцию? Лида подходит к немцам:

— Яйки! Яйки!

Пальцы — цап, скорлупки — цок, куда как весело! А Валя — в полушаге, мина под платком, и часы пущены: тик-так, тик…

Лида нырнула под состав, словно бы ищет кого, под другой, третий. Валя — следом. Часовой равнодушно сощурил глаз, потопал в сторону. Рука — из-под платка плоскую баночку, тик-так, тик-так, баночку — плашмя — к пузатому боку…

Валентина Реутова:

— Только мы отошли от станции, слышим взрыв. Немцы стрельбу подняли, железная дорога на четыре часа вышла из строя.

А кольцо сжималось. Немцы следили буквально за каждым шагом семьи Демеш. Не трогали мать лишь потому, что надеялись: не выдержит старшая дочь, хоть когда-нибудь да заглянет в родной дом, капкан и захлопнется.

Ольге в самом деле предстояло идти в Оршу. Нужно было взорвать только что прибывший эшелон. При Ольге была записка для матери одной из девушек-партизанок, тоже разведчицы.

Ольга выполнила задание — эшелон взлетел на воздух,

однако записку отнести не смогла: наступал комендантский час. Условленным способом Оля передала записку младшей сестре, а сама вернулась в отряд.

Есть несколько версий, объясняющих причину провала Лиды. Одни партизаны говорят, что сработал провокатор. Что, мол, и записка, и предполагавшаяся встреча сестер — дело их рук. Что Ольге, мол, удалось уйти, и тогда решили достать ее через Лиду. Объясняют еще и так: возьмем Лиду — подаст знак Ольга. И совсем простое: после взрыва эшелона гитлеровцы озверели вконец, и Лида попала под горячую руку. Сегодня невозможно дать точный ответ.

…Чьи-то сильные руки рванулись из-за забора, схватили за плечи, грубая ладонь закрыла рот, запрокинула голову так, что хрустнули шейные позвонки. Гестапо! А за углом уже фырчал мотором автомобиль, и лишь испуганные глаза соседей видели сквозь узкие щели ставень, как крохотное тельце с заломленными руками черные мундиры втолкнули в ту машину, как хлопнула дверь и горько зашелестело от дома к дому: «Лиду… Лиду Демеш забрали…»

Вспоминает Борис:

— Нам сказала об этом соседка, подруга мамы. Я услышал, как она сказала: «Беги, Франя, забирай Бориса и беги, они вот-вот придут сюда». Мама схватила меня за руку, мы заскочили в сарай, где она стала быстро разбрасывать кирпичи, вытащила что-то плоское, завернутое в тряпку, сунула сверток за пазуху, посмотрела на старую, ржавую кровать, и где огородами, где оврагами мы выбрались за город. Когда мы вышли в жатую рожь, из лесу раздалась автоматная очередь. Мать толкнула меня и грудью упала на меня. Мы пролежали до темноты…

И вот мы уже в партизанском отряде. Там мы с мамой прожили больше месяца. Потом меня переправили в деревню к тете Фекле. Там я тоже недолго пробыл: уж сильно рыскали полицаи, искали сочувствующих партизанам. Меня снова переправили в другую деревню, к другой тете. Звали ее тетя Мотя, жила она с сыном Николаем, старше меня. Прощаясь со мной, мама крепко поцеловала меня, наказала слушаться, а сестре Моте сказала: «Береги Борьку, Мотя, мало ли что может случиться».

Деревня Ярки была глухая, там было несколько полицаев, староста, фашисты заглядывали редко, да и то только, чтобы нахватать продуктов и теплой одежды. Позже стали приезжать целыми группами, начались расстрелы.

В наш дом вбежала соседская девочка Ира и крикнула с порога: «Тетя Мотя, тетю Франю потащили к старосте в дом».

Коля помчался в центр деревни, вернулся весь мокрый, не глядя ни на кого, сказал: «Там их трое, бьют, пытают всех». Тетя Мотя забросала меня тряпками — я лежал на печи, — сказала: «Придут — не шевелись!»

И они пришли: один полез на чердак, другой стал шарить в доме. Я не чувствовал страха, а только думал: «Почему так нестерпимо жжет бок?» Потом кто-то стал сбрасывать с меня тряпки, и я увидел «его». В руках он держал винтовку с откинутым штыком. Мы долго смотрели друг другу в глаза, у него были волосатые руки, у шапки одно ухо откинуто вверх, другое спущено, изо рта торчали вперед два желтых зуба, я смотрел на него и только думал: «Почему мне так больно жжет бок?» Потом он этим же штыком набросил на меня тряпье. Я не знаю, о чем он в то время подумал, он знал, чей я сын. Стало тихо, и только тут тетя Мотя забралась на печь и стащила меня с нее, весь бок у меня покрылся пузырями.

Расстреливали их вечером, троих — маму, молодую девушку, наверное, тоже партизанку, и одного мужчину. Почти весь народ согнали к трем большим липам. Мама была вся черная от побоев, от одежды остались одни лохмотья, и, хотя на улице был еще снег, их всех вывели босиком. Перед расстрелом фашисты прочитали приговор и сказали населению, что так будет со всеми, кто будет содействовать партизанам.

Потом короткая очередь — и все. Я уткнулся лицом в колени тетке, а она прижала меня к себе и шептала, чтобы не крикнул, чтобы не выдал себя.

Потом был дан приказ: расстрелянных не хоронить, кто это сделает, тому будет то же.

Ночью тетя Мотя вышла к трем липам и, как могла, зарыла их всех. А через три дня тетку забрали полицаи и увезли. Ее отправили в Борисов, в женский концлагерь (много позже ей удалось бежать из лагеря во время бомбежки города). Я остался один с двоюродным братом Николаем, который заболел тифом. К нам никто не заходил: боялись. Лечил я Колю снегом: возьму комочек снега, положу на лоб, он растает, а я снова.

Потом в деревню вошли наши. Маму хоронили с салютом. Какой-то солдат поставил винтовку прикладом на землю и показал мне на спусковой крючок: «Салютуй, сынок, своей маме, она у тебя была сильная, не каждый мужик такое выдержит».

Ольга Демеш:

— Это фотография Лидочки, моей сестры, тринадцати лет. Снимок сделан во время войны в 1942 году. Лидочку все звали птенчиком. Несмотря на такой хмурый взгляд, она всегда была веселой, ласковой, смелой. Немцы сильно над ней издевались,

перебили ей позвоночник, жгли щеки папиросами и расстреляли в августе 1943 года на Кобылиной горе в Орше.

В донесении гитлеровской ставки об этом написано так: «Она арестована и расстреляна».

Подвиг есть подвиг, понятно каждому. История наша, и мирная и ратная, в каждой своей строке исполнена примерами героизма. Есть в ней строка и Лиды Демеш. Пусть не на день, не на час — на минуту, но она приблизила Великую Победу. И было ей только тринадцать лет.

В. Морозов
В свои четырнадцать лет…

Шагает по заснеженному большаку маленький человек в лаптях, в потрепанной фуфайке, через плечо перекинута холщовая сумка.

Проезжают по дороге немецкие военные машины, попадаются навстречу и пешие гитлеровцы, полицаи. Никому из них и в голову не может прийти, что по дороге идет партизан-разведчик.

У этого паренька война отняла все: погиб отец, казнена фашистами мать. А старшая сестра Ада в одном из боев отморозила ноги, и партизанский хирург сделал операцию. Девушка осталась без ног. Отправили ее на самолете в госпиталь, на Большую землю…

Прошло много лет с тех нор. Теперь та девушка — Ариадна Ивановна Казей — заслуженная учительница. Она рассказывает ребятам, ученикам, о том грозном времени, о своей маме, о брате — Герое Советского Союза Марате Ивановиче Казее.

Хата Казеев — на краю села, у шоссейной дороги, что ведет в Минск. Днем и ночью по дороге громыхают тяжелые фашистские танки. И домишко трясется, словно в ознобе.

Анна Александровна вот уже две ночи не смыкает глаз. Немцы ворвались в Минск! Как заставить себя поверить в это? Как жить?

Больше всего думается о детях, об их судьбе. «Что-то станет с ними? Ада, правда, не маленькая уже, но это-то и беда. Угонят девчонку, как рабыню, в неметчину».

Не менее тревожится Анна Александровна и о сыне. Удержать мальчишку дома нет никакой возможности. Приходит оборванный, грязный, с горящими глазами. И ведь все молчит, хоть ты убей его! Как-то патроны в кармане обнаружила… Чует сердце, не доведут такие забавы до добра!

С огарком свечи подходит Анна Александровна к кровати, где, натянув на голову одеяло, спит Марат. «Хоть рубашку ему залатать», — думает она, ища глазами одежду сына. Но на спинке кровати ничего не видно, на стульях — тоже ничего. «Вот и не раздевшись лег». Анна Александровна осторожно приподнимает одеяло и отступает назад.

Там, где должен был лежать сын, оказались положенные в ряд три подушки.

— Негодный мальчишка! Адочка! Дочка! — Анна Александровна тормошит Аду. Та вскакивает с постели и долго

ничего не может понять. — Ты видела Марата? Где он?..

Ада стоит молча, опустив голову. Слышно, как со стороны дороги приближается гул. Он все нарастает, нарастает. И вот уже ясно различимы рокот моторов, лязг гусениц. Пока проходили танки, мать и дочь не обмолвились ни словом.

Анна Александровна опускается на стул.

— Вы скрываете от матери что-то. Вы не должны этого делать. Слышишь, Ада? Не должны! Какие же могут быть у вас с Маратом секреты? Вы думаете, мать занята своим делом, мать слепая, ничего не видит. Отвечай, сколько этих самых гранат спрятано у нас во дворе? Зачем патроны захоронили на чердаке? И какая надобность ходить вам в рожь, через дорогу?

Теперь Ада выглядела совсем беспомощной. «Значит, маме все известно! Запираться, скрывать что-либо от нее уже нельзя». Ада подошла к матери, осторожно коснулась рукой ее плеча.

— Видишь ли, мама… ты только пойми. Мы должны бороться. Правда? А иначе ведь нельзя, мама. Ты ведь тоже борешься. Те командиры, из окружения которые пробились, не к кому-нибудь, а к нам, к тебе пришли. И ты переодела их, накормила. И если к нам снова кто-нибудь из окруженцев постучится, ты опять откроешь им. Иначе ведь не можешь, мама.

Догоравшая свеча трещала, быстро бегали тревожные тени по деревянному потолку.

— Вот и мы с Маратом… Ты спрашиваешь, зачем в рожь мы бегаем? Сначала мы там их телефонные провода перерезали. Понимаешь? А вчера наткнулась на раненого. Он наш, командир. Он лежит в кустах, у дороги… уже несколько дней. Мне кажется, мама, что Марат сейчас около него…

Анна Александровна быстро встала.

— Раненый, говоришь?

— Ага. Рана у него страшная…

Анна Александровна молча прошла в другую половину хаты, взяла теплый платок. Некоторое время держала его в руках, что-то решая, потом накинула на голову и направилась к двери. В это время в сенях послышались возня, чье-то тяжелое дыхание. Кто-то вошел в хату.

— Мама, — послышалось в темноте, — запалите свет!

Анна Александровна узнала голос сына. Зажгла свечу и на лавке возле двери увидела незнакомого человека. Из сеней с ковшом в руках появился Марат.

— Дяденька, вот… попейте. Давайте я вас придержу. Опирайтесь на меня. Вот так.

Подбежала Ада, стала помогать брату.

Анна Александровна поняла: это и есть «человек из кустов».

Со свечкой в руке приблизилась она к лавке. Мужчина, поднявший голову и теперь смотревший на нее, был худ. Давно не бритые, обросшие щеки ввалились, а губы растрескались и почернели. Раненый шевелил губами, силясь что-то сказать. Анна Александровна подошла совсем близко.

— Вы… вы не серчайте, товарищи, — уловила она шепот. — Нескладно как вышло…

Раненый опустил обессиленную голову на грудь.

«Где же я видела этого человека? — старалась припомнить Анна Александровна. — Вот и шрам на виске. И глаза знакомые…» Словно очнувшись, она обвела растерянным взглядом детей.

— Чего же вы смотрите? Ада, неси теплой воды. А ты, Марат, помогай мне, придерживай его. Осторожней только… Осторожней!

Рана была большая, рваная: осколок мины или гранаты угодил в самое плечо.

Раненый тихо стонал, когда Анна Александровна перевязывала ему плечо. Стянув с него сапоги, мать с сыном перетащили его на кровать. Принесли из кухни молока, хлеба. Но человек не хотел открывать рта. Он не то спал, не то был в беспамятстве.

О сне никто уже не думал. Перейдя на другую половину дома, все сели за стол вокруг свечи. Только теперь мать могла хорошенько разглядеть сына.

— На кого ты похож? — нараспев, несердито проговорила она. — Полюбуйтесь, люди добрые.

Марат провел ладонью по волосам. На клеенку посыпался песок. Посмотрел на ладони. Они были грязные, в ссадинах.

— Через дорогу тяжело было, — как бы оправдываясь, сказал Марат. — На животе ползли…

Раненый тихо стонал.

— Знаешь, мама, — Ада кивнула в сторону спальни, — этого человека я, кажется, видела, когда отступали наши… Он ночевал у Кастуся. Он комиссар полка. Помнишь, Марат?

Брат метнул на Аду осуждающий взгляд. Разве можно про такое говорить так громко?!

— Вот что, доченька, — тихо, но твердо сказала мать. — Этот человек давно живет в нашей деревне и никогда военным, а тем более комиссаром не был. Согласны? Так и решим…

А на дворе уже вставало утро. Через окна заглядывал в хату рассвет.

* * *

Бывший комиссар, подлечившись, создал в Станькове подпольную группу, В нее вошли и бывшие его однополчане, бежавшие из фашистского плена, и станьковские крестьяне, и конечно же Анна Александровна Казей со своими детьми. Печатать и распространять листовки — это было лишь одно из многих дел станьковского подполья. Ночные взрывы и поджоги во вражеском гарнизоне — вот результат его работы. Подпольщики установили связь с партизанами, многие ушли в лес, в числе ушедших были брат и сестра Казеи.

Оккупанты, узнав о подпольщиках в Станькове, жестоко расправились с ними. О том, что их маму и комиссара гитлеровцы повесили, Марату с Адой сказали спустя много месяцев после казни, и они поклялись мстить врагу до конца, мстить беспощадно!

…Идет по зимнему большаку маленький путник. У него боевое, даже грозное имя Марат. Теперь домом ему стал дремучий бор, подушкой — еловые ветви. А сам парнишка превратился в лесного бойца. Нет пока что в отряде такого ловкого разведчика, как он, Марат. Идет с нищенской сумой в районный центр, где большой вражеский гарнизон. Марат хорошо знает расположение улиц и зданий, потому что до войны бывал в райцентре нередко.

Чужим, неузнаваемым стал городок. Немецкая речь на улице, фашистские вывески на больших зданиях, гитлеровский флаг над райсоветом…

На главной улице много гитлеровцев. На какое-то время Марат даже забыл осторожность: он вертел головой по сторонам, подсчитывая все вражеское, пока не наскочил на офицера. Поднимая оброненную перчатку, гитлеровец брезгливо поморщился.

— Дяденька, — обратился к нему Марат, — подайте что-нибудь!

Офицер даже не взглянул на него и прошагал дальше.

А через несколько дней партизанский отряд ночью сильно «потрепал» фашистов в этом районном городке. Бойцы-партизаны благодарили Марата: успех достигнут благодаря его разведке. А мальчик уже готовился в другую дорогу, более опасную и дальнюю: такова судьба у партизана-разведчика.

Марат и не искал легкого дела. Ходил в разведку и один, и в группе с другими бойцами. Во всякую пору. Наряжался пастушком или нищим и отправлялся во вражеские гарнизоны, забывая про отдых, про сон, про боль натертых до крови ног. И не было случая, чтобы он возвратился ни с чем, с пустыми, как говорят, руками.

Марат узнавал, куда и по каким дорогам пойдут вражеские солдаты, в каком направлении будет двигаться очередная маршевая рота, спешно перебрасываемая к линии фронта. Он хорошо запоминал расположение немецких постов, замаскированных вражеских пушек и пулеметов.

У шоссейной дороги, в непролазном кустарнике, — трое партизан. А по шоссе с бешеной скоростью несутся тяжелые машины. Одна, другая, третья… В кузовах — фашистские автоматчики. Каждый грузовик сопровождают несколько мотоциклистов. Вот один отстал от колонны. Машины скрылись за поворотом, а он еще только приближался к тому месту, где лежит в пыли стальной трос. И вот тут-то трос мгновенно поднимается, натягивается струной до уровня седока. На полном ходу мотоцикл налетает на преграду, вверх тормашками летит вышибленный из седла гитлеровец. Есть теперь у разведчиков отличный «язык»!..

Марат выскакивает на дорогу и хватает конец валяющегося там троса, бежит на другую сторону, к придорожному камню.

Тем временем один из партизан укротил все еще рычащий мотоцикл, свез его подальше в кусты, другой обезоружил и уволок в кусты фашиста.

Пролетели считанные минуты, и новая колонна вражеских машин показалась невдалеке.

— Прячься, Марат!

Мальчик притиснулся к огромному камню. А рядом, в пяти метрах, проносятся громоздкие семитонки. Одна… вторая… третья…

Внезапный сухой треск автоматов заглушает рев машин. Пули ударяются о камень и отскакивают от него. Стоя в кузове, вплотную друг к другу, автоматчики стреляют по сторонам — просто так, для самоуспокоения. Марат теснее прижимается к спасительному валуну.

…Другая дорога. Недалеко от деревянного мостика, в лощине, — двое: Александр Райкович и Марат Казей. Партизаны вытащили поперечную доску из моста и вот теперь, притаившись, ждут. Лежат уже несколько часов. Что поделаешь? Добыча ловца не ждет, говорят, ловец ее поджидает. Два раза хлопцев промочило дождем, дважды солнцем просушило, пока не подошла легковая машина.

Увидев широкую щель, шофер остановил автомобиль, вылез из кабины, влезть в нее уже не смог: Марат стрелял наверняка.

Так Александр с Маратом стали обладателями штабной машины. Прямо на ней прикатили в партизанский лес.

В каких только переделках не доводилось бывать юному

бойцу-партизану! Нельзя читать без волнения хранящийся в одном из архивов документ — наградной лист. В нем говорится, что разведчик штаба бригады имени Рокоссовского Казей Марат Иванович представляется к награде медалью «За отвагу». Здесь же читаем: «Марат Казей, несмотря на свою молодость, проявил себя настоящим патриотом Родины. Всегда Марата ставят в пример бойцам-партизанам. Выдержанный, смелый. Неоднократно участвовал в боях. 9 января 1943 года участвовал в бою в Станьковском лесу. Будучи ранен в руку, не отстал от своих товарищей. С призывом «Вперед!» пробивался сквозь огненное кольцо…»

С особой теплотой вспоминают о нем бывшие партизаны, его боевые друзья.

* * *

С бывшим партизанским комбригом Николаем Юльяновичем Барановым мы ездили на родину Марата, в село Станьково.

— Трудная весна была у Маратика в сорок третьем, — вспоминал Николай Юльянович. — Вот послушайте.

Стояли мы тогда в деревне Румок. Накануне 8 марта в Румке шла подготовка к празднику. Печь в хате, возле которой «колдовали» стряпухи, расточала тепло и вкусный, приятный запах, казалось, на всю деревню.

Давно уже партизаны не испытывали в душе такого праздничного чувства. В сводках Совинформбюро, регулярно печатавшихся в «Правде», пестрели уже названия знакомых мест, освобожденных Красной Армией. Партизаны нашей бригады знали: по соседству с ними действует еще одна бригада, а рядом с ней — другая. Вся белорусская земля превратилась в единый партизанский лагерь, и оккупанты в нем чувствуют себя прескверно.

Все это создавало радостное настроение. Радостное, но не беспечное: бдительности терять нельзя было ни на минуту. По-прежнему ходили на боевые посты партизанские дозоры, люди не расставались с оружием, не дремали часовые, несла свою службу партизанская разведка.

Утром 8 марта по ее донесениям стало известно: в Румок по разным дорогам, а где и полем направляются большие группы женщин. Многие несут детишек на руках. «Опять немцы где-то деревню спалили! — подумал я, получив такое известие. — А может, к нам на праздник?» Так или не так, приказано было освободить для детей самые теплые хаты.

Первые гости уже виднелись у леса, когда к штабу на взмыленных конях подлетели трое связных: «Товарищ командир! Подходят не женщины — переодетые немцы! Тревога! Тревога, товарищи!»

Конники понеслись вдоль деревни, поднимая бойцов. Впереди скакал Марат на своем Орлике. В седле мальчик держался хорошо. Полы его шинели развевались на ветру. Казалось, конь летит на крыльях.

Немного времени нужно было партизанам, чтобы приготовиться к бою, и все же никто из командиров не решался первым крикнуть «Огонь!». А может, недоразумение, ошибка? Ведь хорошо видны люди в платках и юбках у перелеска! Командир роты Аскерко предупреждает своих ребят:

— Первый залп вверх… Слушай мою команду! Огонь! И тут же «женщины» попадали в снег. Попадали так, как это могут делать лишь хорошо обученные солдаты. Распеленали они и своих «младенцев», превратив их в пулеметы и минометы. Аскерко не успел выкрикнуть вторую команду — упал, словно подрубленный, обливаясь кровью.

Над Маратом несколько раз проносились пули, пока доскакал он до штаба — хаты, ставшей командным пунктом разгоравшегося боя. Укрыл Орлика за углом. Здесь же беспокойно стояли еще две оседланные лошади. Их хозяева, связные-партизаны, лежали рядом со мной и вели огонь по врагу из своих автоматов.

Марат, скинув с плеча автомат, быстро пополз ко мне. А немцы уже начали забрасывать деревню минами. Из-за грохота и свиста Марат не слышал, что я говорил своему связному. Но вот связной повернулся, пополз к лошадям. Вскочил на своего коня; перелетев небольшую ограду, конь понес связного полем к сосновому бору.

Вряд ли связной успел преодолеть и половину пути. Падая, он зацепился ногой за стремя, и конь долго тащил его за собой. Потом рухнул в снег и конь.

Марат быстро смекнул, куда был послан связной. В семи километрах от Румка стоял отряд имени Фурманова. «Вот кому ударить бы по немцам с тыла! Надо фурмановцам обо всем сообщить!» Мальчик уже хотел было ползти к Орлику, но я увидал его:

— Вернись, Марат! Немедленно в укрытие! Слышу, второй связной просит:

— Дозвольте мне, товарищ комбриг! Я попробую… Много так наших немец-то положит…

Лишь только всадник выскочил из деревни, партизаны

ударили по фашистам из всех пулеметов, чтобы огнем прикрыть смельчака. Однако и тому не суждено было преодолеть поле.

Горело уже несколько хат. Из-за черного густого дыма трудно было наблюдать за боем. Но по выстрелам и разрывам можно было определить: трудно приходится партизанам. Санитары уже подтащили к штабу и укрыли за его стенами человек восемь раненых.

Не спрашивая ни о чем меня, Марат решительно пополз к своему Орлику.

— Подожди, сынок, — остановил я его. — Скачи прямиком, так вернее будет. А мы тебя прикроем…

Ведя огонь по врагу, я то и дело поднимал голову, чтобы глянуть на поле, по которому летел Марат. Его почти не было видно. Он прижался к высокой конской шее, словно сросся с ней. Черные султаны взрывов поднимались то впереди, то позади коня. До спасительного леса оставались уже считанные метры, когда Орлик внезапно споткнулся. Сердце у меня сжалось, как будто перестало биться, я закрыл рукой глаза, затем снова глянул на поле. Да нет же! Нет! Конь продолжал во весь опор нестись вперед и вперед. Рывок! Еще рывок! И все, кто наблюдал за Маратом, закричали «ура!» в честь его победы…

Когда у гитлеровцев за спинами внезапно появились конники отряда Фурманова, фашистский «маскарад» можно было считать оконченным.

И все же бригаде пришлось покинуть спаленное немцами село. Из донесений разведчиков было ясно: оккупанты решили двинуть против нашей бригады крупные силы.

Заканчивая рассказ, Н. Ю. Варанов сказал:

— Похоронив погибших товарищей, отряды ушли в глухие леса. Всякий раз, когда отправлялись «на работу» подрывники во главе с Михаилом Павловичем, бывшим станьковским учителем, Марат провожал их завистливыми глазами. Давно хотелось ему сходить на «железку». Но где там! Учитель и слышать об этом не хотел. Хоть он, может, и не сомневался в храбрости юного партизана, но все время отказывал Марату, ссылаясь то на его неподготовленность, то на другие причины. А Марат чувствовал, знал: не решается учитель брать его на такое ответственное дело без позволения на то командира бригады. Наконец парнишка рискнул отправиться со своей просьбой ко мне.

После недавнего сражения Николай Юльянович иначе и не называл мальчика, как сынок. Вот и на этот раз встретил он Марата в своей землянке приветливо. С явным удовольствием оглядел его маленькую, складную, подтянутую фигурку. И теплые веселые искорки зажглись в усталых глазах командира.

На просьбу Марата Баранов сказал:

— Что ж, я не возражаю. Ты, сынок, передай взводному наше с тобой решение и собирайся. Дорога у нас впереди, нелегкая.

Диверсионная группа состояла из десяти человек. Всю дорогу приходилось маскироваться, бесшумно пробираясь мимо вражеских постов. На второй день вышли к деревне Глубокий Лог. Там находилась одна партизанская явка. Чтобы двигаться дальше, необходимо было получить сведения у связного, который, разумеется, не подозревал, что в километре от деревни в кустах притаились партизаны. Идти в Глубокий Лог днем было слишком рискованно, а ждать до темноты — значит потерять часов шесть.

И тут Марат неожиданно предложил: «Я схожу». Скинул свою шинель и, оставшись в телогрейке, вытащил из рюкзака, лапти с онучами, изодранный треух. Все это Марат прихватил с собой на всякий случай. Подрывники повеселели.

— Молодчина, Марат!

Быстро переодевшись, мальчик смело пошел в деревню. Партизаны не выпускали его из виду, готовые в любую минуту прийти на выручку. Но все обошлось хорошо. Через полчаса Марат возвратился.

— Михаил Павлович! Через Глубокий Лог давеча группа эсэсовцев проезжала. Человек сорок. Немцы в Васильевке теперь. На Мостищи идти нельзя: дорога охраняется. На Слободу дорога тоже закрыта: засады.

Из донесения разведчика подрывники поняли: шагать и шагать им теперь обходными путями.

Апрельская ростепель сильно затрудняла продвижение. Отощали сугробы. Снег на дорогах стал водянистый. В лесу он был зернистый и сыпучий, как песок. И ноги часто проваливались до самой воды.

Вечером в тишине Марат расслышал дальний гудок паровоза. Мальчик просиял. Но один из подрывников, оставшийся с ним в лощинке, предупредил:

— Подожди еще радоваться-то.

У возвратившихся из разведки хлопцев были угрюмые лица. Выслушав их донесение, учитель приказал:

— Проверить снаряжение! Чтобы ни единого звука. Следите за моими сигналами!..

Время от времени в вечернее небо взлетала ракета, освещая всю округу. Тогда хлопцы падали на том месте, где заставал их выстрел: в снег так в снег, в лужу так в лужу.

Шум двигающихся составов, паровозные гудки были слышны совсем близко. И если бы идти нормальным шагом, то до железной дороги можно добраться через двадцать минут, самое

большое. Партизаны же смогли покрыть оставшееся расстояние только за три часа. Снежно-ледяная корка топи, по которой двигались теперь подрывники, гнулась под ногами. Иногда она не выдерживала, и учитель, тащивший рюкзак со взрывчаткой, проваливался по колено в вязкую торфяную жижу. Раз, засмотревшись, угодил в ледяную гущу Марат. Все тело свело судорогой, и в сапоги проникла колючая, как гвозди, вода.

Становилось все холодней. Мокрые ветви обмерзали. Когда партизаны отводили их рукой, они звенели.

Спина у Марата стала мокрой от пота, ноги, донельзя ослабевшие, просто подкашивались. Но думал он только об одном: «Скорей бы взорвать».

Каким же счастливым показалось мальчику то короткое мгновение, когда из своего укрытия увидел он сноп огненных искр, вылетевших из трубы пыхтящего локомотива! Кто-то крепко стиснул ему локоть. Марат обернулся и увидел, вернее, почувствовал рядом Михаила Павловича.

— Скоро уже, — шепнул на ухо учитель.

Хлопцы то исчезали куда-то, то, тяжело дыша, выныривали из темноты. Наконец один из них передал Михаилу Павловичу что-то в руки и лег. Рядом расположились остальные партизаны.

Подрывники лежали в своем укрытии примерно час. За это время в сторону Минска прогромыхали три эшелона и в обратном направлении столько же. Всякий раз с приближением состава сердце у Марата сжималось. Вот-вот грянет взрыв! Но проходил эшелон за эшелоном, а партизаны почему-то не взрывали их.

С запада снова донесся шум большого состава. Михаил Павлович насторожился.

— Так, — произнес он полушепотом, а Марату почудилось, будто учитель громко крикнул: — Так… теперь можно.

— Марат, держи-ка! — протянул он мальчику подрывную машинку, от которой тянулся провод к минам. — Как скажу, так сразу крутнешь ручку.

Поезд шел на большой скорости, но Марату казалось — ползет черепахой. Никогда еще не переживал он таких волнующих, напряженных минут.

Между деревьями едва зажелтел «глаз» паровоза. Из его поддувала, освещая снег розоватым светом, сыпались угольки. Судя по стуку колес, помчались вагоны, тяжело груженные платформы. Рявкнул гудок паровоза, и почти одновременно Михаил Павлович крикнул:

— Давай, Марат!

Мальчик моментально повернул рукоятку подрывной машинки. Короткая вспышка озарила платформы и стоящие на

них орудия. Гул пронесся по лесу. Затем — скрежет металла, треск ломающегося дерева.

Горячей воздушной волной Марата оттолкнуло назад, но он снова подался вперед, не отрывая взгляда от железнодорожного полотна. Вагоны катились под откос, как консервные банки, натыкаясь один на другой.

— Отходи!

Радостное возбуждение не покидало Марата всю дорогу.

Вспомнились мама и Ада. «Сегодня я отомстил за них!» — думал Марат.

…Словно зеленым пухом обсыпаны деревья в лесу. На больших пораненных березах — бледно-розовые подтеки молодого весеннего сока.

Следуя на Орлике за Лариным, начальником разведки штаба бригады, Марат строго придерживался дистанции в две лошади. Тихо-тихо. Слышен даже шелест птичьих крыльев над головой.

«Вот я и опять в разведке…» Подумав об этом, Марат еще больше приосанился, крепче сжал в руке повод.

Пока пробирались по заросшей нежной молодью просеке, заметно стемнело. Пошел теплый дождь. Конники выехали на лесную опушку, и Ларин тотчас умолк. Лицо его сделалось суровым, глаза сузились.

— На-ка глянь, — протянул начальник разведки бинокль своему напарнику. — У тебя глаза позорче.

Хоть и сгущались сумерки, Марату все же удалось разглядеть лежавшую впереди деревеньку Хороменское. По всей вероятности, фашистов в ней не было. И все-таки Ларин решил переждать до полной темноты, чтобы незаметно пробраться в село.

— Там мы с тобой, Марат Иванович, передохнем малость, — говорил он. — Лошадей покормим.

Разведчики надеялись получить в деревне кое-какие сведения от связного Игната Фомича. И надо было еще вручить Фомичу пачку свежих листовок.

Деревушка, казалось, вымерла: ни звука, ни огонька. Но разведчикам известно — тишина бывает обманчива, особенно ночью. И они прислушиваются к тишине, всматриваются в темноту до боли в глазах. Марат нащупывает гранаты за поясом, а Орлик ступает осторожно, словно понимает: он — в разведке.

Гумнами подъехали к одной хатенке, ничем не выделяющейся среди десятка других серых, слепых хат. Ларин трижды стукнул рукояткой плети по наличнику.

Старик, стоявший на пороге, закашлялся, загораживая согнутой ладонью свечу.

— Вас-то я нонче не ждал… Да заходите в хату, чего мокнете?..

Партизаны вошли, сели на лавку, но раздеваться не стали, только шапки сняли. Достав с печи полушубок, хозяин постелил его на лавку. Принес подушку. Молча вытащил из печи чугунок, бережно опустил его на стол.

— Попотчевать вот, хлопцы, вас нема чем. Бульба вот… Поешьте уж, поешьте трошки. А я пойду покудова коням что-нибудь брошу…

Ларин вынул из чугуна пару нечищеных картофелин, положил одну перед Маратом. Но есть мальчику не хотелось. Дрема так и клонила к подушке. Заметив, что его дружок клюет носом, еле сидит, Ларин предложил:

— Приляг, Марат, сосни. А мы тут с Фомичом потолкуем.

Не раздеваясь, мальчишка как сноп повалился на сладко пахнувший кислой овчиной хозяйский кожух.

Проснулся Марат от сильной тряски. Ларин с Фомичом тормошили его.

— Скорее! Немцы!

Марат вскочил на ноги, нашарил автомат.

— На коня — и к лесу! — командовал Ларин. — Держи прямо к бору! Я — правее.

Низко пригнувшись к конской гриве, Марат смотрел только вперед, на зубчатую оборку леса, чуть вырисовывавшуюся в предрассветной мгле. Как далеко была сейчас эта живая, зеленая броня партизан!

Вдогонку уже летели вражеские пули. Торопливо забил за спиной пулемет. Орлик под Маратом вздыбился, затем рухнул на землю. Не чувствуя боли от падения, Марат побежал по полю к кустам. Они были совсем близко, высокие, густые. «Только бы добежать!» Оставшуюся сотню метров мальчик уже полз, потому что пули свистели над самой головой.

За кустарником оказалась ложбинка. Марат сполз в нее. Не отрывая глаз от поля, он вытащил из-за пояса две гранаты, положил их перед собой. До леса ни за что не добежать — это ему было ясно.

Фашисты подошли настолько, что по их зеленым мундирам можно было определить, кто солдат, а кто офицер. Марат долго целился в офицера, шедшего впереди. От возбуждения руки дрожали, и он несколько секунд никак не мог взять фашиста на мушку.

У Марата была надежда, что вот-вот вместе с ним ударит по фашистам еще один автомат. Не знал он, что Ларин не успел доскакать до леса и, сраженный, упал посреди поля.

Марат бил из автомата короткими очередями до тех пор, пока не кончились патроны. Когда же фашисты подбежали совсем близко, он швырнул гранату. Раздались стоны и вопли раненых. Теперь Марат поднялся во весь рост и шагнул навстречу врагу:

— Берите меня! Берите же!

В руках он зажал вторую гранату, выдернул из нее предохранитель и ринулся к сгрудившимся и опешившим гитлеровцам… Столб пламени взметнулся в воздух.

Ю. Рост
Хлеборобы войны

В селе Пустынь Пензенской области, как и во всех селах, мужиков не было. Только женщины, девчата, дети и престарелые. Собрали девчат шестнадцати-семнадцати лет, которые покрепче, и послали учиться в соседнее село Покровская Арчада. Недолго они учились.

Зимой пошли на курсы. Весной пахали.

Еще до пахоты готовили свой СТЗ. С металлическими колесами на шипах, без кабины, без стартеров и пускачей, они и новые требовали ухода и силы не женской. Да ведь война. Надо родину-то кормить. Вот они, трактористки войны: Настя Быличкина, Ксения Баулина, Вера Полунина, Мария Попова.

Анастасия Григорьевна Быличкина:

— Работала я на тракторе с весны сорок второго и до того, как войне замириться. Кавалер вернулся с войны живой. Родила троих, вырастила двоих. Муж работал комбайнером. Потом умер. Детям дали дорогу, теперь они на своих местах, а я с внучком.

— А у меня вот детей не было, — сказала Попова, — это сестры дочка. Я ее пестую.

Ну, а об жизни той что вспомнишь. Тяжесть мы, как все, несли фронтовую. Ночевали в полях. Зерно сдавали — на семена не оставляли. Уж конечно, как мужики, мы поначалу не пахали. Умения не было. Опытности. Бывало разъехаться не могли, и виляли, и вкривь шли, а бригадир дядя Гриша Баулин — тот не кричал. Понимал — дети ведь. Только скажет: «Эх, девки, девки!»

Помню, первый раз выехали… Утром заморозок, а днем растопило солнце, и трактор в грязь ушел. Шел председатель дядя Тимоша Кирилин: «Что стоите, девчата?» — «Нужна нам помощь — бревно или вага, чтобы под трактор подложить». — «Идите за мной». Взяли мы втроем, понесли с Верой Полуниной вдвоем. Слабый здоровьем был дядя Тимоша. Идем мы под бревном к трактору и плачем в ручьи. И председатель плачет. А что поделаешь, ни работников других, ни машин. А хлеб нужен. Да и то сказать, как ни тяжело нам было, не стреляли по нас и изб наших не жгли.

Когда палец мне зимой на тракторе оторвало, я работать на нем какое-то время не могла, так скот гнала в другую область. Тогда и видела разбитые дома, танки разбитые, машины разбитые, трактора. Хаты без крыш и совсем сожженные…

Снова на трактор села. Плуги были трехлемеховые, без

автоматов, а сверху плуга — вага, бревно, и на него две бороны прикреплены. Поедешь пахать, ох, бревна эти поворочаешь, поплачешь — и опять.

А перетяжка… Хорошо в сухое время. Ложишься на спину под трактор и картер отымаешь. Отвертываешь болты, крышку тяжелую на колени и грудь, как одеяло. Сколько прокладок надо отнять? А валы коленчатые… Масло и в Глаза, и в рот, и по лицу. Руки по локоть в пузырях.

Керосином умывались, а руки землей оттирали. На кого похожи! А покрасоваться хотелось. Война-то — четыре года жизни, самых молодых.

Что ни день — в Пустыни вой от похоронок. Но мы духом не падали. Неделями с поля не уходили, а песни пели.

На всех девчат один парень был — Иван Мишанин. Тракторист. Вроде инструктора. А потом и он ушел на фронт и погиб. А гармонисту нашему Ремонтову Владимиру было двенадцать годов.

А еще нарассказала Анастасия Григорьевна, как она, Настя Быличкина, чуть не погибла. Однажды порывом ветра ее платье забросило в магнето и стало наматывать на вал. Ее притянуло к горячему маслянистому мотору… Но бригадир успел выключить мотор, взял нож и полоснул по ткани. И стояла посреди поля девчонка, угловатая, белотелая, не чувствовала стыда за свою наготу.

А вокруг нее стояли такие же молодые, красивые подруги и плакали.

Отвернулся бригадир дядя Гриша, сказал: «С этого боку к трактору больше не подходить!»

Ксения Федоровна Баулина:

— Работала я трактористкой семь лет. У матери нас было трое, я — старшая. Сначала лес рубила, а потом села на трактор. Очень были плохие тогда трактора.

Тяжелей любой работы ремонт был. Ремонтировали прямо на морозе. Пальцы примерзали к стылому металлу.

Спасибо, бригадиры наши старенькие дядя Гриша Баулин и дядя Лева Красиков помогали нам, как за дочками ходили. А уж как пахать, как мы на тракторе, а кто-нибудь из них рядом идет и говорит, что правильно, а что нет. Но ведь не уследишь.

А как заводили трактора! Надевали на рукоятку трубу, все на нее наваливались. Если в обратную сторону отдавало, все наземь валились. И смеялись и плакали.

Пахали и ночами. Хорошо, если луна. А то одна впереди с фонарем идет, а ты за ней едешь. И страшно ведь было. Уж и не знаешь, то ли ты в тракторе заснешь, или она с фонарем, сонная,

упадет под трактор. А еще волки кругом воют.

Мария Феофановна Попова:

— Работала я на комбайне «Ростсельмаш-Сталинец». Мне было шестнадцать лет. Сначала с братом Петром, а потом, как ему исполнилось восемнадцать и ушел в армию, — с братом Иваном. В семье нас было восемь, я старшая. Питание плохое.

Тяжело было, страшно вспоминать. За семенами чуть не всей деревней ходили в Студенец. Даже дети несли свои мешочки.

Вы вот спрашиваете, что мы вспоминаем о своей молодости. Я и не знаю, что сказать… Не удается ничего.

Где же нам молодость вспомянуть? Нам ведь ее не досталось.

Вера Дмитриевна Полунина:

— Из всех моих подруг мне счастье вышло, хоть работали мы все одинаково. Может, здоровьем покрепче. У меня пятеро детей. Четверо комбайнеры, как их отец и дед. Видели, комбайн «Нива» у нашего дома стоит? Это отцов.

Трактор я очень любила, но от одной любви трактор не пойдет. Нужны были запасные части. Теперь механизаторы ждут, когда им их подвезут. А мы не ждали. Мешок за плечи — ив Пензу. Наложишь мешок поршней, цилиндров, радиаторов, шатунов, железяк всяких — и обратно. Верст двадцать пять от Студенца несешь два пуда, не меньше. Руки до земли опускаются, плечи обвиснут, а ни одной детали не бросишь. Каждый винтик, гаечку хранили. Уж казалось, всего натерпелись — и работали, как мужики, и спали в поле, в будке, вповалку. И не приласкал нас никто, ни с кем на лавочке не посидели, под липами не гуляли. Но все пережили. Выстояли. Победили.

Т. Тимошенко
Белая шубка

Мне часто снится Первоуральск. Не тот, каким он стал сейчас, а военной поры: базарчик, домишки. И прокатный стан, мой стан.

Там теперь не мостик, а кабина оператора с кондиционированным воздухом и пультом автоматического управления. Операторами работают только мужчины, каждый может простоять смену в белоснежной рубашке. А у меня за сорок лет не сошли на ладонях мозоли от ручек этого стана.

Помню, как увидела его впервые. Связка горячих труб наверху, внизу — плывут по роликам раскаленные добела трубы. А на мостике всем этим движением управляет один человек. Нас, пятерых девчонок, эвакуированных ремесленным училищем из Харькова, привел сюда мастер.

Дождалась я того дня, когда оператор Вера Ивановна предложила: «А ну, подайте мне на автомат вот ту шуструю малышку!» Ох, как забилось мое сердце! Вера Ивановна оказалась терпеливой учительницей. Говорит мне однажды: «А ну, давай пробуй сама! Только помни — малейшее твое упущение, и горе случится. Не на ручки гляди — на вальцовщиков».

Прокатала трубу, смотрю — одна я на мостике! Почувствовала себя такой крохотной и слабой. Заметил мою растерянность старший вальцовщик, подбодрил: «Не тушуйся, дочка!» И я успокоилась. Когда прокатала пятьдесят труб, поднялась на мостик. Вера Ивановна смеется, а у меня слезы текут…

В 1942 году открыли у нас новый цех, и меня перевели туда уже не ученицей, а оператором. Иной раз за смену не присядешь, в ногах колики, потом уже ни ног, ни рук не чувствуешь. Ручки у стана железные, холодные, цех весь открыт, все от холода застывало — и солидол, и масло. Конечно, пришлось бы совсем трудно, если бы не всезнающий мастер — Михаил Яковлевич Грабарник, заменивший мне в тот год и отца, и мать. Он, чуть какая заминка, всегда оказывался рядом. Чтобы я доставала до ручек, старшие вальцовщики сделали мне специальную подставку.

Появились и у меня, еще несовершеннолетней, ученики: Нина, Алла и Зоя. Нашей молодежной смене вскоре было присвоено звание комсомольской фронтовой. О нас заговорили на заводе.

Жили мы в общежитии вдвоем с Пашей Пономаревой. Однажды о Паше написали в «Комсомольской правде», напечатали ее портрет. Посыпались письма с фронта. Один писал: ношу твою фотографию с собой, иду с ней в разведку и в душе с тобой разговариваю. Другой: сижу в окопах, затишье, прочел газету — положил в карман к сердцу, кончаю до следующего письма, пошли танки…

И вдруг вместо второго письма от него получаем мы с Пашей газету, простреленную и в крови. Очень мы тогда горевали. Бывало, Паша придет с работы уставшая, снимет ботинки с портянками, прочтет письма и говорит: «Таня, что мне делать? Будь у меня сто сердец, все бы я им отдала, а то напишу отказ, а ему — в бой».

Как-то потеряла я продуктовые карточки на целый месяц. Был у меня в запасе килограмм хлеба. Стала делить на дни, но, как ни дели, долго не протянешь. Через четыре дня Михаил Яковлевич и говорит мне: «Что-то ты мне не нравишься. Пойди-ка поешь». Пошла я будто в столовую, а сама свернула под печь, сижу. Когда вернулась на стан, Михаил Яковлевич недоверчиво посмотрел на меня и спрашивает: «Что ела?» Ну, я наобум и говорю: «Суп-лапшу». Ушел он в столовую. Вскоре вижу, идет ко мне чернее тучи. Не ругал, только протянул мне свои талоны: «Сходи поешь, утром будем решать, как быть». Утром выдали мне новые талоны.

Случалось, что работали по две смены, а то и больше. А после работы Валя Терехин, комсорг, нас созывает: срочно снег с путей расчищать, чтобы наша продукция быстрее шла на фронт. Нас никто никогда не подгонял, только собственное сознание. И сейчас горжусь: какое было наше поколение!

Одному удивляюсь: откуда сила бралась? И доброты на всех хватало. Иду как-то и вижу: на подоконнике стоят трое малых детишек. Смотрят в окно и ревут. Старшенькому лет. семь. Не смогла пройти мимо. Зашла. Оказалось, три дня назад мать уехала за продуктами. В комнате холодина. Посадила их на постель, укрыла одеялом ватным (помню, оно было из маленьких квадратиков разноцветных). Еды у ребят никакой. А у меня за пазухой, под фуфайкой, хлеб, только получила. Сидят они на кровати, как галчата, пощипывают хлебушек и поглядывают на меня. Побежала во двор, нарубила дров, мороз сорок градусов, дрова-то хорошо рубятся на морозе. Затопила печку, прибрала в доме, куда и усталость делась! Сварила им картошки. На другой день у этого дома ко мне бросилась женщина, со слезами стала меня благодарить.

Еще вспоминаю, как мы все выглядели. Мыла не хватало, стирали в глине, руки машинным маслом мыли, опилками

вытирали. А что носили — шаровары из одеяла! Сами кроили, сами шили вручную. Но все равно молодость свое брала — в самодеятельности участвовали.

Однажды подходит Михаил Яковлевич в начале смены и говорит: «Завтра в клубе слет стахановцев. Тебе нужно быть».

Захожу в клуб, со стены смотрит на меня знакомая девочка с двумя толстыми косами. Это же мой портрет! Тихонько села в самом последнем ряду. Стали вызывать в президиум. Слышу: «Начальника цеха Соболева… начальника смены Грабарника». И вдруг: «Нашу Танечку Тимошенко». Я обомлела. От волнения плохо помню, что говорили ораторы, вдруг слышу: «Нашей воспитаннице Танечке…» Я поднимаюсь, и мне вручают премию: белую шубку и пимы! А директор говорит: «Ну, скажи что-нибудь о себе, о стане, как вы достигли высоких показателей в работе».

Подошла я к трибуне, а меня из-за нее не видно. Говорю, и во всем зале замелькали носовые платки: война, она не обошла горем ни одну семью, многие уже потеряли и детей, и мужей. Наверное, глядя на меня, люди обо всем этом думали.

В конце вечера директор Яков Павлович Осадчий попросил: «Надень-ка шубу». Кто-то из женщин повязал мне большой белый шерстяной платок. Шла я домой, вокруг тишина, а мне петь охота. И снег под ногами в такт шагам подпевал, и больше всего хотелось, чтобы не кончалась дорога, не кончалась радость. И что бы потом со мной ни случалось, я всегда благодарна судьбе уже за один тот вечер.

Прошло много лет. Я давно живу в Евпатории. Но годы войны никогда не уйдут из памяти. Особенно всколыхнула воспоминания телепередача «От всей души», с Первоуральском новотрубного завода.

Я увидела на экране комсорга военных лет Валентина Терехина. Он — почетный металлург, депутат Верховного Совета СССР. А вот и моя Паша Пономарева, знатная уральская вальцовщица. И другие, знакомые и незнакомые.

На следующий день написала я письмо в завком. Первым откликнулся Валентин Гаврилович Терехин: «Здравствуйте, дорогая Танюша! Ты меня извини, что я тебя так называю, но я имею на это полное право, я принимал тебя в комсомол. Ох, и наделало твое письмо у нас переполоха! Приходили бывшие мастера, начальники участка твоего, цеха, радовались, что потерянная на столько лет Танюша нашлась». Написал мне и мой дорогой учитель Михаил Яковлевич Грабарник.

…Ночами мне все снится Первоуральск: деревянные домишки, узкие тропки в снегу. Самые трудные и самые счастливые годы в жизни. А со стены, с портрета, смотрит

девчонка в белой пушистой шубке.

Л. Успенский
Птичка в клетке

Летом 1943 года командование приказало мне пойти на «энский завод», как говорили тогда, охраняя военную тайну. Посмотреть, что там делается, и заодно почитать рабочим мои фронтовые рассказы.

«Энский завод» до войны выпускал типографские машины — печатать газеты и книги. Теперь он изготовлял какие-то части реактивных минометов «катюш». Какие? Спрашивать об этом не полагалось: военная тайна!

Я пришел на завод в обеденный перерыв.

— Пока народ кушает, — деликатно сказали мне, — хотите пройтись по цехам, посмотреть наше хозяйство?

— Понятно, хочу. Пошли.

Был теплый день, солнце. В пустых цехах стояли молчаливые станки: обед. Окна открыты, лучи падают косо, освещают всякое нужное железо. Людей — никого.

И вдруг я остановился…

В цеху пела птица. Зяблик или, может быть, чиж.

Инженер на костылях, который меня вел, взглянув на меня, махнул рукой к окну. У окна стоял станок, по-моему — токарный. Вокруг него были зачем-то устроены деревянные мостки, на стенке рядом укреплен жестяной вымпелок: «Станок ударника П. К. Соколова». А над станком, в оконном проеме, в солнечном луче, висела клетка, и в клетке то прыгал, то чистил носик о жердочку, то громко пел и сам себя с удовольствием слушал веселый птиченок. И впрямь чиж или зяблик.

Окно на перерыв было распахнуто настежь. За ним росла береза; теплый ветер то вбрасывал в цех, то вдруг убирал на улицу одну из ее длинных веток-кос.

— Ударник-то ваш — любитель птиц, по-видимому? — спросил я у инженера.

— Помешан на птицах!

— Старик, поди?

— Да нет, не старик… — коротко сказал инженер. — А вы его увидите. Пойдемте, ждут.

— Вы меня познакомьте с птицелюбом этим, — попросил я.

— Пожалуйста!

И мы пошли.

Шел я, признаюсь, не без легкого трепета: читать перед старыми питерскими рабочими… Ого! Гвардия, ветераны

революции! Перед такими людьми каждое слово взвесишь, каждую мысль трижды продумаешь.

В столовой собралось человек сорок. Они сидели за столами и слушали меня удивительно хорошо. Понятно: моряков в Ленинграде уважали и любили всегда, а уж в блокаду — особенно. На мне была флотская форма, капитанские погоны.

За столом против меня восседало и верно несколько усатых мужчин. Но в смешных местах эти усатые начинали хохотать раньше остальных, да и замолкали они позже. Один даже вытирал глаза белым с каемочкой платком. В местах же, где речь шла о печальном или героическом, они все, как один, суровели, и морщины на их лбах разглаживались труднее, чем на других.

А эти «другие» были. Среди стариков я заметил пятерых женщин в ватниках и около десятка подростков. Это меня не удивило. «Ясно, подобрали оставшихся в городе ремесленников и пристроили к делу, — подумал я. — Главным образом подкармливают, конечно!»

Самый низкорослый из этих пареньков сидел совсем близко, прямо передо мной, рядом с коренастым пожилым человеком — похоже, слесарем или токарем. На нем была старенькая форменная одежда мышиного цвета. Он был худоват, малокровен, казался одиннадцати — или двенадцатилетним.

С первого же слова он как уставился на меня неподвижными, большущими темно-серыми глазами, так и не оторвался до конца. Когда матросы — там, в моих рассказах, — ходили в четвертую атаку на берегу, когда катера неслись на противника под огнем вражеских батарей, когда девушка-снайпер внезапно разглядела фашистского стрелка-аса за можжевеловым кустом у Копорья, он так ломал пальцы от напряжения, так весь подавался вперед, так закрывал глаза, что скоро я стал рассказывать как бы для него одного: очень уж переживал он все вместе с моими героями.

Коренастый слесарь тоже видел это. Чуть улыбнувшись в усы, он вдруг поднял и положил на худенькое плечо соседа свою большую руку. И когда тот дергался от волнения, он очень ласково пожимал это ребячье плечо: «Ну, ну, мол… Чего уж там! Переживем!»

Так это у него хорошо получалось, что мне вдруг подумалось: «А пусть этот кряжистый дядя и окажется тем самым любителем птиц! Смотрите, как здорово: орден у него. Красная Звезда, фронтовик, значит. И ударник. И с птицей возится. И вон он с парнем как прекрасно…»

Я кончил, мне похлопали.

Народ встал, меня окружили, заговорили наперебой…

— Товарищи, — сказал я, — познакомили бы вы меня с

Соколовым Не Ка… Это — он? — И я указал на слесаря.

— Никак нет, — ответило мне несколько голосов. — Это тоже Соколов, да Не Эн, Павел Никифорович. А ну-ка, дай-ка нам тезку сюда…

И плечистый человек, которого я в воображении своем признал за Соколова Пе Ка, ударника, поймав крепкой рукой своей за воротник того самого глазастого, тощенького парнишку, подтянул его к нам.

— Вот он, товарищ капитан, теза мой, наш Пе Ка знаменитый! — хрипловатым голосом отставного боцмана или старшины и с такой гордостью, точно своего собственного прославившегося сына, представил он мне упирающегося мальчугана. — Чудо блокадного Ленинграда! Четырнадцать лет шесть недель отроду, как один день, а впору старикам в пример ставить. За станком взрослую норму четвертый месяц дает. При налетах вражеской авиации главное — Эм-Пе-Ве-О: еще противник где, а он на посту, на крыше… Запрещали! Не слушается, хоть колючей проволокой привяжи; в момент на втором цеху на крыше: оттуда дальше видать. Да что же ты помалкиваешь, Петр Константиныч? Садись против капитана, беседуйте. Рассказывай про себя.

Полное отчаяние выразилось на бледненьком — одни глаза! — лице мальчишки.

— Да, Павел Никифорыч, да я… Да что говорить-то? Я…

И тут произошла вторая неожиданность. Хотя — какая там неожиданность! — произошло самое тогда обычное. Вдруг, как гром с ясного неба, взвыла из радиорупора мощная общегородская сирена. Тотчас же — у-у-у-о-о-а-а-а! — ее горестный вопль подхватила вторая, местная, на заводском дворе… «Воздушная тревога! Воз-душная тревога! Воз-душная тревога!» — раздался нечеловеческий, давно записанный на пленку, всем знакомый холодный голос репродуктора. И…

И тут П. К. Соколов, храбрец Пе-Ве-О, ударник труда, помертвел. Нет, не помертвел — он забился, вырываясь от своего однофамильца:

— Ой, Павел Никифорыч, ой! Отпустите меня ради бога! Не могу же я… там же — окно открытое!

Старый токарь (может быть, он был слесарем — не помню) поднял брови, промычал что-то и разжал пальцы. И храбреца не стало: исчез, как воск от лица огня…

— Побежал! — проговорил Соколов пожилой. — Думаете, струсил? А он и верно струсил. Но — за кого? За чижа своего, за такое сокровище! И ничего смешного нет: у него еще в сорок втором дом разбомбило. Была мать — нет матери. Сестренка

была, лет пяти, он ее нянчил — нет сестренки! О ком ему хлопотать, заботиться? А окно-то открыто; вдруг волной клетку расшибет, птицу ударит? Пока птичка в клетке живая, он теперь — клетку в руки, мигом в убежище; спрячет — и на крышу. Вот там он ничего не пугается. Там он первый герой.

…Петя Соколов пришел на завод осенью 1941 года. То есть как — пришел? Привели. После бомбежки попал в госпиталь. Спасся чудом: две стены, падая, сошлись на нем шатром и не распались. Его отрыли через сутки.

После госпиталя он убежал из общежития ремесленников на фронт, к Пулкову. Вернули: куда ж такого? Еле живой парнишка… И вот — завод. И тут оказалось, у этого Соколова — талант. Точно родился токарем, да каким! В Ленинграде в то время каждая пара рук была вот как дорога. Приспособили ему самый маленький станок, «самый малогабаритный», мостки сделали: так-то ему не дотянуться до суппорта. И вот начал он работать…

— Зло работал, товарищ капитан, точно на деталях свою беду срывал. Но работал классно, всю зиму…

А весной заметили: стал запарывать детали. Задумываться, что ли… Почему? Присмотрелись, а это — воробьи. Свили под окном гнездо, вывели детей — чириканье, возня. И он — ну мальчишка же еще! — как на них заглядится, станок «вз-вз», а он все забыл. Со столов крошки собирает, им сыплет на подоконник…

— Ну вот, — торопливо проговорил Павел Соколов, Соколов-второй, — придумали, добыли ему чижа…

— Придумали! Добыли! — зашумели вокруг. — Это он сам все придумал — Никифорович! Ну, как же: тезка, однофамилец, дружба у них получилась… И где он посреди блокады птицу достал, вот фокус…

— На Островах поймал, — неохотно сказал Павел Никифорович.

— То-то, что на Островах, надо же! Ну, клетку, конечно, сделали, повесили все хозяйство с вечера над станком, смотрим. Он пришел, увидел… Думали — помрет. Верит и не верит: «Это — мне? Это — мой?» Потом замолчал, руки к груди прижал, стоит и сказать ничего не может… Работа пошла как штык, показатели растут. Но к клетке не подойдите: кидается как зверь. И вот сами вы видели: обстрел или бомбежка — пока чижа в убежище не стащит, весь колотится, боится. За себя — ничуть, а за чижа — как за ребенка…

— А что? Он у него единственный остался, которому еще помощь нужна, — сказал тихий женский голос. — Эх, моя бы

воля, я бы этого Гитлера проклятого на шурупчики-шайбочки всего разобрала. За одного Петю этого, за его сиротство горькое…

— Разберем, Наташа, — тотчас же ответили женщине. — Будь спокойна, разберем. И его, и еще многих. Не мы, так другие.

Когда я слышу слово «Ленинград», я вспоминаю блокаду и вижу перед собою четырнадцатилетнего токаря Соколова и над ним, в солнечном луче, птичку. Птичку в клетке. Не могу забыть…

М. Шиманский
Колька, синьор Никколо

Не думал, не гадал Николай Степанович, что первый день лета принесет ему весть радостную и волнующую. Вдруг узнал, что хотят с ним встретиться школьники города Жодино, послушать о том, как он попал в Италию, как воевал там против фашизма. И потерял покой. Так всегда бывало, когда его приглашали рассказать о тех годах, — столько сразу наплывало воспоминаний.

В 1941-м ему стукнуло тринадцать. В сорок четвертом попал в Италию. Первое воспоминание об этой стране — горы. Они открылись перед ними на рассвете — голубоватые, таинственные. «Горы! — сказал Колька своим товарищам. — Вон они!» — и показал рукой вперед, как будто боялся, что ребята могут и не заметить их. «Наконец-то», — выдохнул Федор и не сел, а свалился на землю. Дмитрий же, не говоря ни слова, лег на спину, закрыл глаза…

Они все еще не верили, что ушли от той страшной железнодорожной насыпи, от дикого грохота поезда, проносящегося над ними. Сколько же суток перед этим они мучились в товарняке? Куда их везли, никто не знал. Колька, худенький, бледный, оборванный, притаился в углу теплушки. Рядом сидели двое мужчин — Дмитрий и Федор. По крайней мере, так они себя назвали, когда знакомились в дороге. «Как ты-то угодил к немцам? — спрашивал Дмитрий. — Ребенок еще…» Его схватили во время облавы в Могилеве, и больше не увидел Колька ни своей родной деревни Сидоровичи, ни отца, ни матери. Затолкнули в теплушку вместе со взрослыми, и много дней трясся он в поезде, голодный и холодный. «Держись, парень, за нас», — подбадривал Дмитрий.

Колька присматривался к своим новым знакомым, и не давала ему покоя мысль: «Сказать или нет? А то вдруг привезут в концлагерь — и все тогда…» И незаметно ощупывал полу своего бушлата. Все в порядке: пилка-ножовка на месте. Колька прихватил ее еще в Могилеве, в мастерских. И спрятал в бушлате. Маленькая, тоненькая, ее трудно обнаружить. И еще у Кольки был нож, отличный немецкий нож. Его не обыскивали, пилка и нож остались при нем.

Поезд остановился на какой-то станции, и тут налетели английские самолеты, началась бомбежка. В суматохе к вагону подбежали два парня и бросили в дверь небольшую булочку.

Дмитрий схватил ее. Когда поезд тронулся, начал аккуратно разламывать на маленькие кусочки: для всех. И вдруг в хлебном мякише увидел бумажный комочек. Это была записка, причем на русском языке: «Удирайте из поезда, здесь есть партизаны».

Вечером Колька показал Дмитрию и Федору пилку и нож. Сообща решили: прорезать в полу вагона дыру. Наконец дыра готова. «Лезь первым, Коля», — сказал Дмитрий, впервые называя его Колей, как будто стараясь придать мальчику смелости перед столь тяжелым испытанием.

Несколько секунд над Колькой стоял чудовищный грохот. Он вдавил его в землю, оглушил. Всего несколько секунд, но они показались вечностью. И как только отгрохотал над ним последний вагон, Колька вскочил на ноги, рванул в сторону от железной дороги. И с ходу остановился, как будто споткнулся о что-то невидимое. Прямо перед ним — стена. Попробовал взобраться на нее, однако сорвался, попытался еще раз…

Стена была гладкая и высокая. Пригибаясь, он побежал вдоль. Все-таки повезло: удалось в одном месте вскарабкаться, перекинуться через стену. Очутился на кукурузном поле. И сразу же увидел Дмитрия и Федора. «Скорее от насыпи, — шепчут они. — Надо искать горы. Партизаны — там».

Шли, не останавливаясь, всю ночь. К рассвету иссякли последние силы. Залегли в жиденьких кустах и смотрели на горы. Надо было собраться с духом, решить, как быть дальше. «Дом, — опять еле слышно сказал Колька. — Видите?» В самом деле, невдалеке виднелся аккуратный, беленький дом. Но чей, кто в нем? «Все равно, надо зайти, — вздохнул Дмитрий. — Иначе в горы не доберемся». — «Пойду», — сказал Колька.

И пошел, хотя прекрасно знал: в случае опасности нельзя рассчитывать на чью-то помощь — чужая земля, а у его товарищей оружия нет.

Недалеко от дома женщина поправляла виноградные кусты. Колька подошел к ней и сказал: «Здравствуйте!»

Женщина подняла голову, с удивлением посмотрела на мальчика. Что-то поняла — в ее глазах мелькнуло беспокойство. Бросила быстрый взгляд на дорогу, лежащую невдалеке, заговорила быстро-быстро, повторяя одно и то же слово, похожее на слово «одесский». (Уже позже он узнал: женщина говорила «тэдэско», что означает по-итальянски «немецкий»). «Я не одесский, — сказал Колька, — я из Белоруссии». — «А, Руссиа бьянка», — торопливо кивнула женщина.

Она дала Кольке знак обождать, а сама побежала в дом. Оттуда вышел парень и пригласил Кольку в дом.

Вскоре они сидели в доме уже вчетвером — трое русских и

итальянец. Хозяйка поставила на стол тарелку макарон, парень принес бутылку светлого вина. «Здесь вокруг немцы, — объяснил кое-как парень, — а в горах партизаны. Там есть и русские. Я проведу вас к ним. А пока будете жить в кашане. До тех пор, пока не схожу в горы и не вернусь обратно».

Трое суток жили ребята в кашане. Наконец вернулся парень с двумя мужчинами. Тот, что постарше, с густой окладистой бородой, сказал: «Я вас поведу в свой партизанский отряд. В дороге не разговаривайте, на все вопросы буду отвечать я. Здесь немцы».

Спустя сутки они были в партизанском отряде. Итальянцы встретили их криками: «Ура! Русские пришли!»

Так началась партизанская жизнь Кольки Фролова.

Воевали в бригаде имени Гарибальди не одни итальянцы. Были здесь и французы, югославы. Были и русские парни, бежавшие из фашистского плена. Фролову выдали документ:

«Бригада Гарибальди.
32-й подвижной отряд.
Временное удостоверение № 17.
Боевое имя — Николай.
Звание — патриот.
Время вступления в отряд — 7 июля 1944 года».

Чаще всего он ходил в разведку. Маленький ростом, шустрый, он пробирался в самые, казалось бы, недоступные места, приносил ценные сведения. И итальянцы, ходившие с Колькой в разведку, удовлетворенно говорили: «О, синьор Никколо! У него партизанская сорочка».

(Хотя Колька был самым юным партизаном среди гарибальдийцев, однако называли его только так — «синьор Никколо».)

Однажды Колька с двумя итальянцами отправился в ночную разведку. А тут снег выпал в горах, завалил перевалы, партизанские тропы. Не то что ночью — днем опасно идти. Разведчики, на каждом шагу рискуя полететь под обрыв или свалиться в пропасть, упорно пробирались к своей цели. Вот и цель — небольшая деревушка. Колька с итальянцем подошли к крайнему домику. И вдруг:

— Альт! Ки ва? (Стой! Кто идет? — М. Ш.) — донеслось от домика.

И следом — автоматная очередь.

Рядом был обрыв, где-то там ожидал своих боевых друзей третий разведчик. Раздумывать было некогда: бросились вниз, в пропасть. Сами не поняли, как остались живы. Весь день сидели,

притаившись, под скалой, ждали ночи. Надо во что бы то ни стало узнать, какие в этой деревушке у противника силы. От этого во многом зависела судьба их партизанского отряда.

Ночью опять пробрались к деревушке. На сей раз повезло: незаметно зашли в крайний домик, хозяева рассказали, что немцев много, штаб стоит. Разведчики возвращались назад, и опять немцы «учуяли» их. Ожидая ночи, целый день сидели партизаны в пещере среди голых, холодных камней. Когда вернулись в свой отряд, Колька не чувствовал ног. Еле оттерли их…

Вот так и воевал Колька в числе пяти тысяч советских граждан, участвовавших в освободительной борьбе в Италии. В перерывах же между боями советские парни неизменно возвращались в мыслях и разговорах к Родине: тосковали о своих хатах, о матерях и женах, о детях, о невестах. А то пели песни вместе с итальянскими ребятами. Любимой песней итальянских партизан была песня «Свистит ветер, воет буря», которую пели на мотив «Катюши». И часто после итальянской «Катюши» затягивали русскую. «Лучше всех, мне кажется, пел «Катюшу» наш Гришка, — вспоминает Николай Степанович. — Мы его еще называли Гришка-москвич, поскольку он был родом из Москвы. Очень я дружил с ним. Он погиб в Италии».

Не расскажешь о всех боях, о всех потерях.

Николай Степанович хранит врученное ему в победные дни «Удостоверение патриота»:

> «Выносим благодарность Фролову Николаю Степановичу за то, что он сражался против врага в рядах патриотов… Своим мужеством и самоотверженностью итальянские патриоты внесли большой вклад в освобождение Италии и в то большое дело, за которое боролись все свободолюбивые люди. В возрожденной Италии владельцы этого удостоверения будут почитаться как патриоты, которые боролись за ее честь и свободу».

Навсегда остались в сердце и памяти заснеженные горы Италии, отзвуки далеких сражений, дружба боевых побратимов, русских и итальянцев.

П. Гутионтов
Чистое поле

В сентябре 1943 года недолгое затишье кончилось. С новой силой заговорили орудия, наши саперы разминировали дороги, и по ним двинулись за отступающим противником советские войска — мимо села Белое, на запад, на запад.

И вот после радости освобождения наступила для Белого мирная тыловая жизнь.

— Хат целых не осталось вовсе, — сказал мне тогдашний председатель колхоза В. В. Тарарин. — Да и понятно: столько времени фронт чуть не по селу стоял. Из имущества колхозного у меня был мешок зерна в амбаре, два «ХТЗ» — вся техника, мы их сами едва не из обломков собрали. Но к ним горючего нет. Да и что с того горючего: пахать-то нельзя — по всем полям мины, мины.

И не только в «Червоном Жовтне», так было по всем окрестным колхозам: шаг неосторожный сделал — взрыв. И полетела из области председателям телефонограмма — срочно направить по два добровольца на курсы минеров при ОСОАВИАХИМе.

— А кого пошлешь? — спросил меня Тарарин. И сам же ответил: — Некого посылать: бабы да дети…

Андрею Плаксию было в то время шестнадцать лет, его другу Борису Чернову — пятнадцать. Они записались добровольцами.

— Давали б сейчас миллион — не пошел бы, — сказал горный мастер Борис Илларионович Чернов, и сам улыбнулся удивленно.

— А тогда сколько давали? — спросил я.

— Одну минуту, вспомню точно… По два кружка макухи дали, когда мы на курсы шли, четыре кило муки… Да! Еще пол-литра масла.

— А что такое макуха, Борис Илларионович?

— Жмых.

И снова улыбнулся:

— Отчаюги были… Сколько мне потом говорили: по всем правилам раз пятьдесят должны были подорваться.

— Так ведь ты живой, Боря, — тихо сказала жена. Она вышла из кухни и стояла у двери в комнату, слушая наш разговор.

Но как далеко до этого разговора было тогда, в сорок третьем!

«Кандидатов в саперы» не отпускали матери — грозили,

плакали. Поэтому они попросту сбежали, не попрощавшись, не оставив записок, — подбросили в дом муку да масло и, сунув за пазуху плитки макухи, отправились в область, на курсы.

Собралось их человек сорок. Усатый старшина две недели объяснял им — исключительно в теории, безо всяких наглядных пособий, — где у какой мины взрыватель.

В такой учебе, надо признаться, очень многие быстро разочаровались, и к концу второй недели из четырех десятков курсантов свидетельства об окончании получали только двенадцать — остальные разбежались.

Они остались.

И в марте 1944 года, как только стаял снег, бригадир первой полеводческой Мусей Маркович Гаврик назначил им первый наряд:

— Чернов и Плаксий — в поле!

Мы стояли с бывшим председателем на краю самого обыкновенного поля. Поле было под снегом. Вдали — и по правую руку, и по левую — поднимались копры шахт, пожалуй, главная отличительная черта любого ворошиловградского пейзажа.

Поле как поле.

— Вы запишите, — сказал председатель и подождал, пока я выну блокнот, — За пять месяцев Чернов и Плаксий разминировали все наши поля — все восемьсот восемьдесят гектаров.

Я записал и подчеркнул: 880.

…Действительно, им везло, как заговоренным.

Даже когда в руках Андрея сработал взрыватель на только что снятой мине, даже здесь повезло — оказывается, отсырел капсюль и заряд не сдетонировал. И уж вовсе чудо произошло с Борисом, когда он наехал трактором на противотанковую гранату: осколок лишь слегка царапнул его по ноге.

— Только вот женщины очень ругались: мы снятые мины специально в очень большие кучи складывали, так когда их потом взрывали, в поселке вылетали последние стекла. Мальчишки были…

Действительно мальчишки. Они не выполняли даже (самый, пожалуй, выразительный) пункт инструкции, согласно которому при разминировании полагалось работать не ближе чем в сорока метрах друг от друга. Это самое «друг от друга» они понимали совершенно буквально и все пять месяцев работали рядом, локоть в локоть.

— Чтоб, если что, так вдвоем, — сказал мне один.

— Может, потому и живем оба, — сказал другой. Рук не

хватало вытаскивать из земли мины и снаряды, вывинчивать из них взрыватели. Тогда они усовершенствовали саперное дело и стали таскать за собой на длинной веревке тяжелую железнодорожную шпалу («метров тридцать протащишь — шпала в щепки»).

Это все похоже на легенду, но так было на самом деле. Двое деревенских ребят меньше чем за полгода обезвредили несколько тысяч мин двенадцати разных типов. Про типы они сказали мне сами, а вот про мины (хоть и очень хотелось мне записать в блокнот вместо слова «несколько» более точную цифру)… Ни они, ни тем более кто-либо другой таких подсчетов не вели.

Председатель, правда, вспомнил, что ребята, так сказать, сверх плана, «сняли» 25 тысяч бутылок с зажигательной смесью («мы их на горючее для тракторов перегоняли»), а вот сколько было мин, — не вспомнил. Известно только, что после первой тысячи Чернова и Плаксия наградили (приказ № 17 президиума Центрального совета ОСОАВИАХИМа) знаками «Отличный минер» — «за отличное выполнение заданий по разминированию и сбору трофеев и проявленное при этом мужество и отвагу».

— А еще нам, как трактористам, по полтора трудодня начисляли да кормили.

Что дальше?

Осенью 1944-го, убрав мины, оба ушли на фронт: первым — Андрей, за ним, прибавив себе год, Борис. Первый привез боевые награды с запада, второй — с Дальнего Востока.

Оба в колхоз не вернулись. Андрей Плаксий стал учителем, Борис Чернов — шахтером. Оба хранят фотографию, на которой они сняты перед уходом на фронт, — заломленные кепки, лихие чубы из-под них, распахнутые воротники рубашек, мешковатые пиджаки. И глаза — прищуренный взгляд в упор, прямо туда, откуда, как им говаривали в детстве, должна «вылететь птичка».

«Как хотите, но это что-то, этих глаз напряженный свет» — строки про их поколение.

Ал. Левина
Разведчик

Комсомольская организация роты записала в протоколе: «Просить ЦК комсомола в порядке исключения принять в комсомол Юрия Ивановича Жданко досрочно, за особые заслуги в боевой работе».

Вручил Юре билет начальник политотдела дивизии полковник Асулгариев. Билет этот № 17445064, выданный в 1942 году, находится сейчас в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны в Минске.

Фронтовая жизнь Юры Жданко, витебского школьника, началась 9 июля 1941 года. Наши части с боями отходили. Уже взорваны были мосты через реку. Бойцам вызвался показать брод десятилетний мальчишка. Так началась его фронтовая дорога.

В одиннадцать его приняли в комсомол. За образцовое выполнение особого задания маршал Ворошилов лично объявил ему благодарность на приеме в Кремле.

В двенадцать, на фронте, Михаил Иванович Калинин вручил ему орден Красной Звезды.

В тринадцать, под Верхнедвинском, ветеран 332-й Ивановской дивизии рядовой Юрий Жданко был тяжело контужен и отправлен в тыл.

В наградах, которыми его отметила Родина, нет скидки на его годы. Они заслужены тяжелой опасной работой на фронте и в тылу врага.

В полку Юра был всеобщим любимцем. Солдатам, разлученным войной с родными, он напоминал дом. Каждый видел в нем сына, оставленного где-то далеко, и все старались пригреть, приласкать его. И не было малолетнему солдату ни в чем отказа. Обмундирование шили для него специально. Отдельно ему тачали сапоги. Берегли для него кусок повкуснее.

Но случалось, командир звал мальчишку к себе и говорил: «Приказывать тебе, Юра, не имею права…» Значит, была нужда в нем, наступал час, когда сам возраст мог сослужить боевую службу. И мальчишка быстро снимал свое щегольское обмундирование и переодевался в жалкие лохмотья, хранившиеся для такого случая.

Полковая разведка всю войну была на переднем крае. И там, где бойцам надо было ползти, скрываясь и таясь, оборванный мальчишка с нищенской сумой мог идти открыто, в полный рост. Переходить линию фронта стало для него привычным и даже

будничным занятием, и делал он это сотни раз.

Сколько таких бездомных, изголодавшихся, потерявших семьи детей бродило по дорогам войны! Но вряд ли догадывались враги, сколько среди них разведчиков, партизанских связных. Даже сегодня мы не можем точно назвать их число, ведь юные солдаты в воинских списках не значились.

Юра служил в армейской разведке. Он видел, как работают взрослые, и многому научился у них. Сведения, которые он приносил, никогда не приходилось ни дополнять, ни уточнять. Сообразительный, наблюдательный, он стал настоящим профессионалом…

Партизанский отряд попал в тяжелое положение, кольцо окружения сжималось. Стало известно, что готовится большая карательная экспедиция, и партизанское командование попросило прислать опытного разведчика.

Горели костры в лесу. На их огонь летел с Большой земли самолет. Разведчик прыгал ночью с парашютом. Его ждали. И встретили… мальчишку.

Деда, к которому его определили «внуком», звали Влас. Он был старостой в деревне. На квартире у него жил немецкий офицер, в сейфе которого лежали секретные документы, интересовавшие партизан. Жданко не помнит названия деревни, помнит только — Смоленская область.

Несколько дней «дедов внук» топил в доме печи, таскал воду, приглядываясь к обстановке, изучая распорядок дня офицера. Вместе с «дедом» придумали план действия.

Юра выждал, выгадал момент, когда офицер вышел, не закрыв сейфа…

Конечно, лестно бы рассказать, какие это оказались неоценимые документы. Но Юрий Иванович Жданко не прельщается возможностью домыслить продолжение. Он говорит: «Дальнейшие подробности мне неизвестны. Я выполнил задание, и мы с дедом Власом тотчас ушли к партизанам». Ночью из-за линии фронта снова прилетел самолет. Забрал раненых, документы и Юру.

Самолет привез его в Москву. Да, его могли и хотели оставить в детском доме. Но для боевых друзей он был не бездомным ребенком, а надежным и смелым товарищем. И Юра вернулся в часть.

Именно тогда его и приняли в комсомол.

После того рейда в тыл врага многое было во фронтовой жизни Юры. Участвовал в подрыве стратегически важного моста: целую неделю носил охране рыбу и шнапс, высматривая пулеметные точки, удобный подход для подрывников. Выносил из

попавшего в окружение батальона важные документы. Прямо на линии фронта, под огнем, подобрал трехлетнего ребенка (девочку в детдом сдали под фамилией Жданко).

После контузии, уже в конце войны, он остался в Москве, кончил ремесленное училище. Исполнилось восемнадцать лет — пошел в армию. И только в конце второго года службы встретил знакомого по фронту командира: «Жданко! Как ты в армии оказался? Ведь фронтовикам год войны за два засчитывается!»

Оказывается, ему неудобно было призывной комиссии о себе рассказывать. Сверстники служат, а он?

И после службы в армии мало кто знал о прошлом электросварщика Жданко. Ценили как прекрасного специалиста. Объездил Жданко полмира, варил трубы во Франции, Афганистане, Монголии.

Юрий Иванович Жданко живет в Витебске. Он часто бывает в пионерских отрядах, ведет переписку со многими школами.

О чем рассказывает пионерам? Конечно, о своих товарищах. О комиссаре дивизии Лоскутове. О командире взвода связи Козлове, которому обязан уроками арифметики и грамматики. О пулеметчике Быстрове, который работал на «станкаче» как артист. О комсорге Тюрине, санинструкторе Вере, минере Блохине.

Меньше всего говорит о себе.

Дети на войне. Может быть, самая страшная, самая горькая ее страница. Неокрепшие души, открытые ужасам войны. Неокрепшие руки, сжимающие автомат или гранату. Но война — народная — не обошла их стороной. И дети оказались достойными отцов.

В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны есть стенд, на который нельзя смотреть спокойно: здесь только детские лица, тонкие шейки, детские чубчики или косы… Пионер Марат Казей принял неравный бой с целой оравой гитлеровцев… Юная подпольщица Зина Портнова на допросе застрелила фашистского офицера… Белорусский мальчик из деревни Байки Тихон Баран завел в непроходимые болота отряд гитлеровцев.

Сегодня мы помним и чтим не только погибших. Живут среди нас те, кто отдал войне детство, прошагал фронтовыми дорогами вместе со старшими…

Живет в Гомеле коммунист Виктор Кучерявый, бывший связной партизанской бригады «Большевик». Дважды побывал он в фашистских застенках, выжил после расстрела. В Ужгороде знают Виктора Пашкевича — бывшего диверсанта партизанского отряда, в Душанбе — адъютанта командира партизанского

отряда, бывшего юнгу Федора Москалева, в Витебске — подпольщиков братьев Петровичей…

А годы открывают все новые и новые имена.

В День Победы в Москве встречались ветераны 4-й ударной армии. Приехал в Москву и Юрий Жданко. Пришел на площадь Коммуны. И сразу увидел боевых друзей. Годы сильно изменили их, но и постаревших, поседевших он узнал их. Подошел к одному, другому: «Узнаешь?» На него смотрели недоверчиво. Нет, его не узнавали. До тех пор, пока не назвался сам. Достал фронтовую фотографию: среди замершего строя бойцов мальчишка в пилотке, никому не достающий даже до плеча.

Неудивительно, что его не узнали. Ведь спустя почти сорок лет после победы ветерану войны Юрию Ивановичу Жданко лишь пятьдесят.

Ю. Алянский
Танец в огне

Когда говорят о детях блокадного Ленинграда, обычно вспоминают Таню Савичеву, лист ее дневника, известного сегодня на всех континентах. Но были и другие маленькие девочки и мальчики, по разным причинам оставшиеся в осажденном городе. Они разделили судьбу Тани Савичевой. Вот несколько строк из письма другой Тани — Богдановой. Она писала на фронт, отцу:

> «Дорогой папочка! Я знаю, что вам тяжело будет слышать о моей смерти, да и мне помирать больно не хотелось, но ничего не поделаешь… Сильно старалась поддержать меня мамочка, она даже отрывала от себя и от других… 8 апреля она меня одела и вынесла на руках во двор на солнышко. Дорогой папочка, вы сильно не расстраивайтесь… Я лежу и каждый день жду вас, а когда забудусь, вы мне начинаете казаться».

Это трагическое письмо опубликовала в конце 1981 года «Ленинградская правда».

Подобная судьба могла постигнуть и Нелли Раудсепп, и Валю Лудинову, и Геннадия Кореневского, и Веру Мефодьеву, и Валю Клеймана. Но с ними произошло чудо. В конце самой страшной — первой — блокадной зимы всех их разыскал Аркадий Ефимович Обрант, бывший балетмейстер Ленинградского Дворца пионеров.

Придя в город, старший лейтенант Обрант отправился во дворец. В саду, смерзшиеся и припорошенные снегом, лежали трупы — не хватало сил хоронить всех. В прекрасных залах бывшего Аничкова дворца, где еще недавно шумели юные поэты и астрономы, физики и танцоры, теперь звучало только глухое эхо шагов. Впрочем, как давно было это «недавно»! В политотделе 55-й армии, оборонявшей Ленинград, старшему лейтенанту Обранту, командиру агитвзвода, приказали найти бойцов, умеющих танцевать.

Своих бывших питомцев Аркадий Ефимович нашел уже ослабевшими: они еле двигались, еле ворочали языком. Один из них уже не мог ходить. В таком состоянии Обрант довез их до места расположения армии, в село Рыбацкое, почти на фронт. Здесь его бывшие ученики составили небывалый творческий коллектив — детский военный танцевальный ансамбль.

Еще крайне слабые мальчики и девочки приступили к

репетициям. Командир агитвзвода надеялся, что движение поможет ребятам обрести форму. Настал день первого фронтового концерта — 30 марта 1942 года. Перед самым выходом Обрант с волнением посмотрел на своих танцоров. Их бледные лица производили удручающее впечатление. «Нет ли у кого-нибудь губной помады?» — спросил Обрант. Помада нашлась. На ввалившихся щеках девочек появился легкий румянец.

Зазвучал гопак. На сцену переполненного зала местной школы выбежали Нелли Раудсепп, Валя Лудинова, Геннадий Кореневский и Феликс Морель. В зале улыбались. Но вдруг произошло непредвиденное: пустившись вприсядку, Геннадий не смог подняться. Он делал отчаянные усилия — и не мог! Нелли быстро подала ему руку и помогла встать. Так повторялось несколько раз.

Женщины, сидевшие в зале, — врачи, медицинские сестры, санитарки — не раз видели кровь, раны, страдания. Но, неотлучно находясь на передовой, они еще не видели детей осажденного Ленинграда. И теперь, глядя на этот гопак, плакали. Кричали «браво», вытирая слезы и улыбаясь.

Но тут из первого ряда поднялся бригадный комиссар Кирилл Панкратьевич Кулик, обернулся к залу:

— Запрещаю повторять танец! Это блокадные дети, надо же понять!

Зал притих. Концерт окончился.

— Ваши юные танцоры нам нужны, товарищ Обрант, — сказал военному балетмейстеру комиссар. — Только, конечно, выглядят они плохо. Их надо подлечить и подкормить.

Всех ребят отправили в госпиталь.

Через некоторое время им подыскали гимнастерки, шинели.

Гена Кореневский выглядел, как ему казалось, заправским бойцом. Он шел по дороге, погрузившись в размышления. Впереди стояла «эмка», а возле нее прохаживался высокий представительный военный. Геннадий не обратил на него внимания.

Вдруг за его спиной раздался голос:

— Товарищ боец!

Обернувшись, Гена сделал интересное открытие: оказывается, высокий военный звал именно его. Тогда он вернулся и вежливо осведомился, чем может быть полезен.

— Почему не приветствуете? Почему стоите вразвалку? Фамилия?

— Я ведь не думал, что вы именно меня зовете, простите, не знаю вашего имени-отчества, — отвечал Гена. — Вы меня хотели

видеть?

В двигателе «эмки» случилось, наверное, что-то очень серьезное, потому что спина склонившегося над ним водителя тряслась.

— Не видеть вас я хотел, а полюбопытствовать, почему не приветствуете старшего по званию.

— Знаете, я ведь недавно, я из Ленинграда, приехал с Аркадием Ефимовичем…

— Идите. И передайте старшему лейтенанту Обранту, что бригадный комиссар велел научить вас для начала приветствовать старших и не носить шинель, как халат!

Гена отправился стричься. Он не видел, как, глядя ему вслед, смеялись комиссар и водитель.

Жизнь стала интереснее. Они получили новенькие комсомольские билеты. На каждом стояла печать: «Действителен без фотокарточки». Вскоре начались и занятия военным делом. Успехи оказались «налицо»: Валя, стреляя из пистолета, целилась так старательно, что отдача пришлась прямо в нос. Он посинел и распух. Ежедневно подолгу репетировали — Обрант отрабатывал с ребятами старые и новые номера.

Вскоре танцевальная группа агитвзвода стала называться танцевальным ансамблем под художественным руководством А. Е. Обранта. Ансамблю приходилось теперь выступать в такой обстановке, какая в прежние времена, до войны, не могла им даже присниться. Танцевали в палатках медсанбатов. Не раз случалось, что танцы прерывались и артисты помогали переносить и перевязывать раненых. Надев рюкзаки, набитые костюмами и нехитрым реквизитом, исходили пешком дороги и тропинки прифронтовой полосы.

Ночные концерты в тесных избушках — их давали при свечах. От движения танцоров свечи гасли. Иногда танцевали даже без музыки — на самых передовых участках фронта, где каждый звук легко достигал вражеских укреплений. Тогда не играл аккордеонист, не аплодировали бойцы. Не слышно было стука каблуков — землю застилали сеном.

Порой выступления продолжались подолгу. Неподалеку от Колпина высилась обстрелянная с наружной стороны кирпичная стена. Под ее укрытием, отдыхали и курили, сменяясь после боя, красноармейцы. Вот за этой-то стеной, где земля взлетала на воздух черными фонтанами, где, пригибаясь в ходах сообщения, сходились солдаты, танцевали без передышки обрантовцы: одни бойцы уходили в бой, другие возвращались из боя.

Танцевали и на платформе бронепоезда. Эти концерты под огнем бойцы воспринимали как лучшее подтверждение всех

прослушанных ими политбесед. Даже дети бесстрашно несут свою службу под самым носом у фашистов! Ненависть к врагу, ясно различимому в прорези прицела, и нежность к детям, которые пришли сюда, на передовую, рождали в каждом солдате желание идти вперед. И кто знает, сколько снарядов и пуль было послано точно в цель с мыслью о детях, которые танцуют на краю окопа!

Их репертуар был широк: «Яблочко» и «Танец татарских мальчиков», грузинский «Багдадури» и цыганский танец. Уже на фронте родилась «Тачанка». Знаменитая песня била теперь по новому врагу старым, проверенным оружием.

В начале лета 1944 года ансамбль отправился в Москву, чтобы принять участие в антифашистском слете молодежи и выступить с концертом в Колонном зале Дома Союзов. Позади остались более трех тысяч фронтовых выступлений. Теперь предстояло показать свое искусство на праздничной столичной сцене. Никто не называл поездку отчетом. Но все понимали, что это именно так.

…Когда на сцену Колонного зала выбежали подростки в военной форме с новенькими медалями «За оборону Ленинграда», зрительный зал встал. Шквалом аплодисментов сопровождали зрители весь матросский танец.

В Москве они выступили более чем в тридцати концертах, в том числе на сцене Театра Красной Армии. Они стали героями военного московского театрального лета. Поездка в Москву принесла им широкую известность.

Война приближалась к концу, но ансамблю, рожденному в огне, предстояло жить. В День Победы обрантовцы выступали на Дворцовой площади. Зимний дворец и арка Главного штаба освещались прожекторами, которые затмевали призрачное свечение белой ночи. Ребята танцевали на высоком помосте посреди огромной толпы, запрудившей площадь от края до края. Снова не было вокруг тишины. Но теперь гремел праздничный салют.

В. Кабанов
Клаус — Володя

Эту историю лучше всего начать с письма Надежды Булгаковой, опубликованного в «Комсомольской правде».

> «Во время войны я была фельдшером, старшей медсестрой, лейтенантом медицинской службы. Хорошо помню тот день, когда меня вызвал командир. Вошла к нему и увидела на стуле малыша лет четырех. Это был немецкий мальчик. Грязный, измученный, худой, он смотрел устало и безразлично. Командир сказал: «Возьмите к себе в санчасть и приведите в порядок». Я взяла мальчонку, выкупала, накормила, и он моментально уснул. Сама же долго плакала над его вещами: сколько мук и страданий принесла война! Мы все пробовали с ним говорить, но он только сказал, что его зовут Клаус. Задумчивый, грустный, он почти ни с кем не разговаривал. Но на третий день с утра после сна отыскал меня глазами и улыбнулся. До сих пор помню эту детскую милую улыбку.
>
> Скоро меня откомандировали в другую часть. Я уехала, а своего Клауса передала фельдшеру первой роты. Расставаться с ним было нелегко. Он прижался ко мне, в его глазах было столько отчаяния и любви.
>
> Где он, Клаус? Как сложилась его судьба? Посылаю вам фотографию. Напечатаете в газете — верните мне»…

Это было в феврале 1945 года в Дрездене. Английские и американские бомбардировщики в ночь на 14 февраля в три захода сбросили на город тонны смертоносного груза. Полностью разрушен центр города с его сокровищницами мирового искусства. Вместе с другими жителями покинула город Доротея Этцродт с четырьмя ребятишками на руках. А через три месяца, когда война уже подходила к концу, они возвращались домой. Шли пешком. Самый младший, шестилетний Клаус, еле передвигал ноги. Какая-то крестьянка посадила обессилевшего ребенка на повозку. Потом стало плохо старшей — Гизеле. Пока с ней возились, подвода уехала вперед. А тут — развилка. Долго бегали от одной подводы к другой, пытаясь найти Клауса. Напрасно!

Когда крестьянка заметила, что семья малыша отстала, она ссадила его — в надежде, что его найдут. Мальчик остался один.

Справа и слева от него по шоссе шагали люди, нагруженные сумками, тюками, свертками.

Он смутно помнит, как шел и шел среди беженцев. Страх, безысходное отчаяние охватили Клауса. Он присел на обочину, но людской поток оттеснил его в придорожную канаву, и он лег прямо на землю. Там провел и весь следующий день. Иногда он срывался и бежал за женщинами, похожими на мать.

К концу второго дня, уже в сумерках, на него и наткнулся советский майор Виктор Зеленый. Увидев на обочине одинокую фигурку, приказал остановиться. «Что с ним делать? — думал майор. — Малыш с ног валится. Погибнет ведь». Он взял его на руки и посадил в машину.

— Первое время, — вспоминает полковник запаса Виктор Васильевич Зеленый, — мальчик выглядел совсем неважно. Я распорядился кормить его получше. Сшили ему костюмчик. Пытались найти его родных, но безуспешно. Дрезденская комендатура в те дни была занята, как понимаете, другими неотложными заботами. А тут наш батальон решено было перебросить в Чехословакию. Ну, я решил взять парнишку к себе, усыновить.

Когда к Зеленому приехали жена и четырехлетняя дочка Галя, Клаус уже что-то понимал и говорил по-русски. Его называли Володей.

Так маленький немец стал сыном полка, а потом — сыном советского солдата.

В 1947 году Володя поступил в первый класс в городе Черновцы, куда был переведен по службе усыновивший его Виктор Зеленый. Никому в школе и в голову не могло прийти, что этот мальчик еще два года назад не знал ни одного русского слова…

После публикации письма Н. Булгаковой в редакцию посыпались письма. Читатели интересовались подробностями, давали советы. К поискам подключились немецкие друзья. И вот из Черновцов откликнулся сам Клаус. А в Радебойле, под Дрезденом, нашлись его мама, брат, сестры.

Они увиделись почти через тридцать лет. Клаус — Володя приехал в Радебойль с женой Ольгой и трехлетней Иринкой.

Доротея выучила к встрече несколько приветственных русских фраз, но от волнения все их позабыла… А сын, обнимая мать, все повторял: «Майне либе Мутти!»

Переводчицей была двоюродная сестра — она знает русский. Рассказам нет конца. Фотографии. Одних никогда не видел Володя, других — мама. На той — черновицкий школьник. На этой — Владимир в армии.

— Папа очень хотел, чтобы я после школы поступил в сельскохозяйственный институт, по его стопам пошел, — рассказывал Клаус — Володя. — А меня к самостоятельности потянуло. По комсомольской путевке поехал на строительство шахты. Теперь работаю на машиностроительном заводе, электросварщик высшего разряда.

Мать не спускает глаз с сына. Сердце ее переполнено: «Мой самый счастливый день! Не знаю, как благодарить тех, кто спас Клауса, вырастил, сделал человеком… Даже представить себе невозможно, чтобы подобное случилось с русским мальчиком при вступлении вермахта в Россию…»

А потом они поехали по той самой дороге, где потерялся Клаус. Вот и развилка. На этом перекрестке стоял он, потеряв всякую надежду на помощь.

> «Здравствуй, папа! Сегодня мы побывали в местах, которые так близки для нас обоих. Я стоял на краю дороги, где ты подобрал меня. Мне показалось, что я вспомнил, как ты выглядел в тот день — молодой, бравый. На всю жизнь запомнились твои крепкие руки, которые подняли меня, и я понял: «Спасен!» Ты стал для меня отцом. И вот… Сейчас рядом со мной сидит мама. А недавно мы все вместе побывали в Берлине. Видели новую Александер-плац, улицу Унтер-ден-Линден, Бранденбургские ворота. Но прежде всего мы съездили в Трептов-парк. Там стоит памятник советскому солдату-освободителю. Разрубивший свастику воин держит на руках ребенка. Для меня этот символ имеет особый смысл…
>
> Скоро приеду домой. До встречи».

Москва. Белорусский вокзал. К платформе медленно подходит берлинский поезд. Владимир возвратился со своей семьей и с матерью. Встречать их пришли Валентина Петровна и Виктор Васильевич Зеленые, бывший ротный военфельдшер П. Букалова и автор письма Н. Булгакова. Всех их связала война. Детское горе и солдатская доброта.

Я помню

Что делал я тогда? Снопы вязал,
А может быть, работал на прополке,
Когда ты тоже полем проползал,
Где каждый метр изранили осколки.

Меня поймет, кто был для фронта мал,
Мальчишка, живший на Оби шль Каме.
Он тоже географию сдавал
По карте, сплошь истыканной флажками.

Ни на минуту друга не забыв,
Я жил, ни слова о тебе не зная.
Прошла война. Коль все ж придет другая,
Нам без тебя являться на призыв.

Но как ты жив! Не памятью, не тенью,
А так, что кажется: ты здесь вот рядом, сам,
Погибший на московском направленъи,
Быть может, самый юный партизан.

А дни бегут скорее и скорее,
Они спешат. Они торопят нас.
Не по годам, а по часам стареют
Учебники истории сейчас.

От нас военные года все дальше,
Все глуше громы незабвенных битв.
Но ты спокойно спи, великий мальчик!
Как и они, не будешь ты забыт.

А дни бегут. Большой весною дружной
Украшен мир, насколько видит глаз.
Как дорожить нам нашей жизнью нужно,
Когда она во столько обошлась!

Быть может, долгий век отпущен мне.
Я должен жизнь свою прожить такою,
Чтобы зачлась она моей страною
С твоим коротким веком наравне.

В. Соколов

М. Слуцкис
Мы — из Паланги!

Однажды в Лодзи я увидел памятник: огромное разорванное материнское сердце. Мне объяснили: в годы войны в этом мрачном квартале гитлеровцы устроили детский концлагерь. Тут малышей готовили для отправки в лагеря уничтожения общего типа, в частности в Освенцим. Не все дети были задушены там в газовых камерах, многие погибали еще здесь — от болезней, голода, побоев. И я подумал: наверно, не только материнское сердце — само небо разрывалось над этим предместьем Лодзи… Однако не обязательно ехать в Польшу, чтобы узнать, как вооруженные фашистской идеологией палачи уничтожали детей. В литовской деревне Пирчюпис вместе со взрослыми — отцами, матерями, дедушками и бабушками — тоже горели живые дети.

Я сам двенадцатилетним пареньком узнал, что значит проснуться, когда в тебя стреляют из пулемета, а с неба сыплются бомбы. Вместе со мной это узнали более двух тысяч литовских детей утром, а вернее сказать, ночью 22 июня 1941 года. Бомбы и снаряды обрушились на маленькую спящую Палангу — городок на Балтийском взморье. Он тогда не был похож на нынешний огромный курорт, протянувшийся от Немирсеты до Швянтойи.

Помню, проснулись мы еще до рассвета, разбуженные подозрительным грохотом, но никто и не подумал, что началась война. Сначала нам показалось, что это шумит разбушевавшееся море. Потом, убедившись, что за окнами нет даже ветра, мы решили, что это маневры. Чего только не вообразит, чтобы утешить себя, детская фантазия! Но внезапно страшный грохот оглушил нас и выбросил из кроватей. Полуодетые, мы пытались выбраться со второго этажа горящего дома. Раня себя осколками стекла, продирались сквозь густой зловонный дым. Когда наш отряд собрался внизу, легкий деревянный дом уже пылал. Между прочим, по прошествии многих лет строители, роя котлован, откопали на том месте наши обгоревшие железные кровати. Но тогда время для нас остановилось, застыло вместе с ненужным, неуместно ярким солнцем. Раздался душераздирающий крик: «Мама! Где ты?» и уже не смолкал.

Сначала зов этот был стихийным паролем надежды: кто-то прибежит, если не сама мама, то посланные мамой дяди, и спасет! Постепенно надежда ослабевала, заглушаемая ужасом и отчаянием. Вырастали и рушились могучие деревья взрывов, а зеленые липы, вырванные с корнями, валились на землю. Да и

как не закричать, если начинаешь понимать, что даже волшебница мама бессильна помочь тебе?

По охваченным паникой кричащим детям велся прицельный огонь. Немецкие артиллеристы видели нас в бинокли. Нынче, к слову сказать, мало кто помнит, что в 1941 году Паланга была крайней точкой советско-германской границы. Не потому ли кинооператоры вермахта зафиксировали обстрел Паланги? На сохранившихся кадрах хорошо видны огромный, изрыгающий свинец и смерть пулемет и разрывы там, где должна была находиться уже не литовская Паланга, а немецкая Паланген.

Толпы ребят из всех корпусов пионерского лагеря — среди них была и моя десятилетняя сестренка — осаждали автобусную станцию. Она не была такой большой, как нынешняя, стояло там всего два маленьких автобуса. Счастливчики, которые оказались внутри них, задыхались, кто-то просил пить, кто-то умолял отвезти его домой. Поехали в сторону Кретинги, но километров через пять автобус остановился. Ребят высадили. Было нас человек сто — ничтожная часть двухтысячного лагеря.

Так в то необыкновенно ясное июньское утро 1941 года началась наша одиссея — долгий путь в глубь России пешком, на случайных подводах, военных грузовиках и, наконец, в железнодорожном эшелоне. Фашистские танки были за спиной. Вначале больше чем на десять километров оторваться от них не удавалось. Но мы шли и шли. Бомбили непрерывно, и нас становилось все меньше и меньше. Малышей, которые уже не держались на ногах, — в том числе и мою сестру — прихватили с собой солдаты, направлявшиеся в тыл за новым оружием. Я не надеялся когда-нибудь еще увидеть ее, но потом случайно узнал, что она жива-здорова и нашла приют в литовском детском доме в Горьковской области.

В Жагаре мы попали под сильную бомбежку. Не дожидаясь следующего налета, ночью перешли бывшую литовско-латвийскую границу. Ночевали на хуторе, забравшись на сеновал, латышские женщины напоили нас молоком.

В Елгаве мы застали последний эшелон, битком набитый беженцами. Люди щедро делились с нами хлебом и колбасой, но в теплушки не пускали, там было полно. И снова, как уже не раз бывало, помогли нам советские воины — раненые, сами нуждавшиеся в помощи. Грязных, голодных ребятишек вопреки установленным правилам они взяли в свой санитарный вагон. В Риге, когда мы стояли на мосту через Даугаву, наш эшелон бомбили. Последние разрывы бомб слышали мы в Пскове; когда потом доводилось слышать грохот, это значило, что надо проснуться, — просто ты спишь… Ребята еще долго кричали по

ночам, хотя их сон охраняли леса и снега России.

Годы войны мы провели сначала в русском, а потом в литовском детдоме. Тех, кому было по пятнадцать-шестнадцать лет, вскоре направили в школы ФЗО, потом они стали работать на военных заводах. А мы, что были помладше, учились, помогали колхозникам, валили лес, собирали лекарственные травы. В декабре 1944 года вернулись в освобожденную Литву — нам было уже по шестнадцать-семнадцать…

Но исчерпываются ли тем, что я тут рассказал, все страдания пионеров Паланги? Я уже говорил, что в этом лагере отдыхала не сотня, а более двух тысяч детей. В тот страшный день детским плачем были полны все виллы, отобранные у генералов, министров и фабрикантов буржуазной Литвы.

Что же было дальше со всеми теми, кто успел покинуть Палангу в первый день войны?

Об этом я узнал гораздо позже. Небольшими группами и в одиночку ребята двинулись на север. Ориентиром была Латвия — почему-то она казалась далекой и безопасной. Но наступающий враг успел выбросить десанты, помогали фашистам и местные их пособники — белоповязочники. Как вспоминает бывшая пионервожатая Геновайте Стошкявичюте-Баумилене, она добралась со своими пионерами до латвийской деревушки под Руцавой. Что могла сделать шестнадцатилетняя девушка? Выпросив у крестьян молока, она напоила ребят. Вскоре появились фашисты и под угрозой расстрела распорядились вести детей назад. Пионервожатых оторвали от их подопечных, арестовали, а потом угнали на работы. Неизвестность, страх, голод — вот что ждало вернувшихся в Палангу. О страданиях застрявших там детей рассказывал мне мой коллега писатель Витаутас Радайтис, пионер того же лагеря. Еврейских детей фашисты расстреляли на месте, остальных морили голодом. Мало того, над ними всячески издевались, пока не вмешался Международный Красный Крест, полуживыми вернувший их родителям. На этом страдания палангских пионеров не закончились. В школах оккупированной Литвы, когда осенью 1941 года начались занятия, им кричали: «Большевики!», «Красное отродье!» Все годы оккупации они находились под подозрением.

Вот что случилось тогда в Паланге. Вот что произошло на прекрасном курорте, где здоровья и хорошего настроения набираются ныне сотни тысяч отдыхающих. Однако и это еще не все. Несколько рассказанных здесь эпизодов надо помножить на огромное количество неизвестных нам, на горести и страдания сотен детей. На неизвестность и отчаяние родителей и

родственников, ожидавших их возвращения. На жуткий массовый вопль: «Мама! Где ты?», который вот уже сорок лет не смолкает в моих ушах.

И все-таки хочу с гордостью сказать: Паланга — не только символ страданий. Она — свидетельство благородства простых людей. Крестьянин, хоть и дрожащими руками, правит лошадью, чтобы на несколько километров подбросить сбившихся с ног малышей… Парни и девушки из Жагаре принесли полуодетым детям целый ворох одежды… А вот женщины со слезами на глазах кормят нас очень вкусными, хотя в спешке недожаренными котлетами — это было в Телыняй… Все это забыть невозможно, все это свидетельствует о чувстве солидарности и о душевной щедрости — той золотой валюте, недостатка в которой никогда не испытывал литовский народ. И еще свидетельствует Паланга о благородной эстафете интернационализма. Литовцы, латыши, русские передавали маленьких участников палангской трагедии с рук на руки — разве без их помощи смогли бы мы пройти страшные дороги войны?

Наконец, Паланга — это символ стойкости и мужества самих ребят. Уже упомянутая мною пионервожатая Г. Стошкявичюте-Баумилене вспоминает, как ее пионер Пранукас Йоцюс спрятал и сохранил отрядное знамя. Сама она, вернувшись в Расейняй, вступила в подпольную комсомольскую организацию, позже сражалась в партизанском отряде «Мститель». А я помню, что на протяжении всего опасного пути отступления мы не снимали своих пионерских галстуков. Как писатель я не склонен переоценивать значение атрибутов и реалий, однако я ценю человеческую гордость. Мы были не просто несчастными беженцами, мы были частичкой того Нового Утра, которое, мы твердо верили в это, снова расцветет над Литвой.

«Мы из Паланги», — гордо объясняли мы встречавшимся на дорогах людям. Так говорили мы и в России, где чужие матери пригрели нас, как сирот. Не только тоска по близким, но и чувство гордости объединяло тогда всех литовцев: и солдат литовской дивизии, и живших в Пензе и Москве литовских писателей, и воспитанников литовских детских домов в Константиновке, Дебесах, Ичалках… Боевое крещение, принятое в первый день войны, помогло нам и в послевоенной Литве, когда жизнь потребовала исключительной твердости и верности идеалу. В мыслях мы, наверное, еще и сегодня отвечаем: мы из тех горящих дюн, мы из Паланги, где все началось! Впрочем, почему же в мыслях? Честное слово, недостатка в слушателях у нас нет.

Едва распространилось известие, что в Паланге будет сооружен памятник пионерам 1941 года, как почта завалила

редакцию газеты «Пионер Литвы» проектами. Ребята создавали самые невероятные эскизы. Мало того, пионерские отряды и звенья бросились собирать средства. Из копеек, полученных за макулатуру и металлолом, сложилось 22 тысячи рублей! Памятник создала Альбина Вертулене, палангский художник-профессионал. Взволнованно и сдержанно обращается к нам бронза: обнаженная девичья фигурка защищается ручками от страшного неба… А может быть, идею памятника следует объяснить по-другому, может, это символ неистребимой жизни, тянущейся к солнцу?

Так или иначе, но памятник — тому, что некогда произошло здесь. Но только ли о Паланге расскажет он? О десятках и сотнях таких трагедий в большом и неспокойном мире. Трагедий, которые не должны повториться.

Перевод с литовского Б. ЗАЛЕССКОЙ

А. Луговцова
Ребята с нашего двора

Этот снимок сделан весной сорок первого, перед самой войной. Бродячий фотограф — сухонький старикашка с неуклюжим ящиком и треногой в руках — случайно завернул в наш двор.

— Сфотографируемся, дети? Будет память на всю жизнь.

О памяти на всю жизнь мы тогда, конечно, не помышляли. Просто было интересно фотографироваться. Все ребята, сколько нас оказалось тогда во дворе, мигом собрались и расположились у стены, как того пожелал фотограф.

Этому старичку я бесконечно благодарна. Чудом уцелевший снимок действительно оказался дорогой памятью о довоенном времени, о нашем шумном доме № 6/13 на углу Среднего проспекта и Тучкова переулка Васильевского острова.

Ребят у нас было, конечно, не столько, сколько на снимке, а по крайней мере вдвое больше. Если бы мы знали тогда, что совсем недолго осталось нам вот так каждый день встречаться в нашем просторном, замощенном булыжником дворе, что неумолимо надвигающиеся грозные события скоро подведут черту под нашим детством! Мы бы тогда непременно созвали всех ребят. Позвали бы Вильку Волкова, Аркашку Муравника. Мы бы уговорили старичка фотографа дождаться, пока соберутся все-все.

Но мы ничего еще не знали.

Мы конечно же играли тогда в войну. На фотографии (я — третья справа в среднем ряду) у меня за поясом наган. Я была Анкой-пулеметчицей в чапаевском отряде и без нагана просто не выходила во двор. А вот и сам Чапай — второй слева в верхнем ряду — Витька Рыхлов. Мы только что помогли ему стереть нарисованные углем лихие чапаевские усы. У отряда был штаб — отвоеванная у дворников маленькая темная кладовка под лестницей. Сюда приводили на допрос «пленных беляков», захваченных во дворе соседнего дома, с которым мы воевали. Здесь разрабатывались планы предстоящих атак. Здесь сосредоточенный Чапай при свете огарка свечи склонялся над картой, и тогда у дверей штаба замирал вестовой Эдька Оржешковский (первый слева в нижнем ряду), шепотом предупреждая входящих: «Тише, Чапай думает…»

Рядом с Эдькой — Зоя Муравник, Валя Юдина, Галя Ахметова, Галя Плешанова — наши «сандружинницы» и «врачи», — к ним доставляли «раненых».

Первый слева в среднем ряду — Юра Плешаков, младший братишка Гали. Справа от него — Женя и Галя Цветковы, тоже брат и сестра.

За спиной у Гали стоит Женя Гусева, рядом с ней — ее подруга Лиза Щавелева, дальше вправо — Галя Романова. Кажется, эти девочки не любили боев и не играли в чапаевский отряд. Но в лапту или прятки обыгрывали всех.

Самая крайняя в среднем ряду — Таня Рыхлова, сестра Витьки-Чапая: задиристая, быстрая, острая на язык. А вот девочку, что стоит между Таней и мной, как ни пыталась, вспомнить не могла. Не могла вспомнить также, кто стоит за спиной этой девочки — ни имени, ни фамилии, ничего…

Мне осталось представить только двоих. В последнем ряду возвышается над всеми Тамара Поликарпова, «Тамарка длинная», как мы бесцеремонно ее называли. Впрочем, Тамарка ничуть не обижалась — понимала, что ее ничуть не хотели обидеть. Первый слева в этом же ряду — Ваня Смирнов, степенный, рассудительный, немного ироничный. Он был постарше других, и многие из наших ребячьих забав его уже не интересовали. Впрочем, иногда он снисходительно соглашался поиграть с нами в войну, и тогда ему безоговорочно предоставлялась роль комиссара отряда.

Но я должна рассказать еще о ребятах, которых не оказалось на снимке. Конечно, не обо всех, обо всех не расскажешь.

Когда кого-нибудь из мальчишек нашего двора отчитывали дома за очередную проказу, ему говорили:

— Посмотри на Вилю Волкова! Бывают же такие прекрасные дети!

Видя Волков для многих был недосягаемым образцом. В школе — круглый отличник. Дома — послушный, заботливый сын. Всегда и всюду — безукоризненно аккуратный и вежливый. Его послушание не знало пределов. Он не бунтовал даже против коротких штанов, в которые его почему-то одевали чуть ли не до пятого класса. Эти штаны доставляли Вильке много неприятностей — его дразнили. Но он молча сносил насмешки.

Вилька был очень ценным человеком: у него имелся волейбольный мяч. Когда он выходил во двор, мы играли только в волейбол. Кончались волейбольные бои всегда одинаково — из Вилькиного окна на пятом этаже раздавался голос:

— Виля, домой!

Он никогда не протестовал, не говорил, как другие в таких случаях: «Еще немножко, мамочка!» Тут же забирал свой мяч и уходил.

Вильку признали после одного случая. Кто-то из старших

ребят однажды подставил ножку маленькому Юрке Плешакову. Вилька, не раздумывая, бросился на обидчика, хотя тот был на целую голову выше его. И что самое удивительное, тот его испугался.

Однако самым непохожим на других был все-таки Аркашка Муравник, старший брат Зои.

Он избегал шумных игр, сторонился больших ребячьих компаний. Высокий, очень бледный, с курчавой темной головой, он лишь изредка, как-то незаметно появлялся во дворе и так же незаметно исчезал. У него была своя, скрытая от других жизнь — жизнь неисправимого мечтателя и фантазера. Его влекли тысячи вещей — химия, фотография, рисование, музыка, разведение мышей и аквариумных рыбок. Управлять своими страстями Аркашка не умел, самозабвенно отдавался то одному, то другому. Сутками не покидал он балкона, где у него было нечто вроде мастерской, забитой железяками, проволокой, обрезками фанеры.

Руки Аркашки всегда были в ожогах и порезах, ногти желты от растворов. В глазах горело упорство — он никогда не успокаивался до тех пор, пока не добивался своего. Он умел рисовать, лепить, мгновенно вырезать ножницами силуэты приятелей. Он упросил родителей купить ему балалайку и за две недели выучился играть. Деревянный наган, что торчит у меня за поясом, — тоже изделие Аркашки. Тщательно отполированный, с тонкой инкрустацией на ручке, этот наган вызывал у ребят неизменную зависть.

Все, к чему ни прикасался Аркашка, спорилось у него в руках. В нем жили зародыши многообразных талантов. Ни одному из них не суждено было расцвесть…

О, какой непохожей на наши наивные игры оказалась война!

Кем была эта деловитая седая женщина, что созвала у нас во дворе нечто вроде летучего собрания, — управхозом, членом домового комитета? Не помню. Но она зажгла нас своей энергией. Она сказала: «Каждый ленинградский дом должен превратиться в крепость».

Прежде всего надо было обезопасить себя от зажигательных бомб: очистить от хлама чердаки, покрыть деревянные балки огнестойким раствором, запастись средствами тушения пожара. В работу включились все, кто мог. Дети во всем помогали взрослым — мели, чистили, красили чердаки, таскали туда воду и песок.

На специальных щитах висели багры, топоры — на случай, если придется бороться с огнем.

Во время воздушных тревог — а они в первые недели войны следовали одна за другой почти без перерывов — решено было дежурить на крышах. Для этого создали специальную бригаду из

домохозяек. Сначала ребятам подниматься на чердак было строго-настрого запрещено. Но постепенно этот запрет как-то сам собой снялся. И вот, только взвоет сирена воздушной тревоги, мы мчимся на чердак, занимаем наблюдательные посты у слуховых окон. И — чувствуем себя как на переднем крае.

Как-то в голубом прозрачном небе, прямо над нашей головой, завязался воздушный бой. Маленькие, отсвечивающие на солнце точки налетали друг на друга, пикировали, опять взмывали вверх. Было жутко и неуютно стоять на чердаке, мы не понимали, где наши самолеты, где немецкие. Но оторваться от зрелища боя было невозможно. Вот задымил и стал снижаться один самолет, потянулся черный шлейф за другим… Назавтра по радио передали: в воздушных боях над Ленинградом сбито несколько самолетов противника.

По вечерам в небе шарили прожекторы. Иногда было видно, как в их скрестившихся лучах сверкала серебристая точка: «схватили» чужака. Его уводили за черту города и там расстреливали из зениток.

Помню первую зажигалку, упавшую к нам на крышу. Мы с Вилькой были на чердаке, когда воздух задрожал от жуткого рева — фашистские самолеты летели над самой головой. Из-за гула моторов мы не слышали, как бомба стукнулась о крышу. Мы увидели ее, выглянув в слуховое окно: она ярко светилась справа, метрах в десяти от нашего наблюдательного поста. Вилька вылез на крышу. Я подала ему щипцы с длинными ручками и вылезла тоже. Бомба была совсем небольшой — такие зажигалки гитлеровские летчики швыряли сразу пачками. Она зловеще шипела и чадила, по крыше от нее растекалось пламя. Мы знали, что зажигалку надо схватить щипцами и сунуть в ящик с песком. Или закидать мешочками с песком — таких мешочков, изготовленных из старых чулок, у нас было предостаточно. Но от волнения Вилька все позабыл. Ухватив зажигалку, он отчаянно взмахнул щипцами и швырнул ее во двор. Швырнул неудачно. Зажигалка упала прямо на дровяной сарай, и скоро он загорелся. Хорошо, что внизу, под аркой ворот, оказались люди, пережидавшие тревогу. Общими усилиями пожар потушили.

Вильку никто не ругал. Нам сказали: ничего, научитесь.

Потом мы действительно перестали бояться зажигалок, научились с ними быстро расправляться.

Страшнее были бомбы фугасные — с ними не расправишься, как с зажигалками. Можно было только отчаянно сжимать кулаки, услышав хватающий за сердце пронзительный свист, с которым они падали. И еще верить, что пронесет. В городе все больше появлялось разбомбленных домов — с развороченными

стенами, повисшими в воздухе лестничными пролетами… Нашему дому повезло. Самая близкая бомба упала метрах в восьмистах от него, на набережной у Тучкова моста. Случилось это ночью. От взрывной волны вздрогнул и заходил ходуном пол в квартире, распахнулись окна и двери. Стекла, к счастью, не вылетели. Может быть, помогли широкие бумажные полоски, которые мы в первые дни войны наклеили на них крест-накрест.

К зиме воздушные налеты почти прекратились, зато участились артиллерийские обстрелы города. Они были страшны своей внезапностью: никак нельзя было предугадать, когда и куда упадет снаряд.

Кроме дежурств на крыше были еще дежурства у ворот дома. Их несли круглые сутки, меняясь через каждые два часа. По ночам, как правило, дежурили взрослые, днем это право предоставлялось подросткам. Дежурный с красной повязкой на рукаве следил, чтобы во время тревоги никто не выходил на улицу, проверял, не пробивается ли где-нибудь сквозь маскировочные шторы свет из окон. Он должен был знать всех, кто вошел и вышел из дома.

Можно только изумляться находчивости, с которой приспосабливались люди к самым, казалось бы, нестерпимым условиям жизни.

Когда не стало электричества, в домах засветились язычки коптилок. В пузырек, наполненный керосином, опускался фитиль — вот и вся нехитрая конструкция. Коптилка, как ей и положено, немилосердно чадила. Но она все же давала свет в эти длинные зимние вечера.

В городе не было дров. На рынке поленья шли только в обмен на хлеб. А зима 1941/42 года выдалась на редкость суровой. И вот появилась буржуйка — небольшая жестяная печка с выведенной в форточку трубой. Трудно придумать что-нибудь менее прихотливое. Небольшой кучкой щепок можно было вскипятить чайник. Когда щепок не было, обходились и бумагой. Ну а если удавалось раздобыть два-три полена, буржуйка просто гудела от удовольствия, мгновенно раскалялась, согревая комнату. Такая маленькая жестяная печка в те страшные месяцы спасла не одну жизнь.

Страшные месяцы… Обычно в половине шестого утра мы с сестрой были уже на ногах — в шесть открывались булочные. На троих нам полагалось полкило хлеба в день: у матери была рабочая карточка, ей выдавалось 250 граммов, нам с сестрой — по 125. Дома паек делили на три равные части. Каждому доставался небольшой кусочек тяжелого, похожего на глину, блокадного хлеба. К полудню его уже не было. Начиналось

томительное ожидание следующего дня.

Почти все время мы лежали. Все трое — в одной кровати, вынесенной на кухню. Лежали потому, что не было сил двигаться. И еще потому, что так было теплее. Утром стоило невероятных усилий заставить себя встать — ртуть в градуснике опускалась ниже нуля.

Почти никто уже не мог, как в первые месяцы войны, дежурить на крыше и у ворот. Изредка я встречала кого-нибудь из ребят — в булочной или на Неве, в очереди к проруби за водой. Все как-то странно стали похожи друг на друга — съежившиеся от холода, с черными от копоти, осунувшимися старческими лицами. Мы почти не разговаривали. Да и о чем было говорить? Все ребячье отошло от нас куда-то далеко-далеко…

7 февраля 1942 года умерли сестра Валя и мама. Через две недели Вале исполнилось бы семнадцать лет. Всю эту ночь, завернувшись в одеяло, я в каком-то оцепенении просидела у погасшей буржуйки. Помнится, даже не плакала, все чувства будто умерли тоже…

Не знаю, каким чудом я тогда выжила. Впрочем, знаю. Это чудо — человеческая доброта. В тот день в булочной я встретила Тамару Шафрановскую, мою школьную подругу. Она, видно, обо всем догадалась по моему лицу, потому что не отпустила меня домой. Жила она в соседнем с нашим доме. Я часто бывала у нее раньше, хорошо знала ее родителей, бабушку. Мать Тамары, Тамара Константиновна, тоже уже почти не поднималась. Она сказала, расспросив меня обо всем:

— Ты никуда отсюда не пойдешь.

8 большой квартире Шафрановских теперь отапливалась только одна комната. Чтобы поддержать в ней тепло, Тамара Константиновна меняла на дрова вещи. В этой комнате поставили кровать и для меня.

Я прожила у них почти три месяца. Сначала умерла бабушка, а потом Тамара Константиновна, человек удивительной души. В огромной квартире мы остались вдвоем с Тамарой.

Жизнь в городе начала постепенно налаживаться. Прибавили продовольственный паек. Потом дохнуло весной — выглянуло солнце, зашумела с крыш капель. В апреле начали работать школы. Как-то мы с Тамарой вышли из дому. На улице ярко сверкали на солнце лужи, от просыхающего асфальта поднимался пар, а на ветке чирикал невесть откуда взявшийся воробей. Пришлось расстегнуть пальто — так было тепло. Тамара обернулась ко мне: «Ну теперь-то мы будем жить!»

В начале лета вернулся с фронта после ранения отец Тамары. Было решено, что она поедет в эвакуацию. Надо было

определяться в жизни и мне. В райисполкоме спросили:

— Хочешь в детдом? Еще можно в ремесленное училище.

Я выбрала ремесленное.

Помещалось оно на 11-й линии Васильевского острова.

Нас учили делать табуретки. Помню глаза нашего мастера, когда он увидел, с каким трудом я волоку по деревяшке фуганок.

— Ты вот что, пока недельку не работай, набирайся сил. Садись вот тут на стружку и сиди. Отойдешь.

Сколько раз в то суровое время отогревала меня человеческая доброта!

Я снова беру в руки старую, пожелтевшую фотографию, всматриваюсь в лица друзей моего детства. Многие из них и сейчас живут в нашем старом доме на Среднем проспекте: Галя Плешакова и ее брат Юра, Галя и Женя Цветковы, Тамара Поликарпова. У всех дети — новое поколение ленинградцев.

Лиза Щавелева рассказала мне, что встретила нашего Чапая — Витю Рыхлова. Зоя Муравник окончила институт, библиограф. Валя Юдина стала врачом…

Но многих ребят с нашего двора нет.

Нет всеобщего любимца Вили Волкова. Я видела, как его морозным январским днем 1942 года выносили и укладывали на саночки, чтобы везти на кладбище.

Аркашка Муравник умер от истощения в больнице.

Нет и Тани Рыхловой, задиристой и отчаянной сестры Витьки-Чапая.

Умерла Женя Гусева, девочка, не любившая играть в войну.

И Галя Ахметова, наша «сандружинница».

Вани Смирнова, серьезного, рассудительного и степенного Вани, которому безоговорочно предоставлялась в наших играх роль комиссара отряда, тоже нет.

Погиб Толя Рыбаков — о нем я еще не упоминала — белобрысый веснушчатый мальчик, который мечтал стать моряком. Он даже ходил всегда в бушлате, на котором сияли тщательно надраенные пуговицы. Он бы обязательно стал моряком.

А кем бы стал Аркашка Муравник — химиком, художником, талантливым рабочим? А Видя Волков? Таня?

Если бы не война…

Л. Овчинникова
Дом на передовой

Я сижу в углу подвала на деревянном топчане и смотрю, как светлеет слуховое окно. Из темноты проступают обугленные ветки дерева, исщербленная пулями стена соседнего дома. Подвал наш давно проснулся. Но никто не встает и не разговаривает. Все в эти минуты смотрят на квадратное окошко, в которое выведена металлическая труба. Дождались еще одного дня. Время на войне идет совсем иначе, чем в другой — обычной — жизни. Наступает утро, мы не знаем, доживем ли до вечера. Стены трясутся от близких взрывов. Сколько нам осталось жить? Еще несколько дней? Или несколько часов? Или только эти мгновения, когда мы ждем рассвета?

Подвал приютил три семьи. Свела вместе общая судьба: под бомбежками не смогли переправиться через Волгу. Бетонные своды укрыли трех женщин и восемь детей. Чаще всех выходил наружу пятнадцатилетний Виталик Величкин. Приполз, раненный в ногу. Рана загноилась, повязка усеяна вшами. Наш подвал затерян среди вывороченных снарядами воронок, руин, минных полей. Война подкралась к самому нашему дому. Мы ушли под землю, чтобы ни шороха, ни голосов, ни писка не было слышно. Подвальное окошко выходит на Мамаев курган. До него от нашего дома идти меньше часа. Весной мы взбирались на склоны, собирали тюльпаны — красные, желтые, белые. Степная трава волнами ходила под тугими ветрами. На Мамаевом кургане рвутся бомбы и снаряды, черные провалы воронок — как рваные раны.

Вот уже несколько дней мы не знаем, где наша передовая. Пулеметчики обороняли железную дорогу. В километре от нас. Теперь пулеметы смолкли… Продвинулись вперед или отошли назад? Днем и ночью над нами гремит война. Мы забыли все другие на земле звуки. Неужели где-нибудь на свете шумят деревья, щебечут птицы, тикают часы, играет патефон, гудят машины, звенит трамвай? День и ночь мы слышим только грохот взрывов, свист пуль, вой пикирующих самолетов.

Сегодня мне идти в овраг за хлебом или супом. Мама и сестренка совсем ослабли от голода. Мне нужно пройти, пробежать, проползти метров двести. Место открытое. Снег укрыл пепелище. В одни сутки сгорел заводской поселок. Огонь поглотил деревянные дома с резными наличниками, вишневые и яблоневые сады, столы в палисадниках, на которых летними

вечерами пыхтели самовары. Ветер гонит снег между торчащими печными трубами. По дороге в овраг знаю каждую воронку, где можно спрятаться, свернуться калачиком, притаиться во время обстрела. Страшно проползать мимо убитой бабы Насти, нашей соседки. Она лежит неподалеку от обгоревшей груши, под которой ребята нашей улицы собирались вечерами. Здесь в палисаднике, где пахло петуньей, душистым табаком, помидорной ботвой, рассказывали друг другу таинственные истории. Впрочем, все они, даже самые запутанные, были конечно же со счастливым концом. В последний момент кто-то спасал героя, отводил от него беду.

Скоро мне идти в овраг. В прошлый раз я принесла целое ведерко мерзлых очисток. Замечательные получились лепешки! Если бы еще соли достать…

После привычной темноты подвала глазам больно от яркого света. Мне нужно добраться до перевернутых вагончиков в шлаковых отвалах, за которыми начинается тропинка в овраг. Передо мной мертвое пространство. Нет ни огонька, ни живого звука. Земля окоченела, оглохла, ослепла. Перестала быть землей. И я не вижу больше на ней ни чистого снега, сверкающего на солнце, ни прозрачных сосулек, свисающих с уцелевшего тополя, ни высокой горки, с которой мы съезжали на санках. Я смотрю и ничего не вижу. Потому что все мое нутро напряжено, сковано тревогой. Земля передо мной совсем другая, чем прежде. Примериваюсь, как доползти до каменной стены, чтобы затаиться, переждать, передохнуть. Все живое наблюдает, прицеливается, готовится. С чем сравнить фронтовую полосу? Ее не с чем сравнить.

Ползу по глубокому снегу в сторону Волги. Где-то позади — вражеские траншеи. Снег накрывает меня с головой. Как волна в непогоду. Между такими сугробами, наверное, можно пушку-сорокопятку протащить. В этом снеге теперь все мое спасение. Если заметят гитлеровцы движущуюся точку, ухнет взрыв, полоснет пуля. Сколько еще метров ползти? Неужели убьют? Как же это так — вдруг меня больше не будет? Этого не может быть! Неужели я не увижу маму и сестренку, не узнаю, жив ли отец? Не буду больше ходить в школу, играть в снежки, бегать по траве, читать книги, писать стихи, кататься на лодке, танцевать? Сколько на свете замечательных дел! Нет, меня не убьют. Этого просто не может быть. Я так хочу жить!

Вот, наконец, я подбираюсь к вагонетке и быстро, будто плаваю по-собачьи, сползаю в овраг. Можно сесть и передохнуть. Скаты оврага защищают от пуль. Вражеские минометы где-то совсем близко. Место пристрелянное.

Тропинка в овраг мне знакома. Сюда мы прибегали после школы. Крутые откосы представлялись нам сказочными крепостными стенами. Здесь, в стороне от городских улиц, дышала наша вольница. Мы забирались в расщелины, рыли пещеры, строили мосты через ручейки, пили воду из родников. Воображали себя путешественниками, альпинистами, геологами. Под снегом на глинистой стене, наверное, целы наши рисунки. Краснозвездные самолеты, планеры, дирижабли. Как давно это было!

Снизу тянет дымом. Скаты оврага облепили блиндажи. Торчат бревна, доски, куски рельс, трубы. Вгрызлась в землю пехота. Есть блиндажи кухни и медсанбатов. Тылы переднего края. До передовой местами не больше полкилометра. Но все-таки — это тылы. Овраг стал обыкновенной военной траншеей, только огромных размеров. Идут солдаты. Катят орудие, колеса застревают в снегу. Несут ящики с гранатами, с патронами. Тянут телефонный провод. На дне оврага то в одном, то в другом месте лопаются вражеские мины. Никто не останавливается и даже не оборачивается в сторону взрыва. Работают солдаты. Небритые, хмурые.

Помню, с каким чувством я впервые смотрела на эту фронтовую жизнь, открывшуюся мне в овраге. Это было чувство удивления. Какой-то слишком будничной показалась мне эта картина. Совсем не то, что мы раньше видели в кинофильмах. И герои там были другие. Сразу видно, что он совершит подвиг — гордая осанка, смелый взгляд.

Сижу на тропинке, около вывороченной взрывом воронки, смотрю на ссутулившихся, молчаливых солдат, которые работают под грохот взрывов, и еще не знаю, что никогда в жизни мне не увидеть ничего величественнее, непостижимее. Снова и снова буду вспоминать, как это было. Будто огромные железные бочки катятся по воздуху — гремит канонада. Даже если зароешься в землю, все равно будешь слышать, как смертоносное железо сечет воздух, землю и все живое. Сколько еще шагов можно успеть пройти, прежде чем тебя настигнет осколок или пуля? Но бойцы делают то, что должны делать на войне. Они работают. Идут к переднему краю. Несут пулеметы, бронебойные ружья, противотанковые мины и котелки с кашей. Это о них, об этих усталых и озябших на волжских ветрах людях, будут написаны симфонии, поэмы и песни. Подвиг, он и есть такой — с виду обыкновенный.

Протоптанной тропинкой пробираюсь туда, где по свинцовой воде несутся глыбы льда. По Волге, как у нас говорят, идет «сало». Топчусь около солдатской кухни. Пахнет необыкновенно

вкусно. Наверное, гороховым супом из концентратов. Не могу решиться толкнуть дверь землянки. Мы знаем, что солдатские пайки с каждым днем становятся меньше. Катера и лодки пробиваются сквозь льды. На передовую доставляют хлеб, в котором застряли осколки.

«Откуда ты, девочка?» — передо мной стоит военный в белом овчинном полушубке и шапке-ушанке. Я привыкла к такому вопросу. Что тут рассказывать? История наша обычная — не смогли переправиться через Волгу. Где находится наш подвал? На пятачке за оврагом. Капитан берет у меня пустое ведерко. Мы взбираемся по крутому отвесному склону. Ползу вверх на четвереньках, цепляясь за бугорки земли и пучки сухой травы. Так добираемся до небольшой площадки.

В землянке тепло. Оказывается, я даже забыла, что такое тепло. Мне стало вдруг весело. Я видела, как офицер снял с гвоздя вещевой мешок и выложил концентраты. Каша пшенная, суп гороховый. «Это тебе, забирай», — сказал он. Какое богатство на столе! Офицер сложил брикеты в ведерко. Я смотрю на капитана и вдруг понимаю: он знает, как мне было холодно и страшно, когда я ползла в овраг. Впервые мне хочется заплакать. В нашем подвале каким-то немым уговором запрещено плакать. Больше всего сейчас мне хочется рассказать высокому голубоглазому капитану о том, что довелось увидеть нам с тех пор, как нет отбоя воздушным тревогам. Но я молчу и только хлюпаю носом. К моему удивлению, капитан начинает сам рассказывать о себе. Зовут его Павел Михайлович Корженко. До войны он работал в Куйбышеве, в райкоме партии. Ушел на фронт добровольцем. Дома остались жена и двое детей. Старший — Борис — мой ровесник, тоже окончил четвертый класс.

Павел Михайлович достает из нагрудного кармана листок бумаги. Читает мне письмо от сына. Тот рассказывает, как собирали теплые вещи для детдомовцев, как ходили всем классом в кино. «Неужели, — думаю я, — где-то ходят в школу, смотрят кинофильмы?» Как трудно мне это сейчас представить! Борис пишет, что гордится отцом — его ранило в грудь, а не в спину. Значит, он шел в бою вперед. Павел Михайлович откладывает письмо и говорит со мной как со взрослым, умудренным фронтовым опытом человеком. Вот как, мол, сын прямолинейно рассуждает. Я и в самом деле понимаю это. Разве мина выбирает, где ударить! Павел Михайлович рассказывает мне о переправе через реку, где его и ранило. Вижу эту ночную переправу, фонтаны взметенной взрывами воды, повисшие в небе ракеты, баржу с пробитым днищем, которую крутит течение. Павел Михайлович бросается к другу, у которого вырвано плечо,

перевязывает его нижней рубахой. А потом на палубе перевязывают и его самого, осколок застрял в ребре. В госпитале пробыл недолго. Просил скорее отправить на фронт. «Вот бы написать Борису, — думаю я, — чтобы знал, какой у него отец».

Я сижу, разомлевшая в тепле, и еще не знаю, как важно будет для меня навсегда все то, что происходит сейчас в этой землянке, из которой видна свинцовая волжская вода. Память об этих днях всегда останется для меня нравственной опорой. В радости и в беде буду помнить и этот скудный сталинградский паек, который капитан разделил с голодными детьми, и книги с обгорелыми страницами, подаренные им, и трофейный парашют, из которого потом мне сшили платье. И огонек коптилки, мигавший при взрывах.

Я вышла из землянки, когда стало смеркаться. Перед угрозой гибели обостряются все чувства. Тогда впервые пережила и осознала, какое же волшебство творит человеческая доброта! Присела на бревно, перед тем как снова подниматься наверх, на гребень оврага. И вдруг увидела в темнеющем небе звезды. Забыла, что они есть, что можно смотреть на них. И снег увидела — какой он голубой и чистый. Будто глаза открылись.

Поднялась по тропинке и снова, барахтаясь в снегу, подползла к вагонетке. Что такое? Недалеко от нашего дома клубы дыма. Я знала, как горят каменные дома и деревянные. Это было ни на что не похоже. Да и гореть на том месте нечему. Казалось издали, земля разверзлась и изнутри поднялся дым до неба. Я ползу вперед и никак не пойму, что происходит на нашей улице. Взвилась ракета. Стучит пулемет. Я отталкиваюсь локтями, коленками. Тащу за собой ведерко. Оно полно снега. Взлетают ракеты и зависают над землей. Это немецкие «фонари», так их зовут. Попадаю в освещенный пятачок. И замираю на снегу, стараюсь вдавиться внутрь. Кажется, на меня сейчас нацелены и автоматы и пулеметы. Лежу на снегу в огромных солдатских ботинках, в платке, завязанном на спине. Мне одиноко и страшно в безлюдном пространстве. Некого здесь позвать на помощь. Никто даже не узнает, где меня убьет. Занесет снегом и все. В воздухе каждую секунду ухает, рвется, свистит железо. И я боюсь даже думать сейчас о том, что доползу до подвала, боюсь спугнуть свою судьбу. Но я жива. И ползу вперед.

Хватаюсь за угол бревенчатого дома, как выбившийся из сил пловец, добравшийся до берега. Осталось позади мертвое заснеженное пространство, которое простреливается со всех четырех сторон. На открытом месте даже такое укрытие, как разрушенный дом, кажется надежной броней. Поднимаю доски, чтобы подобраться к подвалу, и вдруг вижу — над входом стоит

пулемет. Двое солдат вынимают пулеметные ленты из ящика. Пулемет — наш: дулом повернут в сторону фашистских позиций. Свои солдаты — вижу ушанки, стеганые фуфайки, валенки. Лиц в полутьме разобрать не могу. «Там моя мама», — объясняю я. Ничто, наверное, не удивило бы так бойцов в этой обстановке, как появление девочки, запорошенной снегом с головы до ног, с ведерком в руках. Молчат они, и я также молча подхожу к подвалу.

Скатываюсь по лестнице вниз. В подвале горят «катюши» — светильники из сплющенных гильз. Почему-то все сидят на топчанах в пальто, платках, валенках. Мама держит на руках закутанную в одеяло сестренку. Когда начиналась вражеская атака и снаряды прицельно рвались на нашей улице, мы собирались, одевались во все самое теплое и сидели, прислушивались к грохоту. Если снаряд попадет в подвал, может быть, кто-то из нас спасется, успеет выскочить из-под обломков.

Сажусь на свое место на топчане в углу, и мама рассказывает мне о том, что происходило здесь. Днем десятилетний Толик Столповский пополз к бойцам, оборонявшим трамвайный мост. Бойцы знали юркого сметливого мальчишку, он рассказывал им обо всем, что замечал на вражеской стороне. В бетонной дамбе под мостом можно было встать в полный рост. Здесь находились пулеметчики и бронебойщики. Телефонный провод соединял бойцов с берегом Волги. В тот день они увидели, как гитлеровцы по одному перебегали железную дорогу и маскировались в развалинах каменного дома. Так всегда начиналась атака. Казалось, каменные руины снялись с места и тараном двинулись к Волге. Гитлеровцы стреляли из всех щелей и проломов. Пустили дымовые шашки. Рвались к заводским корпусам «Красного Октября», где в пролетах цехов, мартеновских печах, подземных тоннелях держалась наша оборона. Пока сражается дамба, фашисты не пройдут к заводской стене. Наш дом тоже под защитой этой дамбы.

О том, что происходит наверху, в подвале знали от Толика Столповского. Наружу никто не выглядывал. По выстрелам чуяли, какая обстановка. Вечером бойцы притащили пулемет в наш дом.

По лестнице громыхают сапоги. Молоденький веснушчатый боец спускает к нам деревянный ящик с патронами. Просит воды. Теперь у нас воды много. Набираем снег и растапливаем на плитке. Тетя Женя Величкина, как хозяйка подвала, черпает воду из ведерка.

Над нами работает пулемет. Мигают гильзы-коптилки, ходуном ходит пустая кастрюля на плите, повизгивает труба, выведенная в окно. Молча и не отрываясь все смотрят в одну

точку — на дверь. Мы знаем, что ждет нас, если фашисты ворвутся в дом. Без всякого предупреждения они забрасывают подвалы гранатами. Так погибли многие семьи в поселке. Пока стучит пулемет наверху, мы живы.

Кто-то спускается по ступенькам. Веснушчатый пулеметчик, просунувшись в дверь, садится на ящик с патронами. Рукав шинели в крови. Мама быстро освобождает угол топчана. Вместе с тетей Женей Величкиной разрезают рукав, перебинтовывают рану. Мне ничего не видно за их спинами. Боец говорит: «Рука холодеет». Мама растирает, а я вижу, как на глазах побелела его рука. В дверь врывается ветер. Раненый боец снова поднимается на лестницу.

Стучит пулемет. Мы знаем: пока пулеметчики живы, они не уйдут, не оставят подвал без защиты. Верим в это, как верят в добро и истину. Все, что еще будет в жизни, зависит сейчас от одного — единого — от стука пулемета наверху, над дверью подвала. Бойцы закрыли дорогу фашистам к нашей улице, к развалинам школы, к убитой бабе Насте. Линия огня проходила в те минуты не только по земле — бойцы защищали в нас веру в человеческое благородство, мужество. Если бы меня спросили тогда, что такое совесть, я бы сказала, что знаю ее земное обличье. Видела двух молодых солдат, сражавшихся на ступеньках нашего многодетного подвала, и думала о том, что совесть — это такая сила в человеке, которую победить невозможно.

Стук пулемета отмерил один из ста шестидесяти трех дней, которые мы прожили в подвале.

Еще много раз я приходила в землянку, где уютно пахло древесной смолой. Павел Михайлович ставил котелок с дымящейся кашей или супом. Задумчиво смотрел, как я ела. Было в его рассказах такое, что и через годы не дает мне покоя. Говорил о том, как уходил на фронт, как двигался воинский эшелон к Сталинграду. Помню его рассказ. Бомбой перевернуло вагоны. Молодому лейтенанту оторвало ноги. Час назад сидели вместе, шутили, пели. Вспоминали о ночной атаке. Прорывались из горящего дома, окруженного гитлеровцами. Как уцелеть в свинцовой пурге? Гранатами прокладывали дорогу. Бились прикладом и штыком. Крики, стоны, брань. Почему Павел Михайлович говорил об этом мне, испуганной девочке с косичками? Шел ноябрь 1942 года. Впереди были многие километры войны. Он верил, что я останусь жить и запомню все, что он рассказывал о себе и товарищах. Павел Михайлович был, что называется, штатским человеком. Рассказывал, будто сам удивлялся. Теперь я понимаю: все увиденное на фронте потрясло

его сознание.

Через годы по командировке «Комсомольской правды» я приеду в Куйбышев. Здесь, разыскав Бориса Корженко, впервые узнаю, что Павел Михайлович погиб на Украине при освобождении города Котовска.

Его нет. А я все помню.

Л. Успенский
Так было

В 1943 году Политическое управление Краснознаменного Балтийского флота (мы звали его сокращенно — ПУБАЛТ) помещалось на Петроградской стороне, на улице Попова, в здании электротехнического института. Мы, причисленные к Балтфлоту писатели, считали его своим домом: здесь жили и работали.

Как-то в один теплый весенний день мне понадобилось с утра пойти в город. Я спустился вниз, предъявил постовым у входа пропуск, усыпанный множеством таинственных, припечатанных поверх текста, причудливых значков и клейм (они сменялись часто, чтобы никакой агент врага не мог воспользоваться случайно потерянным или украденным пропуском), вышел под сень только-только распустивших первые листки могучих тополей у подъезда и пошел по тихой улице нашей к Кировскому проспекту.

Каждый раз, выходя в те дни в город, я приглядывался, прислушивался, принюхивался ко всему, что меня окружало. Я прекрасно понимал: то, что я вижу, — большая, можно сказать, ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ. Нет и не может оказаться на моем пути ничего неважного, несущественного. Вот и то утро — это утро блокадного города. То, что высоко в небе рычат и гудят истребители, — важно: это наши, советские истребители, и их рев говорит о том, как далеко ушли мы от тех дней, когда в воздухе господствовали не мы, а фашисты. Все, все существенно, все — история!

Я шел и вглядывался в лица встречных. Да, еще мало, совсем мало было в Ленинграде гражданского населения: все больше наш брат военные, армейцы и моряки. Но эти «гражданские» (по большей части женщины) выглядели теперь уже совсем не так, как год назад: они шли спокойно, лица их были здоровыми, не похожими на изможденные маски блокадников конца 41 — начала 42-го годов… Я смотрел. Запоминал. Радовался тому, что вижу хорошее, и тому, что смогу когда-нибудь потом все это хорошее, все эти предвестия Победы, теперь уже не такой далекой, запомнив, передать будущим поколениям, своим детям, детям моих детей — всему миру… Рассказать о них!

И вдруг я попридержал шаги. Передо мною открылось зрелище на первый взгляд пустячное и неважное, на второй взгляд — смешное, а на третий — и весьма заслуживающее

внимания, и радостное, и тоже — как в совсем крошечной капле воды — показывающее, что и мы, ленинградские блокадники, и сам Ленинград выдержали и выдюжили самые черные, самые трудные времена, что перелом уже произошел, что теперь нам уже ничего не страшно…

Что же я там увидел? Там, на кирпичной стене высокого заводского корпуса, была укреплена в деревянной рамке самая обыкновенная газета, какие всегда у нас наклеивают на стены домов.

Перед газетой, опершись на самую обыкновенную палку, стоял и внимательно читал сводку Совинформбюро самый обыкновенный седенький старичок. А возле ног этого обыкновенного старичка, соединенное с ним поводком-ремешком, сидело совершенно необыкновенное, невиданное в те дни в Ленинграде существо: маленькая, гладкошерстная, темно-рыжая собачонка. Сидела, слегка подрагивая от утренней свежести и нервно зевая…

Собачонка в Ленинграде?! Боже ты мой! Да мы вот уже скоро два года, как и в глаза не видели здесь собак… Откуда им было тут взяться? Девять десятых их погибло и от холода, и от голода, и от всяких других причин; одна десятая — это мы тоже знали — через фронт, через Ладогу удрали туда, где было сытнее…

Собака на ленинградской улице в апреле 1943 года была таким удивительным и редкостным явлением, что я решил перейти улицу и спросить у ее хозяина: откуда взялось это чудо? Удалось ли ему ее каким-то непонятным способом сохранить в страшные месяцы абсолютного голода, или, может быть, ему уже теперь ее привезли в подарок «из-за кольца»?

Я пошел наискось через улицу, но не успел. Меня опередили… По тому тротуару, на котором стояли старик и его песик, навстречу нам с писком бежало человек десять или двенадцать совсем маленьких девчушек и мальчуганов, под начальством нянечки, тоже совсем молоденькой, свежей, веселой, но — на костылях: одна нога у нее была согнута, не доставала до земли, а по солдатской шинели видно было, что она совсем недавно и, видимо, именно из-за раны перешла в гражданское состояние. Тем не менее ребята бежали бегом, а она на своих костылях прыгала за ними. Куда? Да к этой же собачонке!

И вот ребята обступили маленького пса со всех сторон. Они почти все с изумлением присели вокруг собаки на корточки, смотря на нее со смешанными чувствами — опасения, недоверия, радости. Собачка, видимо, слегка смущенная таким шумным вниманием, привстала как бы на корточки, потом снова села на хвост, потом вдруг широко зевнула и закрутила в упругий

завиток свой ярко-розовый язычишко…

— Тетя Тонечка! Антонина Васильевна! — вдруг зашумели тогда ребятишки. — А это кто? Это киса? Ой, почему она так язычок высунула?.. Как не киса? А кто же это тогда? Девочки, мальчики, это собачка, вы слышали? Это собачка, собачка, собачка…

Мне будет довольно грустно, если я узнаю, что вы, мои читатели, дойдя до этих строк, улыбнулись, засмеялись, пожали плечами. Тогда, значит, я ни о чем не умею рассказывать.

В тот миг мы все трое — веселая, хотя и тяжко изувеченная, девушка-воспитательница, старичок — хозяин собачки и я — капитан флота, — мы посмотрели друг на друга и быстро отвернулись. Особенно мы со старичком: девушке-то нечего стесняться, что у нее слезы на глазах, а вот нам… Нам все было понятно: эти малыши и малышки родились, может быть, за год или за два до начала войны. Пока она не началась, они еще ничего не успели увидеть — ни кис, ни собачек, ни зайцев, ни белок — ничего. А потом, во время самого страшного, что случилось в дни войны в мире, во время блокады, уже и негде было им никого из этих зверушек углядеть… Так вот и выросли они, не зная ни собак, ни кошек, не умея отличить кошку от собачонки. И вот, наконец, сегодня — такое счастье: они увидели первую в их жизни собаку.

— Господи! — сказала нянечка. Сказала так, точно у нее были обе ноги, и не было костылей, и для себя ей и просить у судьбы было нечего. — Ничего я больше не хочу, чтобы только была Победа. И чтобы у всех этих крохотулечек, — тут она вдруг замолчала, точно проглотила что-то большое и круглое, — чтобы у них человеческая жизнь стала.

И мы, покачав головами, пошли в разные стороны. А я еще пообещал тогда себе: когда придет Победа, непременно написать, чтобы люди знали, чтобы они не забывали об этом, и про блокаду, и про эту встречу, и, самое обязательное, про детей-блокадников.

И еще рассказ из жизни военного Ленинграда.

Сумеречным зимним днем мы с писателем Николаем Корнеевичем Чуковским — оба были офицерами — пошли разыскивать нужного Николаю Корнеевичу летчика, прибывшего на короткий срок с фронта в Ленинград.

Идти было далеко, через Неву, за Невский, в Столярный переулок. Летчик по телефону сказал свой адрес и предупредил, что пробраться к нему будет не так-то просто. Он остановился у своей сестры, а та живет в разбомбленном доме. Там есть полуразрушенные лестничные пролеты, подниматься надо

осторожно.

Наконец мы разыскали шестиэтажный дом и, поразмыслив, вступили на лестницу справа. В абсолютной темноте не было ничего видно. Мы даже постояли минуту перед дверью. На дворе, когда приглядишься, чуть мерцал пушистый снег, на котором не было ни копоти, ни грязи, ни следов — только три или четыре узенькие четкие тропочки, а там, в щели, за вмерзшей в снег и незакрывающейся дверной створкой, стояла такая чернота, что нырнуть в нее было страшно, как в холодную прорубь.

Кругом не было ни души. Шестиэтажные стены стояли, поднимаясь до самого неба. Две стены были обыкновенными, две другие кончались наверху какими-то причудливыми зубцами; сквозь оконные квадраты тускло светило небо; видно было, что в этих двух корпусах — пустота, ни полов, ни потолков, все вырвано бомбой, вернее, даже двумя бомбами.

— Д-да! — сказал Николай Корнеевич. — Ну что ж…

Я шагнул в дверную щель и почти что испугался.

За дверью из кромешного мрака точно бы глядело на меня красненькое кроличье око, светился чуть заметный, слабенький огонек; не сразу сообразишь, что он есть, думаешь, может быть, от темноты так показалось.

Но нет, в темноте горел огонек. Этому было трудно поверить: на пустой лестнице, на ветру, на холоде — маленькое, окруженное радужным сиянием пламя.

— Смотрите, Николай Корнеевич!

Приглядевшись, мы увидели истинное чудо. На нижней площадке, около пустой клетки лифта, стоял кособокий деревянный стол: у него были только две ножки, и держался он на каком-то старом ящике. На столе стояла большая стеклянная банка, огромная банка литров на десять. Там, внутри, как золотая рыбка в аквариуме, и жил огонек. И ветер не трогал его, и он тихонько сидел на фитильке обычной коптилки «волчьего глазка», поставленного посреди банки, и помаргивал очень скромно, даже вроде как сконфуженно: «Простите меня за смелость, но вот — горю!»

Глаза привыкли к его чуть зримому свету, и стало видно: у банки нет дна и установлена она на каких-то железках, так что воздух проходит под нее и огоньчишко не задыхается, а и вправду горит.

А рядом с банкой — все это только постепенно выступало из черноты — на железном противне лежит кучка тонко нащипанных лучинок. Довольно большая кучка, точнее, две: справа — свежие, слева — с обожженными концами. И над ними установлен кусок фанеры с какой-то, сделанной, по-видимому, углем надписью. Кто

писал, что писал, зачем?

Фанерку пришлось придвинуть к самой банке. И тогда мы прочли на ней слова, поразившие нас в самое сердце.

«Дяденька (или тетенька), — было написано там. — Зажги огонек! Если прикуришь, положи лучину назад, их трудно доставать. А если пойдешь наверх, свети себе: на третьем этаже провал».

— Послушайте, Эль-Ве, — пробормотал Николай Корнеевич, после довольно долгого молчания. — Я не верю. Этого не может быть. Мы что, в сказку пришли?

Он взял лучину, опустил ее сверху в прозрачную урну, нацепил на нее огненный лоскутик. Вдруг посветлело. Я торопливо полез в карман за папиросами: в блокаде было так — есть огонь, прикуривай, потом неизвестно, будет ли он… Взяв еще пару щепочек, мы быстрыми шагами пошли вверх по лестнице: нам надо было на пятый этаж. А на площадке третьего этажа мы дружно остановились: половина площадки отсутствовала, она рухнула вниз, перил не было. Хороши бы мы были тут, в преисподней тьме, без света…

Летчик, друг писателя Чуковской, открыл нам и ахнул:

— Товарищи, у вас что же, фонариков нет, что ли? Так как же вы?.. Безобразие какое! Я бы обязательно вас встретил, если бы знал! Спички жгли?

— Какие там спички в сказочном царстве! — с торжеством ответил Чуковский. — Вы слыхали лучший лозунг на свете: «Зажги огонек»? Вот. — Он протянул полуобгоревшую лучинку. — Видали? И прежде всего отвечайте: кто это? Кто придумал это неугасимое пламя? Кому пришло в голову? Где этот блокадный Прометей? Сейчас же покажите нам его!

Широкое, грубоватое лицо летчика (у него-то в руках сиял отличный трофейный фонарик с красным и зеленым светом — мечта моряка на суше) расплылось в улыбке.

— Ах, значит, добыли-таки древесину? — с удовольствием сказал он. — Ну молодцы, вот молодцы! А то у них ее дня три не было, так темнота началась — жуть… Да это тут у нас двое ребят, единственные, которые остались во всем доме. Генка и Нинушка. Нет, не брат с сестрой, из разных квартир. Говорят: «Мы тоже хотим что-нибудь делать. Мы же пионеры!» Да лет по двенадцать, что ли. И вот придумали, представьте себе! Уже второй месяц у них эта неопалимая купина горит. Откуда они керосин, фитили берут, не скажу вам… Но молодцы, правда ведь?

Кончилась война. Николай Корнеевич Чуковский переехал в Москву, я остался в Ленинграде. Встречаться нам с ним теперь приходилось нечасто. Но каждый раз, как это случалось, мы, еще

даже не успев пожать друг другу руки, улыбались, как заговорщики, и говорили один другому, точно пароль на фронте, одну и ту же фразу, пропускавшую нас в царство воспоминаний, у дверей которого из глубокой тьмы выступали перед нами две худенькие ребячьи фигурки. Мы говорили: «Зажги огонек!» — и вокруг нас и у нас на душе сразу становилось светлее и теплее.

Я не знаю, сколько еще проживу на свете, но этого удивительного лозунга не забуду никогда.

Н. Тер-Минасова
Тимуровцы

Нынешние ровесники нашего военного отрочества (к счастью, к огромному счастью!) знают войну лишь по устным рассказам, книгам, фильмам. Глядя на экран телевизора, они со скромным достоинством знатоков определяют: «Это танк Т-34»; по стремительному пунктиру огня узнают: «катюши»; по знакам различия немедля называют воинские звания. Осведомленность такая полезна, за нею стоит прежде всего интерес к военной истории.

Однако многие из них (и тут уже — к сожалению) не знают, как жили, что делали, о чем мечтали в войну их отцы и матери, появившиеся на свет слишком поздно для революции, но до поры повзрослевшие. Воспитание гражданина немыслимо без знания им истории: большой истории страны, мира и малой — истории своей семьи, близких, старших.

…Я расскажу о небольшом островке огромного тыла, на котором произошел непростой скачок из беззаботного, ясного, как летний полдень, детства в ту жизнь, окна которой, противоестественно их назначению, наглухо закупоривали маскировочные шторы, перекрещивали бумажные ленты. О жизни при дымящих коптилках, о скудном синеватом военном хлебе и сбереженных красных галстуках.

Нас эвакуировали из Москвы в город Киров. И без того небольшие комнаты общежития пединститута, где нас поселили, разделив фанерными перегородками, превратили в клетушки. Титан с кипятком, возле которого никогда не иссякала очередь. Карточки, которые надо было «отоваривать». Сахарин вместо сахара. Ломтик хлеба на весь день, и почти вкусовые галлюцинации об оставленных далеко дома черных домашних сухарях: у них горьковатый пригорелый запах и солоноватая тающая сладость.

Взрослые работали, напряженно вслушиваясь в сводки Совинформбюро, с открытым отчаянием или тайной мужественной тоской переживали утраты, ревниво лелеяли и будоражили себя памятью о прошлой, мирной жизни, которую в солнечное воскресенье 22 июня расстреляла война. И потому та жизнь казалась им теперь стократ прекраснее, чем была.

А мы, ребята, объединились в свой клан, жили настоящим, гибко приспособясь к его трудностям. Таково уж счастливое преимущество детства: оно свыкается со всем, многое принимает

без раздумий и продолжает свои настырные поиски радости.

В одном мы стали едины со старшими — в недетском своем интересе к сводкам с фронта. И это был первый знак нашего гражданского вызревания.

И был другой знак. Продолжая играть и ссориться, дружить и по-ребячьи интриговать, мы все без понуканий настроились на одну задачу: помогать старшим. Мы мерзли в многочасовых очередях; несытые, в полутемных каморках, с особым, почти недетским упорством готовили уроки. И еще мы научились ничего не просить для себя. Трудное то время вытравляло в нас свойственные многим детям эгоизм, капризность, требовательность.

Паек делился поровну, и нужна была достаточная сила воли, чтобы ту небольшую долю хлеба, что положена на весь день, не проглотить сразу — ведь все время хотелось есть. И не расслабляла, не заманивала, а, напротив, дисциплинировала мысль: «Если съем все сейчас, мама потом отрежет от своей порции». Нельзя было такое допустить: мамы худели и старели на наших глазах — от работы, забот, похоронок…

Мальчишки организовали тимуровскую команду и при этом конечно же «дискриминировали» девчонок: им хотелось казаться мужчинами, заниматься сугубо мужскими делами, заменить тех, кто ушел на фронт. Но женщины тоже воевали, и мы создали свою тимуровскую команду. И началось всамделишное, очень деловое соревнование. Конечно (мы это поняли потом), нас направляли взрослые, но делали они это так умело, тонко, ненавязчиво, что нам и впрямь казалось: мы самостоятельны. А самостоятельность — это и потребность брать на себя все более трудные дела, и почти взрослая ответственность.

Поначалу мы организовали художественную самодеятельность. Наши концерты, видимо, вносили разрядку в постоянное напряжение, с каким жили старшие, — ту разрядку, которая так нужна людям, переживающим трудную пору.

Наши выступления собирали всех обитателей общежития. Потом, не расходясь, люди подолгу рассказывали друг другу о событиях на фронте. Здесь были отвоевавшие свое бойцы. Читались стихи Симонова и памфлеты Эренбурга, говорили, вспоминали, строили планы. Именно тут, на скромных этих концертах, люди, прежде не знавшие друг друга, взаимно отгороженные каждый своими невзгодами, роднились в коллектив.

Вскоре из общежития мы перешли со своими концертами в госпитали. Это стало нашей второй жизнью, делом столь же важным и постоянным, как школа и работа по дому.

Мы были универсальными актерами: пели, танцевали, читали стихи, разыгрывали скетчи. Очень скоро нашло нас «признание»: госпитали приглашали наперебой. А днем — школа, и магазины, домашние задания и репетиции. Мы очень заботились об обновлении репертуара: нельзя с теми же номерами выступать дважды в одном месте!

В узком проходе, сжатом койками раненых, девочка танцевала вальс, который назывался красиво и грустно: «Бабочка с подбитым крылом». Она принесла его из довоенного детства, из балетной школы и танцевала почти профессионально.

Вдруг погас свет. Мальчик-аккордеонист остановился. А зрители дружно закричали:

— Девочка, танцуй! Танцуй, милая!

И во мраке, лишь слегка окропленном мерцанием кем-то найденной свечи, вновь зазвучала нежная, мирная мелодия.

Успехом у публики пользовался наш безыскусный пустяковый водевиль «Генерал-майор Бакланов», сочиненный, возможно, еще во времена павловской муштры и неизвестно кем и как занесенный к нам из давнего армейского балагана. Весь смысл этой пьески (да был ли в ней смысл?) состоял в несуразных вопросах царского генерала, делавшего смотр войскам, и в не менее глупых рифмованных ответах вытянувшихся «во фрунт» солдат. Мы добросовестно выпучивали глаза, рыкали писклявыми голосами, путали команды… И все это, наверное, было смешно, как клоунада, как раешник.

А быть может, солдат, взглянувших напрямую в глаза войне, оторванных от своих семей, от собственных ребят, просто трогало нешуточное наше рвение, искреннее стремление доставить им радость. Потому они и радовались, смеялись до слез, аплодировали. Те, у кого целы были руки.

Конечно, мы не только выступали с концертами. Мы делали все, что положено тимуровцам. Точно по Гайдару: помогали семьям фронтовиков, престарелым людям, приглядывали за младшими, быстро становясь умелыми няньками. Мы научились полностью обслуживать себя, чтобы не быть лишней тягостью и в без того отягощенной — работой, неустроенностью, недоеданием, скорбью — жизни родителей. Мы мгновенно откликались на любой призыв старших: участвовали в заготовке дров, мастерили подарки для фронтовиков, штопали одежду, научились стирать и готовить.

Один из нас, тогдашних тимуровцев, стал видным комсомольским работником; другой — популярный обозреватель на телевидении; третья, пройдя нелегкую школу жизни, оставшись без отца, работала, одновременно училась и стала

инженером-маркшейдером, специалистом нелегкой мужской профессии. Конечно, они стали достойными людьми не потому только, что прошли через «тимуровство», познали в детстве недетские заботы и прежде, чем это считается положенным по возрасту, поломали в себе ребячьи слабости, преодолели беспомощность, инфантилизм, свойственный опекаемым. Не только поэтому. Но и потому — тоже.

В 1944 году мы возвращались домой, в Москву. Здесь еще шла трудная жизнь, многим ее пришлось налаживать заново. Но уже приближалась Победа. Трудно было всем, а потому каждый старался подставить плечо другому — дружбу, скрепленную совместными делами, совместным преодолением тягот, совместными радостями, мы сохранили на долгие годы.

А. Пальм
Хлеб на бинтах

У меня хранится самодельная книжица, скроенная из обложки довоенной «Большой Советской Энциклопедии». На ней написано: «Членский билет № 1» группы «Капитан Нельсон». Стоит мне взять ее в руки, как память уводит в детство — на Северный Кавказ, в город Грозный.

«Группа» состояла из школьников, детей рабочих и служащих промыслов «Грознефть». Все мы жили в Красном городке, поселке, где по обе стороны асфальтированной улицы стояли двухэтажные дома с балконами. На вторые этажи вели деревянные лестницы, но самые ловкие предпочитали забираться и спускаться по ветвям лип и ясеней, которые подступали к домам.

Мы долго играли «в Испанию». Бросали в «их» танки «гранаты», изо всех сил кричали: «Но пасаран!» За три точных попадания полагался «орден Дон Кихота». Галя Болотова, комиссар группы Нельсона, нарисовала испанского идальго в тельняшке, с гранатой у пояса и красным знаменем в руке. Я тоже получу этот «орден», но уже тогда, когда город станет прифронтовым.

Мы ложились и просыпались с Испанией, не зная, что война стоит у порога нашего дома.

Странное дело, весть о ее начале была воспринята нами с энтузиазмом. Конечно же пора собираться на фронт! Нас одолевало нетерпение.

А Грозный преображался с каждым днем. Опустели улицы. Ветер гонял по ним бумажную метель — уничтожались архивы. Мама заклеила крест-накрест оконные стекла. Врач, она не подлежала эвакуации, так же как рабочие нефтяных промыслов. Крутолобые качалки продолжали качать горючее, не останавливаясь ни на минуту.

Отец Бориса Савельева был буровым мастером, и, случалось, мы помогали ему следить за работой дизелей. Запах нефти и теплого железа преследует меня по сей день. Он вплетался в курлыканье нефтяных качалок, а сердце замирало от сознания того, что Над головой расположен рубильник, подсоединенный к взрывчатке. Это — на самый крайний случай. Рабочие были вооружены и состояли в истребительных отрядах, одним из которых командовал капитан милиции Дербишин.

Я запомнил этого богатырского сложения человека в аккуратной гимнастерке с белоснежным подворотничком. Самое

яркое воспоминание — Дербишин и пленный немецкий летчик. Летчик шел по главной улице Красного городка. Слева от него — Дербишин с наганом в руке. Никогда я не видел так близко врага. Молодой, нахальный, он шел и ел вишни. Не берусь описывать свои чувства. Одно помню — недоумевал: почему Дербишин, нет, не стреляет, почему не отберет у него вишни?! Я стоял на дороге и во все глаза смотрел на летчика, который прилетал затем, чтобы убить меня и моих друзей.

Я очутился на улице до отбоя сигнала воздушной тревоги. В бомбоубежище было душно. Вентилятор помогал мало. Он приводился в движение при помощи маховика, ручку от которого по очереди крутили все, кто прятался под землей. Там горел каганец — сплющенная консервная банка, заправленная керосином с солью. Разговаривали шепотом: боялись, что летчики с «юнкерсов» могут услышать.

У меня было срочное дело — в условленном месте ждали Боря Савельев, Боря Малинин, Ваня Хрестюк, Люся Ольховская. Ехать надо было на трамвае к вокзалу. Десятиклассники из нашей школы уезжали на фронт. Как потом выяснилось, их послали под Эльхотовские ворота, в долину, которая открывала дорогу на Грозный.

Однажды — это было позже — я упросил сержанта Горшенина, шофера полуторки из 10-го гвардейского стрелкового корпуса, взять меня с собой. Ехали мы в сторону Эльхотова. В долине открылось поле недавнего боя. Только что сержант шутил: «Мою фамилию легко запомнить: есть генеральный прокурор Горшенин, так я — не он». Фамилия сержанта забудется и снова вспомнится, а то, что открылось моему взору в сыром тумане уходящей осени, останется в сердце навечно.

Земля была сплошь перепахана воронками. Еще чадили подбитые танки. Взрывы вывернули их внутренности. Один танк был проломан насквозь, видимо, болванкой из орудия большого калибра. Из бака тягача тонкой струйкой вытекал соляр. Убитых еще не успели убрать. Ленты на бескозырках рассказывали: «Черноморский военно-морской флот», «Каспийская военная флотилия», «Тихоокеанский военно-морской флот». Лежали на земле граненые пластмассовые медальоны. В них, как я знал, находились кругляши бумаги с фамилиями владельцев, адреса их родных. Почтовые ящики смерти…

Я опоздал на проводы десятиклассников. С того места, где я находился, надо было перейти по мосту через реку. Как сейчас понимаю, мост был невелик, каких-нибудь шестьдесят метров, но почему-то он тогда казался мне бесконечным. Вода горной речки слепила. Хотелось кричать всем идущим навстречу: возьмите

меня за руку, переведите на ту сторону. Но крик застревал в горле, и я в сотый раз отступал, не умея объяснить себе сути происходившего. Наконец, закрыв глаза, дошел примерно до половины моста. Крик ослика, тащившего арбу с овощами, заставил вздрогнуть. Открыл глаза, и все повторилось: рев потока воды буквально сшиб меня с ног, и я потерял сознание. Очнулся дома с высокой температурой. Мама сказала: «Малярия».

Адрес, по которому военный патруль принес меня домой, был записан в «Членском билете № 1». Среди фамилий участников группы «Капитан Нельсон» значилась и фамилия Дербишина-младшего — Толика. Можно представить себе лица солдат патруля и недоумение капитана милиции, на стол которому лег документ, подтверждающий наличие «подпольной организации» на территории Октябрьского района.

— Зачем вам это нужно? — спросил Дербишин, собрав нас всех у себя в кабинете.

— Чтобы помогать друг другу.

— Это правильно. Нашим бойцам нужны бутылки с горючей смесью. Не хватает пустых бутылок. Приносить будете к нам во двор. Ясно?

Лишь один раз Дербишин улыбнулся. На его вопрос: «Почему «Капитан Нельсон»?» — я ответил: «Он был бесстрашным капитаном». Дербишин устало поправил: «Адмиралом». На прощанье мы выторговали привилегию — ходить на стрельбище истребительного батальона. Стреляли неплохо — из трехлинейки, пистолета ТТ, нагана.

Нас объединило чувство коллективизма, необходимость как-то защищаться от хаоса и одиночества. Война сблизила нас, детей фронтовиков. С легкой руки Гали Болотовой капитан стал выше адмирала. Впрочем, военные уставы мы «подгоняли» к себе. Мы знали назубок слова воинской присяги, разбирались в боевом уставе пехоты, азах топографии.

Между тем канонада приближалась к городу. Осенью 1942 года танки Клейста достигли окраины Орджоникидзе. Ожесточенные бои шли подле селения Майрамдаг, возле Эльхотовских ворот, у входа в Саурское ущелье. Гитлеровцы намеревались захватить Военно-Грузинскую дорогу, по которой шло снабжение советских войск и жителей Грозного. Так что каждый ломоть хлеба, который мы ели, был оплачен кровью. Его давали по карточкам, 300 граммов на иждивенца. Наша группа к тем 300 граммам получала добавку. Происходило это таким образом: чуть свет мы отправлялись к оборонному госпиталю (почему он так назывался, не знаю до сих пор), возле Клубной горы разделялись, и каждый шел к своему окну.

Мое окно — на втором этаже, четвертое справа. Совсем недавно там был наш класс. Но уже в начале войны привезли раненых. На классной доске не успели стереть: «Анна унд Марта баден». Однажды обожженный летчик-истребитель закричал, чтобы детей в госпиталь не пускали. А мы шли с гостинцами: вареными початками кукурузы, огурцами, абрикосами. На крик прибежал комиссар госпиталя Грачик Карапетович Мадонян. Он забрал нас к себе в кабинет и предложил посмотреть на звезды — школьный телескоп стоял у него на столе. Комиссар забыл, что на дворе день. Наверное, он хотел нас утешить. Однако ходить в палаты временно запретил. Зря, конечно. Шла война, и ничего нельзя было от нас скрыть.

Память похожа на склад с кинопленками. Воспоминания живут там своей жизнью, подчиняясь единственному киномеханику — времени. Оно сортирует их. Вот эти — для каждого дня. Эти — близким людям, пусть поглядят да вернут. А вот эти — только для себя.

Моя память привязана ко второй палате оборонного госпиталя. Там находился человек, который никаких поручений не давал и ни о чем никогда не просил. Он был «лежачим» и третий год не вставал с койки. Он был пограничником и взорвал себя гранатой в первый день войны. Его часто оперировали. Палата получала на пограничника паек и распределяла детям за окнами. Я не должен напрягать память, чтобы увидеть, как раскрывалось окно и чьи-то руки подавали хлеб на бинтах… Много лет я искал Якова Васильевича Реву. Помог случай. Вдруг обнаружилось, что живет он в селе Песчаном Днепропетровской области. Встретились…

Грозный долго не бомбили, но, когда надежды фашистов на грозненскую «бензоколонку» рухнули, они решили сжечь нефтеперерабатывающие заводы. И вот они налетели — Ю-87. Под прикрытием «мессеров», тремя волнами. Я был на огороде, копал картошку. Самолеты разворачивались над моей головой и устремлялись к Старому городу с его заводами и бензохранилищами. Били зенитки, вспучивая синеву неба белыми, как будто из ничего рождающимися облачками. Метались «ишачки» — истребители устаревшей марки И-16.

Страха не было. Детство бесстрашно еще и потому, что у него нет опыта, оно не знает размеров опасности.

Бомбы угодили в мазутохранилище, расположенное в горах. Волны горящего мазута хлынули на городские окраины. Взлетали в воздух укрытые маскировочными сетями бензохранилища. Бомбы ложились на территорию нефтеперегонного завода. Ракеты указывали цели для бомбометания. Такое тоже было.

Оборонный госпиталь от бомбежки не пострадал. Мы ходили туда, читали книги, помогали медсестрам, бегали для раненых на базар. Чаще всего покупали для них самосад — красная тридцатка за два больших стакана.

Писали письма: «Дорогая моя жена, Татьяна Георгиевна, а также дети, Ванятка и Светочка! Пишет вам отец, а ныне инвалид Великой Отечественной войны Советского Союза…» Уйму писем на все случаи жизни. Откуда только слова брались!

А Старые промыслы горели. Мир изменился — в нем пропало солнце. Затянутое дымом, оно превращалось в багровый пятак. Очень скоро не осталось неба — только жирный дым да пламя. Сутки… двадцатые… тридцатые… В это время был получен приказ об эвакуации в Ташкент. Уезжали только дети. Наш эшелон далеко не ушел. «Мессеры» поочередно снижались над вагонами с красными крестами и строчили из пулеметов. С потолка сыпались щепки, с полок текло варенье из разбитых банок. Крики, стоны, безумные глаза. Вспомнилось поверье, жившее среди мальчишек нашей улицы: «Погибают те, у кого на фронте некому держать пули». Мой отец наводил переправы на Волге под Сталинградом, и я уцелел…

Однажды я сделал открытие: капли дождя похожи на слезы. Невесть какое открытие! Но это были слезы Гали Болотовой — она читала то последнее письмо, что приходит с фронта, — казенный треугольник. Все дожди, которые были после и которые еще будут, не стоят одной Галиной слезинки. Да она больше и не заплачет. Возле Эльхотова стоит обелиск в честь девушек-зенитчиц. Там и ее имя.

Мне понятен смысл легенды, услышанной недавно в горах Саян от чабана-тувинца. Есть, оказывается, в горах ущелье, где спрятались все голоса минувшей войны. Склад ужасов.

Оттого у меня на Украине тишина. Мы бережно храним большой мир на земле.

Ада Левина
«Дорогая военная цензура!»

На картонной карточке детского лото — щенок. Веселый, хвост трубой, уши торчком. На обороте стихи:

А кому отдать щенка?
Пять недель ему пока.
Надо с ним гулять почаще,
Не водить без поводка.

Рядом с этими печатными строчками — другие, выведенные неустоявшимся детским почерком. И хотя лиловые водянистые чернила изрядно выцвели, разобрать можно: «На вечную память Адочке Левиной от воспитанницы детдома Суховой Нины». И приписка: «Дорогая военная цензура! Очень прошу собачку не выкидывать!»

Чтобы оценить всю щедрость этого подарка, надо знать: эта карточка лото — быть может, единственная вещь, вынесенная из дома, сожженного войной, единственная память о детстве, о комнате, где светила по вечерам лампа, смеялись подружки и мама читала Нине эти стихи про щенка… Вероятно, даже сердце сурового военного цензора дрогнуло, когда он прочел это обращение девочки из детдома, и «недозволенное вложение» осталось в конверте.

И вот лежит с тех пор эта карточка детского лото с изображением щенка на самом верху толстой папки детских писем, что хранятся у меня свыше сорока лет. Как попали они ко мне?

Жила-была девочка. Обыкновенная школьница, пионерка. Когда началась война, ей было десять лет, когда кончилась — четырнадцать. Она жила, как и все ее сверстники во время войны, — училась в холодной, нетопленой школе, собирала бутылки для зажигательной смеси, ходила в госпиталь читать бойцам книжки и гладить бинты, стояла в долгих очередях за хлебом, копала картошку, радовалась, когда с фронта прилетал на сутки двоюродный брат, и горько плакала, когда пришло известие о его гибели. Названия многих городов она узнавала из сводок Совинформбюро. Когда эти города оставляли с боями, голос диктора был пронизан болью, но зато, когда их отвоевывали обратно, их имена звучали как стихи — гордо и возвышенно… Но не только сообщения радио — вся война — и

воздушные тревоги, и эвакуация, и первые победные салюты — отдавались в сердце девочки, рождая особое эхо — стихи. Однажды она послала их в «Пионерскую правду». Стихи напечатали, потом еще раз, потом стали печатать и ее рассказы. И под каждым стоял адрес автора: Москва, 142-я школа и класс: сначала пятый, потом шестой, седьмой.

Как-то почтальон принес по этому адресу первое письмо. А скоро письма стали приходить десятками, сотнями.

Что рождало этот удивительный отклик? Я думаю, дело тут не в самих стихах или рассказах.

В «Пионерской правде» 1943, 1944, 1945 годов рядом с этими стихами печатались сводки Совинформбюро, фотографии сожженных городов и деревень. Война безжалостно оборвала самые кровные, самые естественные связи, необходимые растущему человеку, трепетные ниточки, которые тянулись от него к матери, отцу, брату, сестре. Но на ребят, заброшенных войной далеко от дома, может быть, навсегда лишенных родителей, оторванных от прежних друзей, подружек, иногда большее впечатление, чем сами стихи, производило то, что под ними стоял адрес: Москва, 142-я школа, 6 класс. Значит, сверстница, значит, можно ей написать, получить ответ, завести дружбу.

«У меня никого нет — ни папы, ни мамы, и я решила написать тебе» — эти слова чаще всего встречаются в письмах.

Многие письма не сохранились: прошла целая жизнь. Но те, что остались, приобрели особенную ценность.

Сейчас, когда перечитываешь пожелтевшие листочки со штампом «Просмотрено военной цензурой», видишь: эти письма — странички истории Великой Отечественной войны, странички, написанные детскими почерками. Поражает их язык. Конечно, в дни войны все вокруг — и в школе, и дома, и по радио — говорили точно таким же языком. Но сегодня прежде всего замечаешь, что рядом с привычными для ребят словами: класс, звено, пятерки, учительница, пионеры, экскурсия — соседствуют слова: Фронт, госпиталь, десант, убит, угнали, порушили, горе, блокада, голод, погиб, бомбежка, сожгли, муки, мстить, пожары, плен, эвакуация, тыл, танки, смерть, отчаиваться, фашисты, варвары, враг, разбить… И это не сочинения по истории, не изложение художественных произведений. Это будничные письма двенадцатилетних.

Однажды, когда я перечитывала эти письма, пришел сын соседки — семиклассник. «А ведь он как раз сверстник авторов этих писем!» — подумала я и решила показать ему некоторые из них. Реакция была самая неожиданная. «Надо же! Сколько

ошибок! Учусь через «ю», какие-то «окромя»… А еще пишет: «Учусь на 4 и 5» — ничего себе!»

Мне стало горько и обидно за своих сверстников военной поры. Нет, не виноваты они в этих ошибках. Война помешала им учиться, отняла школы, заставила чаще держать в руках лопату, заступ, чем карандаш.

Война вырвала ребят из родных мест. По письмам видно: девочки, которые еще недавно бегали по улицам Киева, шлют письма из Саратовской области, ленинградцы — из Ярославской и Свердловской, украинцы — из Азербайджана, минские школьники — из Актюбинска, Таджикистана. Но и там они ощущают себя дома. Потому что Родина — не только место рождения, а вся твоя страна. Опытом своей жизни, а не из книг постигли они великую истину, о которой хорошо сказано в одном из писем: «Родина у нас одна!»

> 24 ноября 1942 года
>
> Здравствуй, Ада! Меня зовут Тоня. В школе у нас очень много дел. Пилим дрова, делаем макеты, шьем кисеты, делаем конверты, ходим в госпитали дежурить, читаем раненым газеты, и много других дел там находится.
>
> Мой адрес: Татарская АССР, г. Агрыз, ул. К. Маркса, д. 5-а, Барановой Тусе.

> 12 марта 1944 года
>
> Мне 12 лет, я учусь в 4-й группе, учусь хорошо. Меня премировали, дали атласное платье и карандаш. Ада! Пришли песен каких-нибудь, а я тебе напишу в другой раз частушки и стихи. Горъковская обл., Д-Константиновский р-н, Кужутский с/с, село Курилово, Ляпиной Нюре.

До сих пор с уважением смотрю на эти строчки — первые строчки, выведенные только что отточенным драгоценным — недаром он был премией! — карандашом «Сакко и Ванцетти».

> 29 июня 1944 года
>
> Шлю привет из солнечного города Андижана. Желаю наилучшего в вашей школьной жизни. Как я жалею, что этот проклятый, кровожадный зверь гитлер (так! — А. Л.) разлучил меня со школой. Но ничего, скоро его прогонят, тогда я снова вернусь в школу и буду учиться. Училась я в 8-м классе и пришлось бросить и начать работать.

Сейчас я работаю старшим кондуктором в г. Андижане. И один раз мне попала на глаза «Пионерская правда» со стихотворением «Костя Кравчук». Решила с Вами познакомиться, чтобы Вы мне на память написали стихотворение про девушек-кондукторов, которые помогают фронту. Мой адрес: г. Андижан, кондукторский резерв, Одинцовой Марине.

Все многозначно в этих письмах. Даже подписи.

Август 1944 года

Привет с Урала!

Примите от меня горячий, пламенный привет. Пишет вам это письмо Шевелев Коля с далекого Урала. Я читал о вас в газете «Пионерская правда». И вот я вам пишу письмо и думаю, что вы мне на это письмо дадите ответ. Я пишу потому, что у меня нету никого — ни мамы, ни папы, ни сестры — я один. Я комсомолец. Папа погиб на фронте, и некому написать письмо, и я решился написать вам. Пишите.

Шевелев Коля Яковлевич, год рождения 1929.

Вот мой адрес: Молотовская обл., г. Кизел, почтовое отделение № 4.

29 сентября 1944 года

…Мне вспомнился наш город и его красивые, все в зелени улицы, дворцы, Дом правительства. Немцы искалечили город, они разграбили его. Но пройдут годы, наш Минск встанет из пепла, будет по-прежнему таким, каким он был до войны. Я сама эвакуировалась из города 25 июня 1941 года, в то время, когда Минск подвергся страшной бомбардировке. Я видела, как горел наш парк имени Горького. Сейчас я живу в Актюбинске, но уеду в свой город, где я прожила все свое детство…

С дружеским приветом к вам

Надя Лашнова. г. Актюбинск, Аэропорт, д. 3, кв. 4.

18 декабря 1944 года

Я учусь в 7-м классе. В нашем городе были немцы и когда отступали, то много пожгли и порушили домов. Есть только кино. Показывали «Жди меня», «Фронт», «Небо Москвы». Не обращай внимания на мои ошибки. Мы год не учились. Пиши по адресу: Сталинская обл., Дзержинский р-н, шахта «Артем», ул. Папанина, дом 39, ход 1, Фроловой Луизе.

Авторам этих писем от двенадцати до шестнадцати лет.

Взрывная волна войны выбросила их из детства сразу во взрослую нелегкую жизнь. У них не было отрочества, когда человек взрослеет постепенно, когда душа его мужает, а имя — еще непривычное, взрослое — Петр, Николай, Анна — ищет и находит опору в отчестве. В этих подростках еще живут Петя, Коля, Аня из довоенного беззаботного детства. Но на их плечи уже легла ответственность за судьбу младших, за работу, кто-то стал «головой в семье». Опора отчества понадобилась им до срока. И в том, как они подписывают свои письма: «Коля Яковлевич», «Петя Потапович», «Зина Павловна», «Аня Андреевна», — тоже безжалостный шрам войны.

«Погибли», — пишут девочки как об отцах, сраженных на войне вражеской пулей, так и о матерях, сраженных голодом в блокадном Ленинграде. И они правы, ставя этот глагол равенства. Матери, хотя они и не держали в руках оружия, тоже воевали и погибли геройски: они отдавали свой хлеб детям, которые потому и выжили.

Оттого и вызвало столько писем бесхитростное стихотворение «Родная», напечатанное в «Пионерской правде» 8 марта 1944 года:

С широко раскрытыми глазами,
Сладкий сон стараясь превозмочь,
Я лежу и думаю о маме.
Нет ее, она дежурит в ночь.
Мамочка, любимая, родная,
Предо мной твой образ дорогой,
Я тебя веселой вспоминаю.
Молодой, красивой и простой.
Ты уже немножко поседела.
Но глаза по-прежнему блестят.
Ты берешься за любое дело
Молодо, как много лет назад.
Ты одна из лучших на заводе,
Знают все фамилию твою.
У станка ты целый день проводишь,
Ты в труде, как фронтовик в бою.
В полночь возвращаешься с работы.
Поздно. Ты устала. Надо спать.
Ну да где там! Думы и заботы
Не дают, родная, отдыхать.
Как бы я за домом ни смотрела,
Как бы ни старалась помогать,

Все равно найдешь себе ты дело,
Потому что ты, родная, — мать.
А когда, управившись с делами,
Ты придешь меня поцеловать,
Я тебе, моей любимой маме,
Начинаю тайны поверять.
Обо всем советуюсь с тобою,
Расскажу о школе, о кружке…
И шершавой ласковой рукою
Ты меня погладишь по щеке.
Широко открытыми глазами
Я гляжу на звездные пути.
Я не сплю, я думаю о маме,
Лучше мамы друга не найти.

Письмо не датировано

Привет из Сибири!

Живу я в детском доме № 5. Учусь в пятом классе. Зовут меня Эмма Горбунова. У меня нет никого. Я тоже писала стихотворения, а теперь не стала.

У меня умер дядя от голода в Ленинграде, а мама умерла в 1943 году, когда приехала из Ленинграда.

Если тебе хочется со мной переписываться, то пиши все о себе, как ты учишься, напиши о своем отряде, чем вы занимаетесь. Привет всей школе № 142 от всего детского дома Новосибирска, от нашего директора Пикусты Кузьминичны Телегиной, которая заменяет нам мать.

Пикуста Кузьминична — лишь одно имя из бесконечного списка женских имен в этих письмах из детских домов. Имен учительниц, воспитательниц, вожатых, поварих. От них передают приветы, как от родных. Потому что преждевременно повзрослевший, осиротевший двенадцатилетний человек жив не хлебом единым — жив он и приветом, и взглядом.

Конвертов у этих писем нет. Письмо складывалось треугольником и само себе служило конвертом. Писали между строк книг и газет, на обороте осторожно отклеенной этикетки консервной банки, на страницах старых конторских книг.

По тому, как меняется внешний вид писем, можно определить — писались они в начале или в конце войны. Вот листок из счетоводной книги, где адрес выведен между строк свекольным соком, — зима 1942 года. А вот уже печатная

открытка — на ней танки и самолеты в наступлении и строчки из приказа Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1943 года: «Красная Армия должна еще крепче бить врага, беспощадно истреблять немецких захватчиков, непрестанно гнать их с советской земли».

Письмо 1944 года — на листе-раскладушке (он склеивался по краю). На лицевой стороне, которая служила конвертом, напечатан рисунок: солдат с винтовкой повалил пограничный столб с фашистской свастикой. Наступают танки. На знамени надпись: «За Родину!» Уже близок конец войны… Тут же письмо из детдома, вложенное в конверт, склеенный из какого-то листа с немецким шрифтом, где что-то написано по-русски между строк. Что бы это могло быть? Оказывается, это письмо с фронта, из Германии, сообщающее о Победе, письмо на листке какой-то амбарной немецкой книги. Оно пришло в детдом, а так как конвертов и бумаги у ребят не было, пришлось склеить из него конверт для нового письма в Москву, в детскую газету.

Эти листочки-треугольнички — само свидетельство того, как война пыталась лишить детей книг, карандашей, бумаги, но — не смогла!

> Привет из детдома!
>
> У меня никого нет, только папа на фронте, но я не знаю его адреса. Прочитав стихотворение и увидев адрес, я стала писать тебе письмо. Я живу хорошо. А как ты живешь? Мы — ребята детдома, 1-я группа, переписываемся с бойцами. Я переписываюсь с бойцом Юшевым…
>
> Ивановская обл., Юрьевецкий р-н, село Заовражье, 2-й детдом, 1-я группа, Сергеевой Нине.

И между этими строчками легко читаются типографские строчки учебника: «На сколько гектаров пашни приходится одна соха, одна лошадь?» В 30-е годы по таким учебникам многие из авторов писем решали задачки…

> 23 марта 1945 года
>
> Привет тебе с Украины.
>
> Вчера я по радио узнала о постигшем вас горе, о смерти твоего брата. Ты знаешь, Ада, до чего я на слезы скупая, но я не могла дослушать до конца. До чего твоя жизнь похожа на мою!
>
> Когда меня принимали в комсомол, у меня было два горя: я потеряла папу и своего любимого брата Вову. До чего мой Вова похож на твоего Сережу! Он учился до

войны в 9-м классе. Мечтал быть летчиком. Это был веселый, большой, красивый юноша, любил петь, танцевать. Он погиб при форсировании Днепра. Папа мой был учителем. Он погиб за оборону Кавказа. Как и ты, я осталась вдвоем с мамой, которая работает директором в школе.

Как мне хочется пойти добровольно в автоматчики, чтобы убить хоть одного фашиста за смерть наших отцов, братьев! А сейчас я стараюсь учиться, чтобы хоть чем-нибудь помочь Родине, прискорить победу над врагом. Я учусь в 9-м классе, комсорг в школе.

Пиши мне по адресу: Запорожская обл., Михайловский р-н, с. Михайловка, 3-й сельсовет, 8-й квартал, Лактионовой Ядвиге.

4 апреля 1945 года

Мы — коренные ленинградки. Сейчас живем в Ярославской области, потому что во время блокады Ленинграда у нас умерли родители и мы с детдомом эвакуировались сюда, а здесь живем и учимся и после учебного года уедем в Ленинград.

Я работаю здесь начальником штаба отряда. Мне 13 лет. Скоро я тоже вступлю в комсомол. Я учусь в 5-м классе. С 1-го класса иду отличницей. И дальше буду так учиться.

У меня папа был водитель тяжелого танка, попал в окружение на Украине и погиб, другого бойца фашисты сожгли в танке. За все это им не поздоровится! У меня на фронте дяди есть, так они им за все наши муки отомстят. У меня и всех остальных девочек матерей нет: они погибли во время блокады Ленинграда. И поэтому мы с любовью выучили стихотворение «Родная». Пионерское спасибо за него. Привет твоей маме. Пиши нам письма по адресу: Ярославская область, Бретовский район, п/о Покровское на Сити 113 д/д., Павловой Маргарите.

14 апреля 1945 года

Не удивляйся, что пишет тебе незнакомая девочка. Я прочла в газете про тебя, узнала, что убит твой брат, что ты вступила в комсомол. И я решила познакомиться с тобой.

Сейчас я нахожусь в детдоме. Учусь в седьмом классе. Мой папа лежал в госпитале, и уже, наверное, его нет. Я посылала в госпиталь, и мне оттуда отвечали, что он умер. Но мне не верится, и я считаю, что он живой.

Маму мою немцы угнали, и я не знаю, жива она или нет. Мы с мамой и папой и еще двумя сестрами и братиком жили в Киеве. Когда маму угнали немцы, то я с сестрами и братишкой не знала, что делать. Но когда освободили город, то нас взяли бойцы. И вот мы теперь здесь. Братик Володя учится в 4-м классе. Сестра Оля учится во 2-м. А Светлана — ей только шесть лет, она не учится.

Я учусь хорошо. После школы я быстро выучу уроки, и мы помогаем младшим детям. Ходим с ними на экскурсию, катаемся на лыжах. Летом мы сажаем свой огород. Все дети детдома помогают колхозу и работают у себя в детдоме.

Привет всем девочкам из вашего класса. Передай привет своей маме от Оли, Светы, Володи и от меня.

Адрес: Саратовская обл., Красноармейский р-н, с. Высокое, детский дом, Грищенко Дусе.

5 мая 1945 года

Я учусь в 7-м классе, но немножко хромаю по математике. Обещаю вам, что исправлю геометрию с 3 на 4, даже на 5.

Народ у нас здесь истощенный, хлеба дают мало: на рабочие карточки — 500 гр., на служащие — 400 гр. и на иждивенцев и детей по 200 гр. безо всяких прибавок и кондитерских изделий. В столовой дают синенький суп, да для тракторного парка ячменную кашу, и все. Но ничего, у нас сейчас уже весна, везде зелено, цветы и деревья распустились, тугай весь зазеленел. На огородах уже стали сеять овощи — арбузы, дыни, огурцы, редьку, редиску.

Туркм. ССР, Марыйская обл., Иолтанский р-н, совхоз Санди-Качи, Ильиной Алле.

13 июня 1945 года

Я — воспитанница детского дома. Мы живем хорошо, веселимся, играем. Картофель уже весь посадили. Теперь поливаем в огородах. Наша бригада работает ударно. Я вам хочу сообщить о своей жизни. У меня есть две сестры — Маня и Фотя. Моя мама померла, папочка на фронте погиб. Мой брат Федя в Сормове, уже давно нет письма. Привет ото всех девочек — Раи, Розы.

Если я получу письмо от вас, то я вам вышлю платочек. Привет от воспитателей Эльзы Якимовой, Полины Васильевны, Клавдии Ларивоновой, Елены

Петровны, тети Шуры. До свидания. С приветом

Павлина Васильевна.

Адрес: Горьк. обл., Коверненский р-н, Хохлома, детдом, Фомичевой.

28 июня 1945 года

Привет из Устья!

Здравствуй, дорогая подруга Адочка! Я пишу тебе письмо, но ты меня не знаешь. Я прочитала в газете твое стихотворение и решила тебе написать. Мне ни от кого письма не ходят, потому что у меня никого нет. Были родные, но теперь не знаю, где они находятся. Меня зовут Галя, фамилия Смирнова, я эвакуирована из БССР из города Могилева и живу в детском доме № 1 уже пятый год. Перешла в 6-й класс. Я думаю, что ты мне напишешь про все. Жду ответа. Галя Смирнова. Вологодская область, Устъ-Кубинский район, пос. Устье, детдом № 1, Смирновой Галине Ивановне.

14 декабря 1945 года

Я такая же девочка, как и ты. Живу я в Верхнем Баскунчаке, который, так же как и Москву, бомбили фашисты. Наша небольшая станция когда-то была красива, а теперь все разбито, разрушено. Но немного стали отстраиваться. Я с 1931 года, учусь в 6-м классе. Нужно бы в 7-м, но мы все не учились один год, помешала бомбежка. Пиши по адресу: Астраханская область, Владимировский р-н, В. Баскунчак, ул. Советская, д. 67, Зелениной Вале.

И последнее письмо. Оно, как и три предыдущих, написано уже после войны. Но в них — ее живой отзвук.

20 марта 1947 года

Мы в детском доме живем хорошо, весело, здоровье у нас хорошее. У меня нет ни папы, ни мамы, только есть сестра и брат. Мне 13 лет, учусь в 4-м классе. Как у вас с учебниками? У нас — ничего. Пиши, с кем ты живешь, сколько тебе лет. Мой адрес: НСО, Коченевский р-н, Ново-Михайловский д/д, Замлетдиновой Юле.

Их разбросало по всей стране, но слово «Родина» все они пишут с большой буквы. Родина оказалась велика не только своими размерами, но и щедростью народного сердца. Детей одевали, учили, даже селили в общежитии, чтобы зимой не

приходилось ходить в школу за восемь километров… У всех были чернила и стальное перо — письма ведь написаны! Хотя каждый кусок металла ценился на вес золота. И все же в те годы выпускали не только танки, но и забытые теперь школьные перья № 86. И была у ребят — такая нужная им! — своя, детская газета «Пионерская правда», через которую они слышали голоса друг друга.

Письма в нашу школу приносила в брезентовой сумке от противогаза почтальон тетя Поля — немолодая женщина в растоптанных огромных мужских ботинках. Она шла к школе от Белорусского вокзала мимо противотанковых надолб, вбитых в землю осенью сорок первого года, мимо домиков нашего Лесного переулка с крест-накрест заклеенными окнами и, войдя в школьный двор, останавливалась, по доносившимся звукам определяя, где мы. Если тихо или заливается звонок, значит, в помещении, в школе. Если визжит пила, значит, на заднем дворе, у входа в котельную. Чаще, чем в классах, нас можно было застать именно там.

Едва доставая до высоких козел, мы пилили дрова. Угля не было, и четырехэтажную, только что выстроенную перед войной школу приходилось отапливать дровами. Дрова мы привозили сами на открытых грузовых трамвайных платформах, которые выделяли шефы — трамвайный парк имени Петра Щепетильникова. Ночью, когда все остальные трамваи покидали линию, наш грузовой, на платформе которого мы — сорок девчонок и мальчишек, закутанных кто во что горазд, отправлялся к дровяным складам Серебряного бора. Мы ехали через затемненную Москву, леденея на ветру, глядя на небо, небо сорок третьего года — со скрещенными саблями прожекторных лучей и плавающими чудищами аэростатов. Грузили бревна в темноте, торопились… Надо было успеть убрать с путей платформу до начала утреннего движения трамваев. Наша гусеница-сороконожка (бревно, как туловище, в середине и по десять ребят с каждой стороны) перебирала ногами быстро-быстро — от трамвайных путей к школе. Потом целыми днями мы пилили и кололи толстые, неподатливые, промерзшие до сердцевины бревна. Но в классах все равно было холодно.

Наша школа в Лесном переулке была обычной московской школой военной поры. И когда во дворе появлялась почтальонша тетя Поля, то, обнаружив нашу дружную команду у бревен, окликала: «Ребята, где тут у вас которая стихи печатает? Опять ей письма написылали… Держи!»

В противогазной сумке тети Поли письма ребят лежали бок о бок с фронтовыми треугольниками, написанными в окопах или на

госпитальной койке, рядом с роковыми конвертами, где минами замедленного действия притаились похоронки. Их везли в почтовых вагонах, прицепленных к воинским эшелонам, их бомбили на станциях. Эти детские письма имели право быть рядом с письмами фронтовиков.

Тетя Поля отдавала нам письма, шла дальше по Лесному, от дома к дому. Ее противогазная сумка становилась все легче, а походка все тяжелей. А мы разворачивали треугольнички и читали их, а потом — чаще всего коллективно — писали ответы.

Нередко мы писали их в метро, ночью, во время воздушной тревоги, когда метро служило бомбоубежищем. На деревянных щитах, разложенных в туннеле, спали женщины и дети. И мы тоже проводили ночи на этих щитах. Иногда мы уходили в метро с вечера, потому что дома не было света — отключали электричество. Вечернее метро было для нас светлым домом. Не обращая внимания на шум и свист поездов, сидя на мраморных скамейках, мы учили уроки и писали ответы на письма. И тоже складывали наши письма треугольниками и надписывали адреса далеких детдомов.

…Я вновь возвращаюсь мыслью к надписи на карточке со щенком: «Дорогая военная цензура! Прошу щенка не выбрасывать!» Да, по законам военного времени военная цензура читала каждое из этих писем. На каждом стоит штамп «Просмотрено военной цензурой» и ее номер.

Не было в письмах сведений ни о перемещении воинских частей, ни о планах военного командования. И все-таки здесь содержались в зашифрованном виде сведения о самом могучем оружии, которое позволило нам победить, — о силе духа народа. Ведь дети — зеркало, отражающее его нравственный облик.

В. Шелике
По дорогам войны и мира

Дороги войны… По ним шли не только солдаты — дети тоже. Пусть это были дороги в тыл — без бомб, без пуль, даже без капельки крови.

Для меня эта дорога началась с Казанского вокзала в Москве. Для меня и еще семисот ребят, детей сотрудников Коминтерна. Нас эвакуировали. Привозили ребят на вокзал мамы. Заводили в вагон, сажали на полку и уходили. Уходили на перрон — глядеть в окно.

Что делалось с малышами! Двух-, трех-, четырехлетние, они не хотели принимать маму за стеклом. Отчаянным криком рвалась наружу тревога: вдруг мама не успеет сесть?

— Ма-ма! — на всех языках мира.

Так начиналась эта дорога войны. Теперь я снова еду по ней. С того же Казанского вокзала, на станцию Ветлужская, где поезд стоит сейчас несколько минут, а тогда, в сорок первом, долго выгружал наше многонациональное племя. За окном моросит дождь. По стеклу ползут струйки, текут медленно, собираясь в капли, как слезы той рыжей англичанки, тогда, за окном. Слезы тоже лились по ее лицу ручьями, а ей так не хотелось, чтобы Гарри их видел. Он и не видел — забился в угол верхней полки. Он, шестилетний, понял, что она так и останется за окном. Война уже хозяйничала в его сердце.

Поезд шел. На каждый вагон — по одной взрослой женщине и по два подростка ей в помощь. И на каждой полке — ребенок, иногда два, ясельного и детсадовского возраста. Легче было тем, кого увозили со старшей сестрой или братом.

— Береги братишек! Береги! Это сейчас твоя главная задача, — крикнула моя мать в уходивший поезд. Она требовала, чтобы я стала взрослой. В четырнадцать лет.

И я стала взрослой, взрослым подростком, как многие мои сверстники.

А теперь я, уже действительно взрослая, даже не молодая, еду той же дорогой, в очень мирном году. Но я вся там, вся в прошлом.

Поезд шел тогда тоже быстро — мчал детей под защиту тыла, в ночь, далеко от мам и пап, но далеко и от бомб и пожаров. Каждую щелочку вагонных окон мы закупорили плотно и надежно, мы уже привыкли к светомаскировке, и в тусклой тьме усталые и перепуганные дети заснули. Заснули без матрацев и

одеял, без подушек, свернувшись комочками. А мы двое — Борька Федотов и я — назначили себе ночное дежурство — следить, чтобы никто не свалился спросонок с тряских полок. Дежурство было самое настоящее, со сменой караула через каждые два часа.

— Вставай, — поднимал меня в очередной раз Борька. Он сам стоял в одной майке и брюках.

— Холодно ведь, ты что?

— Да там двое заревели во сне, озябли, — объяснил Борис. Потом он отдал кому-то и брюки.

А через три месяца Борис добровольно взвалит на себя обязанность, которую никто из нас взять на себя был не в силах. В отделении интерната для школьников, где не было ни одного мужчины, он, пятнадцатилетний, забьет корову и разделает ее тушу. Он останется один на один с той коровой и топором, в темном сарае, никого не пустив на это страшное зрелище. И кровь коровью он умело спустит в таз, и мы сварим из нее на кухне неумело кровяную колбасу. А был Боря городским парнишкой. И лишь однажды в деревне видел, как это делается.

Да, мы взрослели не всегда и не во всем так, как положено взрослеть детям. Мы взрослели в войну. И на четырнадцатилетние плечи — мы не учились этому, нет — просто так, сразу, сумели взвалить ответственность и за себя, и за младших братьев и сестер, и за чужих детей тоже.

Это путешествие в военное детство мы совершаем втроем — мой младший брат и его друг. Столько лет мечтали и наконец собрались. Облазим весь «Лесной курорт», все закоулки.

— Травка, ты помнишь аллею? От пристани до корпусов? А деревья на ней какие — до неба!

Я помню аллею, я хорошо ее помню. По ней мы первый раз шли в интернат, еще ничего не знающие о своем новом доме. По аллее мы ходили потом на работу, в лес — пилить дрова, на речку — дежурить, чтобы не утонули младшие, шли в школу — до переправы. Мы снова шагаем по ней, трое бывших интернатовцев. Я вбираю ее ступнями, ощущаю ладонями, поглощаю глазами. Вот здесь, около этих деревьев, шел солдат и увидел девочку. Чужую маленькую девочку. Сказал: «Доченька» — и поднял на руки, опустил на землю и пошел дальше своей дорогой. А девочка, счастливая, стала всем рассказывать, что к ней приезжал папа.

Как же не помнить нам эту аллею! Ведь здесь же мой братишка взял меня за руку и спросил:

— Можно я буду называть тебя мамой?

Помню, как по этой аллее шла наша мать. Реальная, наяву. Шла медленно, а я неслась ей навстречу: «Мама приехала!» Она

действительно приезжала, немецкая коммунистка, антифашист, говорившая по-русски с немецким акцентом. И найти дорогу к той могучей аллее ей помогали русские люди, прекрасно различавшие чужие интонации, неправильную речь. Шел 1943 год. Война была в разгаре. Но люди помогли найти дорогу к детям немецкой матери, ибо понимали: есть на свете фашисты и есть на свете коммунисты, одни — враги, а другие — друзья…

Аллея вывела нас к корпусам. Вот в этом, крайнем, наверху была наша комната — девчонок-подростков, которые стали нянями, заготовителями дров, огородниками, сторожами, портнихами, вожатыми — всем, кем нужно было стать, чтобы заменить взрослых — кормить, одевать, растить, согревать, воспитывать сотни ребятишек.

В одной из комнат лежал мальчик из Ленинграда. Нам хотелось помочь ему забыть блокаду, бывать у него, рассказывать сказки. Нам запретили: нельзя. Тогда мы решили не есть конфет, которые по воскресеньям нам иногда клали на стол, — пусть будут ему. Нам сказали: не нужно. Мы хотели на него взглянуть. Нам и этого не разрешили. Но мы все же забрались однажды на подоконник и поняли: лучше бы мы не смотрели. Это можно было видеть в кино — и мы видели. На фотографиях в газете — мы и это видели. Но этого, живого, за окном, на постели, ленинградского мальчика, видеть было нельзя. А мы видели.

Дорога войны продолжалась. Ей еще не было конца.

Теперь «Лесной курорт» — снова дом отдыха Горьковского автозавода. По нашим дорожкам ходят отдыхающие. Мы для них — новая группа, неудачно прибывшая — в дождь. И быть может, им, уже ожидавшим конца заезда, было странно видеть блеск в наших глазах. Они не знали, что мы прибыли домой.

Мы были готовы ночевать под кустами, питаться грибами и ягодами — мы помнили их вкус, — лишь бы наглядеться на дремучие леса, найти ромашковую поляну, пойти на обрыв, забрести в ту глушь, что иногда являлась во сне — то ли сон, то ли явь, — все вымерло, одни стволы без листьев, покрытые лишайником, сжатые вросшими кольцами задубелых грибов, мох под ногами, гарь, чернота и тишина, какой быть не может, и все-таки она есть в памяти, на самом дне, и уже не знаешь, существует ли этот лес где-то на земле. Но найти его все равно надо.

Кругом цветы. Скамейка, на которой в ночное дежурство я, городская девочка, впервые увидела падающие звезды. Эстрада с танцплощадкой. Здесь мне впервые вручили письмо — объяснение в любви, подписанное местным начальником почты русоволосым Васей. «Начальник почти» — так он подписался.

В этом корпусе мы, четверо старших ребят — Свет, Сергей, Диониза и я, — провели не одну ночь, сидя в дежурке нашего разводящего Павла Ивановича Кадушина, начальника интерната. Отсюда выходили в очередной обход по интернату, отчаянно труся, за каждым кустом подозревая укрывшегося диверсанта, но не признаваясь ни напарнику, ни себе в столь стыдных страхах.

Отсюда дорога вела к траншеям, вырытым на случай бомбежки. Мы нашли их. Теперь эти щели войны заросли молодыми елками. А под ними — красные, на белых ногах, Мухоморы, красавцы писаные, прямо как на картинках. Ни один мальчишка из дома отдыха не станет здесь играть в войну, до того тут уютно и мирно.

Склад — конечный пункт наших ночных дежурств. Как близко до него теперь и как далеко было ночами сорок первого!

Каждый дом в «Лесном курорте» — наш.

Идем к корпусу дирекции. Вошли, представились, спросили, нельзя ли нам переночевать, купив двухдневную курсовку. И вдруг на лице сегодняшнего директора как на проявленной фотопленке стало проступать другое лицо, лицо молодого красавца, лицо нашего разводящего. Это был он, Павел Иванович! Он!

В ноябре сорок первого года, сдав хозяйство новому директору, он ушел воевать. Был ранен, но вернулся. И теперь опять в «Лесном курорте», как до войны.

Ну разве мы приехали не домой!

Потом в столовой нас остановила женщина:

— Вы интернатские? Да? А меня не помните? Официантку Раю? Нет? Ну да, как вспомнить, вы такие маленькие были. Подвезли вас на лодках к пристани, увидели мы и ахнули: что будем делать? Каждый на своем языке лопочет, мы ему кашу, а он «мама!». Выбежим из столовой на улицу, наревемся и снова кормить. А один, постарше, Рудик, говорил по-русски, но тоже есть не хотел. Вы Рудика не знаете?

Кто сказал, что на свете нет телепатии!

— Знаем. Вот он стоит.

Здоровый мужчина, инженер-вертолетчик. Вот какого откормили!

Еда занимала наши желудки, наши души, наш ум. По дороге в школу, вечером после уроков, утром после завтрака, и днем, и ночью, даже во сне кто-нибудь начинал говорить на тему, на которую мы же сами наложили строжайший запрет.

— А моя мама… — приступал очередной фантазер к созданию живописной картины тарелки жареной картошки с луком и колбасой. Нет, слушать это было просто невозможно, в

воздухе немедленно начинало пахнуть, нос вбирал этот аромат, язык жаждал вкусить, а желудок — желудок властно, как настоящий бандит внутри тебя, требовал утолить его желания. И нельзя было не слушать, и нельзя было слушать.

— Мы же решили! Замолчи!

Но и сладостна была та мука: уйти в фантазию, ну чуть-чуть, на минутку всего, — и уже перед тобой эта вкусная, нет, вкуснейшая, самая наивкуснейшая картошка. О боже мой!..

Детдом наш был интернациональный. И блюда, что описывал очередной нарушитель табу, тоже были интернациональными.

— Все, кончили, — прерывала Диониза очередного кулинара и начинала петь арию или дуэт из многочисленных опер, которые знала наизусть.

«Люди гибнут за металл», — грохотала она, захлопнув устную книгу о здоровой и вкусной пище. И уходили куда-то прекрасные образы простых блюд, которыми когда-то досыта кормили нас мамы. «Сатана там правит бал, там правит бал», — мы уже пели хором.

Голод сделал нас рационализаторами. Придумали, например, как растянуть порцию — кубик масла, который иногда перепадал. Рацпредложение требовало одного — терпения. Масло тонюсеньким слоем намазывалось на кусок черного хлеба, а потом, когда хлеб уже был поднесен ко рту, зубы, не кусая еще, сдвигали масло с того места, что откусывалось, на неоткусанную часть. И так кусочек за кусочком до конца хлеба. В результате нос, губы все время ощущали запах масла, и, если хватало выдержки, его мазали на еще один кусок хлеба.

И все-таки нас по тем временам хорошо кормили. Три раза в день.

Низкий поклон вам, сотрудники «Лесного курорта»! За любовь к детям, за широту сердца, за интернациональный дух. «Лесной курорт» стал домом для детей немецких, венгерских, румынских, финских, австрийских, японских антифашистов, домом для русских, англичан, французов, американцев. Всех накормили, всех сберегли, никого не обидели.

Нет на земле места прекраснее, чем «Лесной курорт». Там началась для нас Родина. Обласкала руками Павла Ивановича Кадушина — первого директора, Раисы Петровны Чирковой — молоденькой официантки, строгого и доброго врача Лукьяновой, мудрой воспитательницы Софьи Павловны Русаковой, златокудрой Оксаны — детсадовского кумира. Интернатским ребятам отдал свое сердце Миндин — начальник лагеря. Здесь, в интернате, оно и остановилось…

Советская Родина. Она воспитывала. Учила любить работу, не

бояться мороза. Мы умели пилить дрова, полоскать в проруби белье, из промерзлой земли выкапывать картошку, ухаживать за животными. И ходили в школу, за семь километров, по льду, трещавшему под ногами. И баловала нас Родина. В праздники — сытным обедом, письмами от Георгия Димитрова, нашего шефа.

И мы любили и любим ее, Советскую Родину. Родину нашего детства. Не вторую, а самую что ни на есть первейшую.

В. Песков
Я помню…

Обычный коробок спичек. Я нашел его неожиданно, отодвинув ящик стола. Стол этот в отцовском доме забыли. Когда переехали жить на станцию из села, старый стол поставили в угол чулана. Там он, покрытый тряпьем, связками старых журналов и всякой всячиной, отслужившей свой век, простоял много лет. Копаясь в тронутом червоточиной выдвижном ящике, я обнаружил жестянку похожих на гвоздики патефонных иголок, обнаружил значок с надписью «Ворошиловский стрелок», футляр отцовских карманных часов. В столе лежали пакет порошков «от желудка», картонный елочный заяц, изношенный рубль довоенного образца, самодельное шило, моточек пропитанной варом дратвы… И этот коробок спичек.

Обычный коробок. Обычный, да не совсем! На желтой морщинистой этикетке, в том месте, где бывает рисунок, наискосок стояли три строчки, очень знакомые строчки:

Наше дело правое!
Враг будет разбит!
Победа будет за нами!

Спички сорок первого года! Я достал одну из коробки. Зажжется? Зажглась.

И вот уже все в доме — отец, мать, сестра — разглядывают находку. Всем интересно. Но только мама может припомнить… Я гляжу на нее: неужели не вспомнит? Вспомнила!

— Это ж с той осени…

Не ждите рассказа о пущенном под откос поезде, партизанском костре или даже о перекуре во фронтовом блиндаже. Спичками из коробки не поджигали бикфордов шнур, и вообще ничего из ряда вон выходящего не стоит за находкой в столе.

Той осенью по дороге из Воронежа на Тамбов через наше село Орлово двигалась большая пехотная часть. Вспоминая сейчас бесконечную серую ленту людей, идущих под осенним дождем, невольно ежусь от холода. Грязь, непролазная черноземная хлябь, и по ней гуськом, заткнув за пояс полы мокрых шинелей, движутся люди. Усталые. Молчаливые. Куда? Почему? Мальчишкам заботы и горе взрослых понятны не в полную меру. Мы бегали на большак менять на морковку и лежалые груши пилотки, ремни, звездочки, пряжки и были довольны, что в школу

ходить не надо, — в ней разместили больных солдат.

Не помню уж, сколько дней двигалось войско. Но только поздняя слякоть сменилась вдруг зимним морозом. Помню стук в окна: «Хозяйка, пустите хоть в сенцы». «Все занято, идите дальше!» — отвечал вместо матери пожилой лейтенант. И он говорил правду. В избе и в сенцах на соломе вповалку один к одному лежали люди. Плакала на руках у матери маленькая сестренка. Нечем было дышать от взопревших у печки мокрых портянок, шинелей и гимнастерок. Но уморенные люди были рады теплу и месту. Все спали.

Голод тоже был спутником отходившего войска. Помню, как перед сном солдаты делили на столе аккуратно порезанный хлеб. «Кому?» — кричал веснушчатый младший сержант. Солдат, отвернувшийся к стенке, быстро ему отвечал: «Сухову… Тимофееву…»

Утром мать намыла чугун картошки и чугун свеклы — покормить постояльцев — и послала меня добыть огоньку. Это было простое дело: выходишь на улицу, смотришь, из чьей трубы идет дым, — туда и бежишь с железной баночкой за углями.

— Ты куда? — спросил лейтенант, увидев меня на крыльце.

Я объяснил. Лейтенант полез в кирзовую сумку и достал спички:

— На, отдай матери.

(До сих пор сохранился на коричневом ребрышке коробка след от спички, которой в то утро была растоплена печь.)

Чугун картошки и свеклы солдаты опорожнили в один момент. Мать стояла у печки и говорила: «Ешьте, ешьте, я еще сварю, ешьте…»

Коробок спичек с той осени сохранился, конечно, случайно. Его положили в укромное место, как некую непозволительную роскошь, как драгоценный запас огня на какой-нибудь случай. И вот мы держим его в руках… Все мы взволнованы. После очередной передачи о приключениях в Берлине Исаева-Штирлица мы собрались на кухне около печки, но в этот раз не о Штирлице разговор. С удивлением и большой радостью наблюдаю, как много может всколыхнуть в памяти маленькая реликвия. Отец вспоминает. Сестра. Мама говорит так, что я жалею: нет магнитофона записать все, что она говорит. И мне тоже есть что припомнить.

Много сказано о войне. Но, может быть, любопытно услышать, что помнит о ней человек, бывший всего лишь подростком…

Запомнилось окончание и начало войны. Но так же хорошо помню уход отца на войну и возвращение его. Уходил он вместе с

односельчанами в жаркий день августа. Километров пять я шел, держась за руку отца, в гуще людей. Помню, отец сказал: «А теперь возвращайся». Он достал из мешка кусок сахару: «Возвращайся. И помогай матери».

Оглядываясь, я видел, как отец скорым шагом догонял пылivших по дороге дядю Семена, дядю Егора, дядю Сергея, дядю Тараса…

Возвращался отец тоже летом. С проезжавшей мимо полуторки кто-то радостно крикнул: «Встречай батьку!» Я побежал к станции и в поле встретил сильно, как мне показалось тогда, постаревшего отца. На груди у него позванивали медали. За плечами — мешок. В одной руке — старенький чемодан, а в другой — патефон.

На нашей улице, увидев отца, многие бабы заплакали. Я понимал, что это значит, — уходившие вместе с отцом на войну дядя Семен, дядя Егор, дядя Сергей и дядя Тарас не вернулись.

Из гостинцев, какие отец разложил на столе, мне больше всего понравились цветные болгарские карандаши с надписью на коробке «моливчета» и болгарский же кустарной работы патефон — фанерный ящик, обтянутый бумагой, напоминавшей обои.

Я побежал в сельскую лавку купить пластинки. Их не было там. Но продавщица, увидев мое отчаяние, порылась на полках и одну разыскала. «Моцарт. Турецкий марш», — прочел я название музыки. На другой стороне тоже был турецкий марш, но Бетховена… До позднего вечера в нашей избе гремели два эти марша. Мы с сестрой точили на брусочке патефонные иглы, снова и снова крутили пластинку…

Года два назад на концерте, услышав объявление ведущего: «Моцарт. Турецкий марш», я вздрогнул. Для меня не просто музыкой был этот марш.

Близко войну я не видел. Но она была рядом. Летом и осенью 1942 года горел занятый немцами Воронеж. Фронт был всего в двадцати километрах. Днем над «тем местом» стояла черная пелена дыма, а ночью небо становилось багровым. Было видно, как взлетают ракеты, как повисают и медленно опускаются вниз какие-то необычно яркие огни, были видны красные, желтые и зеленые трассы пуль. Мы с другом стелили постель на пологой крыше сарая и не со страхом, а с любопытством наблюдали за этим огненным небом.

Над селом к фронту по многу раз в день низко пролетали штурмовики — тройками, самолетов двенадцать — пятнадцать. Спустя полчаса тем же путем низко, прямо над крышами, они возвращались назад. Иногда их было уже не двенадцать, а девять-десять…

Воздушные бои истребителей. Взрывы случайных бомб (осколок одной, упавшей ночью за огородами, врезался в нашу дверь). Массированные бомбежки железной дороги (от села в пяти километрах), передвижение танков, автомобилей с пушками на прицепе, скопление войск в заповедном лесу — такой была полоса возле фронта. Вспоминая то лето и осень, дивлюсь отсутствию у людей страха. В первые дни войны, когда фронт был у Минска, было куда беспокойнее. Люди вязали узлы, заклеивали окна бумажными полосами, ночью маскировали каждую щель в окнах. Теперь же война была почти у порога, и жизнь тем не менее протекала своим чередом — каждое утро пастух Петька Кривой гнал пасти коз и председатель колхоза Митрофан Иванович сам обходил избы: «Бабы, нынче на молотилку!»

Есть такое понятие: «обстрелянный солдат» и «необстрелянный». Если эти слова понимать шире, то в 1942 году все люди, вся страна, солдаты и женщины, дети и старики, были «обстрелянными». Все так или иначе участвовали в войне, понимали, что скоро она не кончится, что дело очень серьезно и жаловаться на трудности некому. Мать находила все же слова нас подбодрить: «Мы-то в тепле. А как там отец…»

Глядя сейчас на карту, вспоминаю: географию начинал изучать не в школе и не по книжкам. Большая страна узнавалась по оставленным и отбитым потом у врага городам. Минск, Смоленск, Киев, Севастополь… В ту осень, когда горел Воронеж, я узнал, что где-то совсем недалеко есть Сталинград. Не помню, чтобы кто-нибудь на нашей улице получал газеты, радио тоже не было. И только в разговорах этот город упоминался все чаще и чаще. С легким ранением, но совершенно седой в село мимоходом из госпиталя забежал наш дальний родственник. Он получил ранение под Сталинградом и возвращался опять туда. Помню его слова: «Там ад».

В письмах отца раза два поминалась Волга, и мы догадывались: он тоже там. Мать, зажигая по субботам лампадку, молилась. Мои представления о боге в то время были неясными. На всякий случай мысленно я тоже просил рисованного Спасителя, строго глядевшего из-за лампады, не забыть про отца.

В церкви в нашем селе была пекарня. Отсюда машинами доставляли хлеб фронту. Из колодца у речки Усманки два усатых солдата в больших деревянных чанах возили в пекарню воду. Мы, ребятишки, помогали солдатам управляться с ручным насосом и получали за это в день полбуханки пахучего теплого хлеба.

От солдат-водовозов я впервые услышал, что, возможно, всем, кто живет в селе, придется эвакуироваться. И этот слух подтвердился. 1 сентября не открылась школа. А позже село в

какие-нибудь две недели опустело. До этого у нас жили беженцы из Воронежа и Смоленска. Теперь сами мы испытали, как тяжело расставаться с домом. Выселяли нас, правда, всего лишь в соседнее село. Но день, когда клещами закрутили проволоку на дверном запоре, был для меня самым тяжелым за всю войну.

Нам дали лошадь. Помню возок со скарбом. Наверху сидят сестры (старшей — девять годов, младшей — три). Мама с братишкой на руках пытается втиснуть в поклажу оцинкованный тазик и решето. Сзади к телеге привязали козу. Старшему сыну надо было править этим возком.

Местом нашего назначения было село «Паркоммуна» (официально — «Парижская коммуна», а совсем просто — «Парижа»). С благодарностью вспоминаю хозяйку избы тетю Катю (стыдно, забыл фамилию), приютившую нашу ораву. Всем нам — хозяйке с семьей и ее постояльцам — в одной-единственной комнате было тесно. Спали на печке и рядком на полу. Полынью глушили блох. По субботам топили баню. Из одного большого чугуна ели толченую картошку, запивая ее чуть подсоленным квасом. И ждали писем. Ах, как ждали в те годы писем!

Тетя Катя получала их аккуратно. Вслед за поклонами: «А еще привет куме Даше… а еще привет куме Вере» было и к нам участие: «А еще привет «выкуированным». Живите дружнее». Одно из радостных воспоминаний о тех временах: жили, и правда, сердечно, сплоченно, помогали друг другу, делились всем, чем могли.

О доме, однако, я думал все время. От «Паркоммуны» до родного села было всего восемь верст. И, конечно, трудно было не соблазниться, глянуть: а что там сейчас, зимой?

Придя в село, я поразился тишине и безлюдью. Почти во всех домах были заложены окна, в кирпичных стенах низко, у самой земли пробиты бойницы, от дома к дому прорыты траншеи. Теперь хорошо понимаешь: в селе была подготовлена линия обороны на случай, если бы фронт у Воронежа не устоял.

Хотелось взглянуть на наш домишко. Но я не дошел до него. Из хаты на большаке вышел военный: куда это мальчик идет и откуда? Выслушав меня, немолодой уже капитан (таджик или узбек) задумчиво похлопал рукавицей об рукавицу и поманил за собой в дом. Сидевшему возле печки солдату он что-то сказал. Тот поставил на стол котелок щей, нарезал большими ломтями хлеба. Пока я ел, капитан молча разглядывал мою шапку и варежки, потом полез в стоявший на лавке мешок, достал из него завернутый в бумажку желтоватый мягкий комочек какой-то еды и протянул мне: «Это понравится. Ешь». То была сушеная дыня. Второй раз это лакомство я пробовал двадцать два года спустя в

Самарканде и, конечно, сразу же вспомнил доброго капитана. Капитан сказал мне тогда зимой: «Ходить в село пока запрещается. Возвращайся. Матери можешь сказать: скоро домой!»

Теперь я думаю, капитан говорил со мной так потому, что знал хорошие новости. Новости эти шли из Сталинграда. Капитану уже было известно, «кто там кого», и он поделился с мальчишкой радостью.

Назад, в «Паркоммуну», по снежной дороге я не шел, а летел. И хотя новость мая — «скоро домой!» — была туманна и непонятна, мама сразу же побежала во двор, где тетя Катя колола дрова. Потом вдвоем они пошли к соседке. Потом мама побежала на другой конец села к тете Поле, жившей рядом с нами в Орлове. А дней через десять утром кто-то нетерпеливо постучал к нам в окно: «Немца выбили из Воронежа!» В тот же час мы с матерью нагрузили салазки дровами и — скорее, скорее в Орлове!

Наш домишко для обороны не приглянулся, все уцелело в нем. Мы протопили печку. И к вечеру на тех же салазках привезли двух сестер и братишку… Это было 25 января 1943 года — еще даже не середина войны.

Все самое дорогое в воспоминаниях связано с именем матери. С расстоянья в десятки лет особенно ясно видишь, какая ноша легла ей на плечи. Общие на всех взрослых военные тяготы, но, кроме того, — четверо ребятишек! (Старшему было одиннадцать.) И, по сложившимся обстоятельствам, ни карточек, ни пайков. Одеть детей, накормить, научить, уберечь от болезней… Какую великую силу духа надо было иметь в те годы женщине-матери, чтобы не впасть в отчаяние, не растеряться, в письмах на фронт не обронить тревожного слова!

Вспоминаю мамины письма к отцу. Она их писала печатными буквами, и на письмо уходила обычно целая ночь. Худые вести на фронт в те времена не шли. Мы сообщали отцу, сколько дает коза молока, кто пришел раненый, какие отметки в школе… По письмам выходило: живем мы сносно. Да и самим нам казалось: сносно живем — в тепле, одеты, обуты, не голодаем. И только теперь, понимая цену всему, знаешь, какими суровыми были эти уроки жизни для матери и для тех, кто в войну только-только узнавал жизнь.

Огонь добывали либо бегая с баночкой за углями туда, где печь уже затопили, либо с помощью кремня и обломка напильника. Освещалась изба «коптилкой». В нее наливали бензин, а чтобы не вспыхнул, почему-то бросали щепотку соли. Не больше щепотки — соль была драгоценностью: 100 рублей за

стакан. Мыла не знали. Одежду стирали золой и речным илом. Сама одежда… На ногах, я помню, носил сшитые матерью из солдатской шинели бурки и клеенные из автомобильной резины бахилы. Рубашка была сшита из оконной занавески, а штаны — из солдатской бязи, окрашенной ветками черноклeнника и ольховой корой…

Кормились в основном с огорода. Картошка, огурцы и свекла были нашим спасением. С хлебом же было так. Из колхоза зерно под метелку отправляли для фронта. Нам доставались лишь оброненные при уборке колосья. Целый день, не разгибаясь, собираешь колосья в мешок, сушишь, бережно растираешь в ладонях. Зерно потом веяли и мололи на самодельной мельнице — «терке». Я убежден: тот, кто держал в руках ломоть таким вот образом добытого хлеба (часто с примесью лебеды, свеклы, желудей), имеет верную точку отсчета в определении разного рода жизненных ценностей.

Тепло в доме доставалось тоже большим трудом, по нынешним представлениям, просто каторжным трудом. Пять километров до леса полем, пять — лесом (чтобы найти сухостойный дубок или сосну). Таким образом, десять — в один конец и десять — обратно с тяжелой ношей. Чтобы не слишком болело плечо, жердину или вязанку дров обертывали травяною подушкой. И все равно: скинешь у дома ношу — к плечу нельзя прикоснуться. И это была обычная забота тринадцатилетних мальчишек. Однако не единственная забота. Маме приходилось работать на поле. И, хотя дома руки ее удивительным образом до всего доходили и все успевали, нам с сестрой доставалась немалая часть забот: с весны до осени ухаживать за огородом (от него целиком зависело наше существование), готовить сено козе, добывать топливо, носить воду, варить еду, собирать колосья, молоть зерно, нянчить маленьких. И делалось это все помимо учебы в школе, помимо домашних уроков, помимо того, что нас, школьников, водили на колхозное поле (пололи просо, убирали свеклу, молотили подсолнух). Так война диктовала законы жизни и для детей.

Может странным кому-нибудь показаться, но я ничуть не сетую на судьбу, вспоминая эти четыре года. Прокручивая сейчас назад ленту жизни, взвешивая, где, когда и чему научился, без колебания говорю: главная школа жизни приходится на эти годы.

Суровые, требовательные годы совпали для нас, «военных мальчишек», с возрастными законами воспитания человека. Глубоко верю: уроки мужества, труд и трудности сейчас для подростков также необходимы. Их надо сознательно культивировать (в семье, в лагере, в школе), подобно тому, как

физкультурой мы восполняем отсутствие естественного физического труда. В нужное время, в нужных дозах, с оправданной степенью риска обязательно надо учить человека тому, что жизнь от него непременно потребует.

Возможен вопрос: «Закалка, трудности… А детство? Во имя грядущих лет не лишится ли человек детства?» Опыт жизни говорит: нет! Конечно, были в войну ситуации (и немало их было!), когда подросток ставил под ноги ящик, рядом со взрослыми точил на станке снаряды, известно: мальчишки участвовали в партизанских боях. Тут все проходило по счету взрослого человека, и сама жизнь обрывалась (все было!) в тринадцать лет.

Но, вспоминая свое, тоже нелегкое детство, я все же вижу его. Оно было! Было со всеми свойственными этому возрасту радостями. Хватало времени на забавы, на всякие выдумки, игры. Те же хождения в лес за дровами… Конечно, несладкое дело — подняться с постели в четыре утра, нелегка была ноша по пути к дому. Но было кое-что и другое. В лесу открывался мальчишкам огромный таинственный мир. Этим миром ватага из пяти-шести человек пользовалась в полную меру фантазии, любопытства и предприимчивости.

И была еще в нашем владении речка. Купали лошадей, доставали раков из нор, в половодье катались на льдинах (за это перепадали нам подзатыльники), ловили рыбу. На зимний николин день дрались «на кулачки» — стенка на стенку по правилам — с мальчишками соседней Болдиновки (традиция, иссякшая только после войны). Из песни слова не выкинешь, познакомились близко мы и с оружием (находки в прифронтовом лесу). Стреляли из автомата, из винтовки, в логу взрывали гранаты и шашки тола… И удивляюсь сейчас: никто из нас не утонул, не упал с дерева, не подорвался, опасно не обморозился, не отбился от рук.

И не скажу, что росли мы дичками. Ходили в школу. И много, поразительно много читали. Книги, конечно, были случайные. Но если говорить о КПД их работы, он был огромным. Читали с жадностью! За хорошей книжкой всегда была очередь.

И было заведено: прочел — расскажи! Так мы менялись книжками и тем, что узнали из книжек. И бывало еще: читали вслух, по очереди. Так, помню, мы проглотили «Путешествие Гулливера», «Как закалялась сталь», «Человек-амфибия», «Айвенго», «Дерсу Узала».

Если б в то время кто-нибудь нам сказал: через десять — пятнадцать лет можно будет дома сидеть у ящика с экраном и видеть, что происходит за тысячи километров, мы бы ни за что не

поверили. Теперь, наблюдая мальчишек при передаче «Клуба кинопутешествий», я завидую им, но и с благодарностью вспоминаю сидения у коптилки. Они многое оставили в наших душах, эти зимние вечера у коптилки!

Что еще прорастало из детства? Думаю, наблюдательность, желание все испробовать, всему научиться. В те времена нельзя было ждать, что нужную, необходимую вещь кто-нибудь в дом принесет и житейское дело кто-то исполнит.

За все подростки брались сами. Учились у взрослых и друг у друга, самолюбие подгоняло: Петька может, а я почему же?

Не бог весть какими сложными были наши дела по хозяйству. И все же. Вспоминаю, что мы умели. Мы — это пять одногодков и одноклассников с одной улицы: Петька Беляев, Володька Смольянов, Васька Миронов, Ваня Немчин и я.

Мы умели косить, подшить валенки, вставить в ведерко дно, почистить дымоход в печке, заклеить бахилы, умели наладить пилу, отбить косу, подправить крышу, сделать лестницу, грабли, сплести лукошко из хвороста, намесить глину для штукатурки, навьючить воз сена, смолоть зерно, остричь овцу, почистить колодец, нагнать на кадку лопнувший обруч.

Чернилами по обойной бумаге писали плакаты для школы и сельсовета. В колхозе мы знали, как надо управиться с молотилкой. Научились ходить за сохой в огороде. И в конце концов догадались сделать тележку с колесами от плужка, облегчившую наши походы в лес за дровами… Такова несложная грамота жизни, которую надо было освоить.

И если уж все вспоминать, то надо вспомнить и балалайку…

Апрель, 1945 год. На просохшей проталине около дома маленький хоровод. Не хоровод даже, а так — собралась ребятня, три старухи сидят на завалинке, пришедший с фронта без ноги парень, ну и, конечно, девушки, ровесницы тех ребят, что ушли: воевать. Веселья не было. Грызли семечки. «Под сухую» пели частушки («под сухую» — это значит без музыки: не было ни гармошки, ни балалайки).

— Господи, неужели нельзя добыть какую-нибудь завалящую балалайку! Ребятишки, ну отняли бы у болдиновских…

Скажи это другой кто-нибудь, я бы слова мимо ушей пропустил. Но это сказала она.

Недавно я встретил ее случайно в Воронеже. Поздоровались, поговорили о новостях, вспомнили, кого знали. Она сказала:

— А я вас по телевизору видела. Шумлю своим: это же наш, орловский!

— А помнишь, — говорю, — балалайку? Нет, она не помнила.

…Тогда, весной мне вдруг страшно захотелось добыть для

нее балалайку. Ну хоть из-под земли, хоть украсть, хоть в самом деле отнять у болдиновских. Я выбрал самый тернистый путь: решил сделать.

Опустим недельную муку необычной работы… Однажды вечером я пришел к хороводу, робко держа за спиной балалайку. Мое творение сработано было из старой фанеры, на струны пошли стальные жилки из проводов, лады на ручке были из медной проволоки. Краски, кроме как акварельной, я не нашел. А в общем все было, как надо. Да иначе и быть не могло — так много стараний и какого-то незнакомого прежде чувства вложил мальчишка в эту работу.

Сам я играть не умел и передал балалайку сидевшему на скамейке инвалиду-фронтовику. Тот оглядел «инструмент», побренчал для пробы, подтянул струны. И — чудо-юдо — балалайка моя заиграла. Заиграла!

Первой в круг с озорною частушкой вырвалась она. И пошла пляска под балалайку.

— Ты сделал?!

Я не успел опомниться, как она, разгоряченная пляской, схватила мою голову двумя руками и звучно при всех поцеловала. Это был щедрый, ни к чему не обязывающий поцелуй взрослого человека — награда мальчишке.

А мальчишке было пятнадцать. Мальчишка, не помня себя, выбрался из толпы и побежал к речке. Там он стоял, прислонившись горячей щекой к стволу ивы, и не понимал, что с ним происходит. Теперь-то ясно: у той самой ивы кончилось детство.

Детство… Оно все-таки было у нас, мальчишек военных лет. Оглядываясь назад, я вижу под хмурым небом этот светлый ручеек жизни — детство. И наклоняюсь к нему напиться.

И вот теперь найти друг друга

Война — жесточе нету слова.
Война — печальней нету слова.
Война — святее нету слова
В тоске и славе этих лет.
И на устах у нас иного
Еще не может быть и нет.

А. Твардовский

Эд. Поляновский
Столько лет спустя

Родных и любимых можно ждать годы и десятилетия, если уверен, что дождешься. Но иногда и десять минут, согласитесь, ждать непросто, если не знаешь — дождешься ли, не напрасно ли ожидание.

А каково быть в неведении и все-таки — ждать: год, десять лет, тридцать! Иногда вопреки житейскому и здравому смыслу, когда даже отдаленная надежда на встречу невероятна: не вернется человек, потому что, видимо… нет его среди нас, живых. И все-таки — ждать!

Это было давно. Это было так давно. Женщины носили подставные плечики, и в моде были высоко взбитые прически. А мужчины были далеко от них и слали им треугольники писем: «Жди меня».

Впрочем, давно ли? Ведь матери и сейчас еще ждут своих сыновей, жены — мужей, а дети — отцов. Не просто ждут — ищут. В январе 1942 года Совет Народных Комиссаров принял постановление «Об устройстве детей, оставшихся без родителей». На органы внутренних дел был возложен розыск детей, потерявших связи с родственниками. Сейчас эти дети, давно ставшие взрослыми, сами ищут своих родителей.

С тех пор, с января 1942 года, удалось найти около 400 тысяч потерявшихся. В Министерстве внутренних дел СССР посоветовали ехать в Ленинград: там дело поставлено, как нигде, результаты — исключительные, о ленинградском розыске легенды ходят…

Я ехал, ожидая увидеть целый институт. А оказалось, всего-то шесть женщин в двух комнатках. Я сразу их и назову: два старших инспектора — капитаны милиции Татьяна Алексеевна Щербакова и Валентина Андреевна Черных; инспекторы — старшие лейтенанты милиции Вера Алексеевна Мелехина, Мария Степановна Светличная, Галина Федоровна Суворова и младший лейтенант милиции Тамара Михайловна Мунцева. Возглавляет розыскное отделение паспортного отдела УВД майор милиции Алексей Васильевич Бережанский.

Это они, несколько человек всего, организуют и ведут огромную работу, в помощь себе подключили радио, телевидение, печать. Ленинградские газеты завели у себя постоянные рубрики: в «Вечерке» — «Наши субботние встречи», в «Смене» — «Из почты «Отзовитесь», в «Ленинградской правде» — «Кто откликнется?».

Кто откликнется?..

«Я, Бок (возможно, Боков или Бокин) Александр Андреевич, 1928 года рождения, разыскиваю кого-либо из родных. До войны наша семья проживала в Ленинграде в районе Средней Рогатки, точного адреса не помню — мать моя, ее звали Софья, погибла в результате бомбежки, отец, его звали Андрей, ушел на фронт, сведений о его судьбе не имею. Сам я в 1942 году был вывезен из осажденного Ленинграда…»

«Я, Васильева (ныне Вишнякова) Римма Васильевна, 1938 года рождения, вывезена из осажденного Ленинграда, ищу кого-либо из близких. Подлинное у меня только имя, а фамилию и отчество мне дали в детском доме, там определили и год рождения…»

Блокадное детство — представить это нельзя, это надо пережить. Тыловые врачи не могли определить возраст блокадных детей: пяти-шестилетняя девочка — как старушка, личико — как печеное яблоко, взгляд безумный, больной. Оцепеневшие от испуга и горя, эти дети едва касались ногами непрочной земли. Медицинские показатели были таковы, что даже трехлетним малышам врачи давали на год меньше. Этих детей отправляли из Ленинграда эшелонами.

Но как искать ныне родных, если, кроме имени, не осталось ничего от прошлого? Как?

Остались еще воспоминания. Иногда полувыцветшие, полуобморочные, словно видение, иногда ясные, чистые, как сегодняшний день.

«Я, Игнатьев Юрий, 1938–1939 года рождения, эвакуированный из Ленинграда в 1942 году. Помню, что жили в 2–3-этажном доме. Мать шила на машинке. Помню, как упала на меня с керосинки кастрюля с водой. Имею ожог на лице в области левого глаза и уха…»

«Я, Зайцев Ренат, 1933 года рождения, разыскиваю кого-либо из родных. Родился я где-то в селе под Ленинградом. Когда началась война, я находился в детском доме под Псковом. Помню, приходил ко мне то ли отец, то ли какой-то другой человек в форме солдата, принес мне оловянных солдатиков и сказал: «Сыночек, как кончится война, я обязательно возьму тебя домой». Прилагаю свою фотографию…»

Кто откликнется?

Трудно этим блокадным детям, давно уже выросшим. Особенно трудно тем, кто помнит родительскую ласку. Как слепому, бывшему зрячим и успевшему все увидеть и понять, что он потерял.

Еще труднее примириться с мыслью о потере — матери.

Поиски иногда ведутся годами, случается — безрезультатно. А бывает, как, например, у Валентины Андреевны Черных: за один удачный, а точнее, даже счастливый год взяла три «дела» по розыску и все закончила.

Вот одно из них, не самое трудное и не самое легкое, вполне рядовое.

Валентина Андреевна получила письмо от сверловщицы завода «Вулкан» Тамары Козуновой:

> «Сегодня, 9 мая, в День Победы, я прочла в газете «Смена» рассказ о том, как Вы помогли найти Людмиле Чикиной отца по совсем небольшим данным. Во мне пробудилась надежда: а вдруг и у меня найдется кто-нибудь? Ведь я совсем одна, так плохо быть одной. По метрическим данным, я родилась в Ленинграде, родители: Козунов Михаил, мать — сведений нет. Однажды я уже пыталась разыскать родных, но я и фамилию-то свою точно не знаю, Козунова ли…»

Черных запросила все районные отделы ЗАГСа Ленинграда. Все 22 ЗАГСа ответили: «Записи о рождении за 1940 (41–42) г. р. на гр. Козунову Тамару не найдено». Валентина Андреевна запросила районы и сельсоветы области, ей отвечали Кириши, Луга, Ломоносов, Лодейное Поле, Киров, Подпорожье, Тосно, Кингисепп, Сланцы, Тихвин, Волосово, Бокситогорск, Волхов, Всеволжск… И так далее, и так далее. И отовсюду один ответ: не найдено, не найдено, не найдено. Иногда с неутешительными подробностями, например, поселковый Совет Стрельни ответил: «Проверено за семь лет. Книги записей о рождении с 1941 по 1943 гг. не сохранились».

Черных запрашивает всех вторично, потом в третий раз. Проверила архивы райвоенкоматов — об отце никаких следов. Запросила архивы детских домов в гороно и облоно, проверила сохранившиеся кое-где «книги движения» воспитанников в самих детдомах. С огромным трудом строила Тамарину жизнь. Биографию детства.

Не странно ли и не грустно ли, по долгу службы один человек узнает о другом все, а тот, другой, ничего о самом себе не знает. Тамара еще ничего о своей жизни не ведала, а

Валентина Андреевна уже знала, что мама ее умерла а январе 1942 года, сама Тамара, восьмимесячная, сидела в это время возле нее, перебирала игрушки. Что отец ее — и не Михаил вовсе, а Алексей — осенью того же сорок второго погиб. Что какая-то старушка подобрала ее и отправила в приемник-распределитель.

Впрочем, я забежал вперед, следы Тамариных родителей, близких Валентина Андреевна не могла найти долго. Написала в Красный Крест: есть ли какие сведения по детской картотеке на Козунову Тамару, не обращался ли кто-то к ним или в органы милиции по розыску ее? Нет, никто не обращался.

Все это время Тамара звонила Валентине Андреевне: «Как, ничего пока?» И звонила вроде без особой надежды, но, услышав: «Нет. Пока нет», каждый раз чувствовала, что теряет землю под ногами. Даже в отпуск уехать Тамара боялась, как будто здесь, в Ленинграде, она была ближе к своему невозможному счастью.

Черных выписала в адресном бюро всех Козуновых в Ленинграде и области — 40 человек. Со всеми почти переговорила — ни у кого Тамара в войне не потерялась. «Скоро Ноябрьские праздники, — говорила старший инспектор всем Козуновым, — будете встречаться с родственниками, поспрашивайте».

Время от времени Валентина Андреевна просила:

— Тамарочка, милая, помоги мне, вспомни хоть что-то из самого раннего детства.

— Первое, что помню, правда смутно, вокзал в Тосно, неубранный, разрушенный. Нас, помню, все куда-то везли, везли на машинах… Черемыкино уже лучше помню, на стенах детдома широко, во весь рост, фашисты черные в касках нарисованы, потом закрасили. Ходили, помню, за ягодами, лес страшный, сосны большие, боялись далеко ходить. В Сиверский санаторий меня возили, туда всех дистрофиков из детдома возили. Помню, нас все время взвешивали. Коек в детдоме не хватало. Кому на одного достанется — рад! Дальше — Лужский детдом. Там — школа, озеро, река. Только потом, в Волосовском детдоме, это уже в 1953 году, я впервые поняла вдруг, что я — сирота. К другим какие-то дяди, тети приходят, гостинцы приносят, а ко мне — никого. Других на каникулы к себе берут, а я — одна.

Через полгода после начала розыска, 10 ноября, в День работников милиции, Черных велела Тамаре принести две фотокарточки. «Плохи дела, — сказала она, — будем печатать объявление в «Смене». Тамара поплакала, разошлись.

А ровно через час к Черных заглянула женщина, одна из Козуновых, уже приходившая к ней накануне. Седьмого ноября она была в гостях у родственников по мужу, и хозяйка дома

Капитолина Алексеевна Евстифеева (Козунова) рассказала, что в войну у нее потерялась племянница Тамара Козунова, дочь ее брата Алексея, погибшего на войне. Жена Алексея Анастасия эвакуировалась с Тамарой в Гатчину и там вскоре умерла. Тамару никто не искал, все считали ее погибшей: в Гатчине зверствовали фашисты. Ныне жива-здорова старшая сестра Тамары Галя.

Придя на работу, Тамара нашла записку: «Позвони срочно Валентине Андреевне». — «В чем дело, только что была у нее? Что-нибудь еще для «Смены» нужно, — решила она, — но почему срочно?» И вдруг разволновалась, да так, что забыла номер телефона. Утром, успокоившись, вспомнила, выскочила во двор к телефонной будке. Голос Валентины Андреевны:

— Тамарочка, ты только не волнуйся, у тебя, кажется… родственники нашлись. Хорошие родственники, близкие.

Она молчит, плачет.

— Успокойся, успокойся. И никому пока не говори, будем еще проверять.

Потом звонила снова и снова:

— Ну, кто все-таки?

— Думаем, сестра. Галя.

— А где она живет?

— Нет-нет, пока нет. Жди.

Через несколько дней:

— Хочешь фотографию детскую Галину посмотреть? Приезжай.

Приехала, глянула и вспомнила себя, детдомовскую:

— Это же я.

— Как? — испугалась Черных.

— Нет, просто похожа очень.

— Потом, — рассказывает Тамара, — Валентина Андреевна показала мне фотографию мамы. Я ревела, вообще я в те дни все время ревела. На 17 декабря в 11 часов назначили, наконец, встречу с родными. А меня Валентина Андреевна к десяти пригласила и около часа готовила меня, успокаивала. Я для смелости с подругой пришла, с Таней, тоже детдомовской девочкой. Сидим. Ровно в 11 звонок: нас ждут. Это — в соседней комнате. Я встала, ноги не идут. Вошли — народу, цветов! И голос Валентины Андреевны плохо слышу: «Ну, Тамарочка, где твоя сестра?..» Кто к кому первый кинулся — не помню…

Сейчас Галя живет и работает в Котлах, недалеко от Кингисеппа. Она доярка в совхозе. Тамаре очень удобно ехать к сестре — по Таллинскому шоссе три часа всего. Она идет на автовокзал к Обводному каналу и садится на «Икарус». Через час с небольшим всматривается в окрестный лес, луга, смотрит на

широкую дощечку, белыми буквами по синему на ней написано: «Черемыкино». Вот он — ее бывший детдом. Каждый раз, проезжая мимо, она прячет лицо от пассажиров.

Вначале я говорил о том, что за год у Валентины Андреевны все три дела окончились счастливо. А что считать неудачей? Долголетние безуспешные поиски? Конечно, обидно: чужая судьба становится уже как своя собственная. Но это еще не главная беда. Бывает, выходят на след, но оказывается… умер человек недавно. Но и это еще не главная беда.

Случается другое. Татьяна Алексеевна Щербакова по просьбе молодого человека разыскивала его родителей. Помнил он мало что: «Отец был каким-то большим начальником… Мать была очень красивая… Пол в квартире был из цветных плиток». После работы она ходила вместе с ним по всем возможным адресам. «Не то, не то, не то», — говорил он, прикусывая при этом как-то странно нижнюю губу. Однажды среди ночи вдруг в полусне осенило ее: не там искала. И поняла вдруг, куда идти. И уже не смогла уснуть, и рано утром, еще до работы, поспешила. Нашла дом, вошла в квартиру и первое, что увидела, — старые, довоенного настила, цветные плитки пола.

Родители были старенькие, нескладные, беспомощные. Престарелые мать с отцом плакали от радости, а он отказывался: «Нет, не они». Он нервничал, прикусывал губу. А над столом висела давняя фотография отца — с прикушенной губой.

Этот случай — из редких. Обычно даже те, кто давно обзавелся собственными семьями и не помнят родства своего, пишут: «Помогите найти мать, она теперь, наверное, старая и нуждается в моей помощи». Это важно: человек, не по своей воле утративший сыновние чувства, сохраняет чувство сыновнего долга. Важно потому, что, оставшись сиротой, ребенок не остался беспризорным и вместе с образованием получил еще и достойное воспитание.

Горький пример я привел, чтобы показать, какие нервы надо иметь инспекторам милиции. Нервы надо — железные, а мягкость — материнскую. Работают — на часы не смотрят, времени своего свободного не жалеют. После работы — снова работа; именно вечером женщины-инспектора обходят дома, говорят с людьми.

Дело в том, что розыск потерявшихся в войну людей для инспектора паспортного отделения не только не единственная, но далеко и не главная обязанность. Они сами сделали эту работу главной для себя, настолько главной, что нашли себе новые обязанности. Обычно розыск «лиц, утративших родственные связи» ведут органы внутренних дел по месту жительства заявителя. Ленинградские же инспекторы, если дело в прошлом

связано с блокадой, Ленинградом, по доброй своей воле принимают заявления о розыске из любых концов страны. Они никому еще не отказали. Впрочем, это надо объяснить.

Валентина Андреевна Черных всю блокаду была в Ленинграде. Умер от голода отец, потом сестра. Погиб на фронте брат, восемнадцать лет ему было, только одно письмо успел черкнуть: «Ведем бой…» В этом первом бою и погиб. Валентина Андреевна помнит, как хлеб сушили — чтобы сосать, не есть. Термитно-фугасная бомба два одеяла в окне прошибла, шкаф — в сторону, самовар вдребезги, а она чудом жива осталась.

И Татьяна Алексеевна Щербакова тоже блокаду пережила. А ее отец, дедушка, тетя — умерли.

И Мелехина Вера Алексеевна блокаду пережила. «Мы с мамой воду в Неве поварешкой черпали и — в чайник. А потом этот чайник с водой вдвоем едва-едва везли, такие худые были. Мы на Петроградской стороне жили… Идешь-идешь, бомбят — под аркой встанешь и стоишь спокойно. Никакой реакции. И умирали — не плакали, как каменные. А однажды зимой меня артобстрел на Неве застал, я присела, воротником закрылась. Потом встала, отряхнулась и пошла. Я тогда все думала: какая же я дура, что раньше первое не ела. Война кончится — теперь уж буду маму слушаться и по две тарелки есть».

Скажите, уважаемый читатель, может ли человек, который в голодном детстве защищал себя от снарядов воротником пальто, может ли этот человек заниматься розыском пропавших в войну людей вполчувства?

Все шестеро женщин — ленинградки.

Работают — на часы не смотрят, ног своих не жалеют — все в пути, в поисках. Фантазия нужна, воображение. Но, с другой стороны, — усидчивость, дотошность бухгалтерская.

Из Владивостока к Черных обратилась Люба Экварь: в блокаду попала в ленинградский детский дом и ничего о родных не знает. Валентина Андреевна все перепроверила — никаких концов. Потом попалась фамилия «Эккаре» — стала на нее искать (нам с вами странно, а Черных-то, знает, как в войну, в спешке, в сумятице бомбежек, пожаров, эвакуации писали наспех, на обрывках бумажек, кто-то потом букву-другую не разобрал или не так фамилию расслышал — а уже все другое). Приглашает Ирину Павловну Эккаре.

— У вас дети в войну были?

— Были, да все умерли.

— А Люба была?

— Была, погибла. Я на работу ушла, соседке ее оставила, а та зазевалась, Люба на улицу вышла и пропала. Я ее больше всех

берегла, она была последняя.

— Какие приметы?

— Голубые глаза, светлые волосы.

— Понимаете, одна девочка ищет свою мать…

Черных снова и снова стала запрашивать Владивосток, Любу: воспоминания, какие воспоминания? «Ничего я не помню, — писала Люба. — Вот только иногда смущает меня одно воспоминание — или я сама это вообразила, или видела. Помню комнату, где я жила, она была небольшая, и около двери, когда заходишь в комнату, с левой стороны стояла кровать. Один раз в комнате сидела какая-то женщина, и мать очень смеялась, у нее были светлые волосы». Черных снова пригласила Ирину Павловну:

— Вы довоенную комнату хорошо помните? Где кровать Любы стояла?

— Ну как же, как входишь — сразу слева.

Через несколько дней Валентина Андреевна встречала в Ленинграде Любу (инспектора сами же их и встречают). Повезла в гостиницу.

— Завтра увидишь маму.

— А сегодня нельзя?

Почему, в самом деле, спросил я Черных, люди десятилетиями ищут и ждут друг друга, и вот, когда нашлись вроде бы, снова надо так долго ждать встречи? С Тамарой Козуновой уже 10 ноября все более или менее прояснилось, а встреча состоялась только 17 декабря.

— Это не только самый волнующий, но и самый ответственный момент, — сказала Валентина Андреевна, — тут надо все подогнать, чтобы сходилось. Знаете, как бывает… Московский спортсмен обратился ко мне за помощью. Одна женщина, ленинградка, узнала его: сын. Подготовили встречу, даже телевидение приехало. Оказалось — не сын… Это от желания, от жажды, если хотите, найти своих.

Валентина Андреевна помолчала, вздохнула:

— А этой женщине, ленинградке, вы знаете, я все-таки нашла сына. Долго искала. Напала на след. Все вроде совпадает, а я парня переспрашиваю: воспоминания? «Помню, — говорит, — у мамы была зеленая юбка и на углу дома в одном и том же месте я спотыкался, меня мама за руку удерживала». Я у этой женщины потом спрашиваю: «У вас юбка зеленая до войны была?» «Была… А что?» — смотрит удивленно. «А сын на одном и том же углу спотыкался?..» Знаете, с ней плохо стало.

Кто кого чаще ищет? Родители — детей. Хотя старшие смотрят на жизнь трезвее: они больше видели, больше знают и

меньше верят в чудеса. Впрочем, дети тоже ищут, особенно беспокойно начинают искать, когда сами обзаводятся семьями, детьми: у них открываются тогда малознакомые раньше материнские и отцовские чувства. Мы об этом подробно говорили с Верой Алексеевной Мелехиной.

— Знаете, трудность наша в чем, — сказала она, — у блокадных детей ведь очень плохая память, особенно зрительная, у эвакуированных лучше. Пишут: «Я помню наш дом, возле него были львы». А в Ленинграде — львов!.. А фантазия у военных детей знаете какая: у всех папы — непременно фронтовики и непременно офицеры, мамы — врачи или медсестры. Многие эвакуированные в тыл дети видели себя обязательно ленинградцами. Одна мне пишет: «Ленинградка». Помнит только, как их эшелон в Адыгее расстреливали фашисты, даже двери теплушек не открывали, думали сначала — взрослых привезли, а потом дверь распахнули — дети, но все равно добивали их. И вот она, представьте, уцелела. Я уже трижды печатала ее объявление и фотографию в газете, все проверила — нет ее нигде, ни в каких справках, а она настаивает: «Я — ленинградка».

Часто начинают поиски с большим опозданием, это затрудняет работу. Другая трудность — родители боятся к старости потерять приемных детей и скрывают правду. Только когда тяжелая болезнь свалит, открываются…

Нина Петровна Барабанова из Кировской области жила с Надей душа в душу. Однажды после инфаркта сказала ей: «Ты не Барабанова. Ты — Лескова, детдомовская. В Ленинграде у тебя должны быть родственники».

Понять женщину нетрудно: вырастила, выходила, по сути, — дочь. Вот послушайте рассказ ее.

«Я очень хотела в войну взять ребенка. Пришла в детдом, там все дети из Ленинграда. Воспитательница говорит: «Выбирайте». Я смотрю — и беленькие, и черненькие, и помладше, и постарше. Никто не приглянулся. «Больше, — говорю, — нет?» «Все, — отвечает. — Правда, есть еще одна, она в изоляторе, очень истощена, но сейчас выздоравливает». Привели. Она вошла и сама ко мне подошла. На колени сразу села и в карман нагрудный за конфеткой потянулась. Спрашивает: «Ты мама моя?» Я заплакала, говорю: «Да».

Так случается, что бывшие сироты обретают трех матерей.

Ту, что родила и, наконец, нашлась.

Та, что вырастила, выходила, как Нина Петровна Барабанова, тоже, конечно, остается матерью.

Ну и третья мать — Валентина Андреевна Черных. Я читал праздничные открытки ей: «Дорогая мамочка Валентина

Андреевна! Поздравляю Вас, желаю…»

Чего обычно желают ей — «счастья в личной жизни», «здоровья», «душевного спокойствия». То есть всего того, чего им самим когда-то так не хватало.

На столе у Валентины Андреевны цветы никогда не вянут — не успевают. Сегодня ландыши, завтра гвоздики.

— Будут ли после нас искать? — сказала как-то в раздумье Валентина Андреевна.

Сколько, в самом деле, будут еще люди искать и ждать друг друга? Десять лет, тридцать? Не гадайте. Тут и сто лет — не время. Вот история. В 1876 году (сколько лет тому — больше ста?) турки уничтожили и сожгли болгарское село Батаки. Уцелели (спрятались на огороде) два маленьких брата Петр и Дмитрий, одного из них, Диму, русский офицер отвез в Петербург. Сами братья, конечно, давно умерли. Но вот недавно уже дети Петра начали поиски детей Дмитрия. Удивительно, но факт: Щербакова нашла дочь Дмитрия, и в те дни, когда писался этот очерк, Марфа Ивановна Селезнева, архитектор, гостила в Болгарии у своих родных.

…Когда я иду по Невскому, по Горького, по Дерибасовской, то исподволь, не без зависти, разглядываю юных, которым по четырнадцать-пятнадцать. Они хотят казаться старше, да они и выглядят старше. Высокие, как мачтовые сосны, модные, ухоженные. Сытые, здоровые, привыкшие к заботам и ласкам матерей и отцов.

Это дети того самого поколения… Это их матерям и отцам к трем годам от роду давали на целый год меньше.

Б. Галанов
Возвращение в Червенево

Хорошо запомнил поездку в Червенево, хотя с той поры прошло почти сорок лет. В Прикарпатской Руси, так называлась еще в годы войны Закарпатская Украина, где-то в стороне от шоссе, соединяющего Мукачево с Ужгородом, стояли белые, крытые соломой хаты Червенева, точь-в-точь как под Винницей или Уманью. И густая грязь на разбитом проселке тоже казалась давно знакомой, винницкой. У околицы села наша редакционная «эмка» прочно засела в глубокой луже. Три мальчика, странно похожих на тульских, орловских, подмосковных, бежали нам навстречу.

— Это ваша машина? Можно на нее посмотреть? — спрашивали они по-русски.

— Чего на нее смотреть! — в сердцах сказал наш шофер Федя Охват, который уже безошибочно определил, что без пары лошадей ему из лужи не выбраться. — Обыкновенная машина…

— Эх ты, обыкновенная! Это же наша, русская.

Никогда еще, наверное, наша драная «эмка», даже в пору своей молодости, когда только начиналась ее служба в армейской газете «Знамя Родины», не вызывала столь бурных восторгов, такого прилива нежности:

— «Эмка»! Красавица. «Эмочка», дорогая…

Мы переглядываемся со спутниками. Капитан Борис Милявский говорит:

— Ну вот, кажется, цель достигнута.

Несколько дней мы разыскивали колонию советских детей, которых оккупанты, по слухам, вывезли вместе с двумя воспитательницами из-под Ленинграда, Смоленска, Витебска, притащили в эшелоне в Закарпатье и на железнодорожной станции Жорнава бросили во время бомбежки. Эту историю мы услышали в разгар осеннего наступления 1944 года войск 4-го Украинского фронта в Карпатах.

Мало пострадавшие от войны маленькие живописные города Прикарпатской Руси, с двумя-тремя чистенькими центральными улицами, с уютными домиками и палисадниками, после суровых карпатских перевалов казались прямо таки пряничными. На перекрестках толпились принарядившиеся горожане — мужчины надели шляпы с петушиными перьями, молодые женщины и девушки вплели в косы разноцветные ленты. Военные машины встречали и провожали аплодисментами, возгласами: «Давай!»,

«Давай!» Так на Ужокском и Верецком перевалах подбадривали друг друга водители, вытаскивая из грязи буксовавшие транспорты. И это солдатское «Давай!» спустилось на равнину раньше, чем там увидели наши машины. В кузовах «доджей» и «студебеккеров», наших отечественных полуторок солдаты пели «Катюшу». Сержант-автоматчик, оседлав козырек кабины водителя, лихо играл на аккордеоне, черт его знает каким манером ухитряясь удерживаться в этой позиции, когда на поворотах машину круто заносило то вправо, то влево.

В шумной, возбужденной толпе ужгородских жителей вновь довелось услышать историю двухсот советских ребят. В который уже раз передавали, что гитлеровцы угнали их из центральных районов России и бросили где-то здесь при отступлении. По совести говоря, мы не очень-то верили. К советским офицерам тогда подходило много людей потолковать о житье-бытье, поделиться разными былями и небылицами, потому что в эти насыщенные событиями дни рождалась масса слухов и легенд. Итак, рассказ о детях в первую минуту тоже выслушивали как легенду. В самом деле, к чему было немцам тащить до самого Ужгорода детский лагерь? Какой смысл? Однако эту историю с незначительными изменениями повторили столько людей, что под конец мы уже перестали сомневаться. Но где отыскать детей? Кто их приютил?

Случай свел с деятельницей местного Красного Креста Ольгой Сергеевной Лосиевской. Оказывается, она принимала близкое участие в судьбе детей и даже помогала переправить их подальше от Ужгорода, в женский монастырь под Мукачево.

Ничего не поделаешь, наведываемся в женский монастырь.

Отца протоиерея, крепко сбитого лысого мужчину лет пятидесяти, с черной седеющей бородой и разбойничьими глазами, встретили в монастырской канцелярии. Советские дети? Сто восемьдесят шесть детей! Знаете, здесь им было небезопасно. Шоссе рядом. Того и гляди могли нагрянуть немцы. Они частенько сворачивали в монастырь за продуктами. Пришлось подыскать место поглуше. У многих монахинь родственники в Червеневе. Они охотно приютили у себя детей. Потом отозвались и другие.

Благодарим отца протоиерея за информацию. Однако он не торопится нас отпускать. Хозяин словоохотлив. Ему хочется узнать, есть ли в Советском Союзе монастыри и как наладить с ними связь. На столе появляются сладкое монастырское вино и монастырский виноград. На своеобразном русско-украинско-чешско-венгерском языке отец протоиерей рассказывает нам о житье-бытье закарпатских украинцев, то и дело вставляя в свою

речь малопонятные «тутошние» словечки — «фунговать», «без рессорта», «разны ворня», «офензива», «регуляция условий» и, наконец, нечто уже совсем загадочное — «легитимация головы»…

Только под вечер попали в Червенево.

В большом, просторном бараке мы сидели среди двух сотен ребят и слушали печальную повесть об их невеселом житье-бытье. Перебивая друг друга, ребята рассказывали, как целых три года оккупанты таскали их за собой по дорогам войны. Время от времени наезжали какие-то комиссии — ребят постарше и повыносливей отсылали на работу в Германию, больных и слабых отправляли в военные госпитали, но только оттуда так никто и не вернулся. А больных всегда хватало. Ведь кормили оладьями из картофельной шелухи — отбросами солдатских кухонь.

По случаю нашего приезда ребята устроили импровизированный концерт — читали наизусть страницы из «Петербургских повестей» Гоголя — единственной русской книги, сохранившейся у них, хором пели протяжную, грустную песню «Жизнь на чужбине», которую сами же сочинили:

Ох, как трудно по чужим странам блуждать,
Зная, что есть у нас Родина-мать.

Мы пытались записывать куплеты. Но бесхитростные слова и мелодию невозможно было слушать без слез, и вместо букв на бумаге получались какие-то неразборчивые каракули.

Потом мы стали спрашивать у ребят, тех, что сидели поближе, имена и фамилии. Маленькие фамилий не знали. И откуда они родом, — тоже. Кто-то помнил папины усы, кто-то мамино красное платье. Старшие рассказывали, как провожали на фронт отцов, как потерялись во время бомбежки мамы. Люда Кувшинникова и ее младшие сестры Ира и Валя были из Ленинграда. Вова Марсин оказался москвичом. Наташа, Клара и Даша Карпенко — из Витебска. 13-летний Витя Пискунов назвался орловским. Сказал убежденно:

— Если бы меня ночью сбросили с парашютом, а куда не сказали, все равно я сразу бы узнал, что нахожусь в Орле.

— А меня чего не спрашиваете? — вдруг донесся из задних рядов тоненький голосок. — Всех спрашивают, — обиженно сказала маленькая девочка, — всех записывают ехать в Россию (она кивнула на раскрытые наши блокноты). А меня никто не записывает.

— И нас! И нас! — раздались со всех сторон голоса. — Мы тоже ваши!

А маленькая девочка продолжала:

— Что же, мне теперь с монахинями оставаться? Думаете, я вела себя хуже всех?

Она хотела добавить что-то еще, но вдруг всхлипнула и громко расплакалась.

И еще ребята, волнуясь, говорили, что дня два назад, когда мимо Червенева прошли наши танки, мальчишки высыпали за околицу. Махали руками, кричали: «Папа! Дядя! Мы свои, советские!» И будто один из танкистов действительно признал в босоногом мальчишке племянника: «Витька? Ты?» Подхватил. Посадил на броню танка. Все это мы записали в свои блокноты, поверив и не поверив. А впрочем, почему бы и нет? Какие удивительные встречи случались на войне! Или, может быть, у нас на глазах уже складывалась легенда?

В редакцию возвращались поздней ночью. И писали, писали, по страницам передавая очерк наборщикам. Наутро армейская газета «Знамя Родины» вышла с подробным рассказом. Через всю полосу тянулась длинная фотография: дети, освобожденные из немецкого рабства. С каким волнением из рук в руки бойцы передавали газету с фотографией, вслух читали очерк о мытарствах детей в фашистской неволе!

Глухая 18-километровая дорога Мукачево — Червенево в те дни необычно оживилась. В Червенево ехали врачи. Интенданты везли детям одежду. Благо, на захваченном военном складе оказалась форма мадьярских скаутов. Пригодилась на первых порах. И еще: пришла полуторка с продовольствием для ребят и подарками. То-то был праздник!

Сколько раз потом я рассматривал в газете эту не слишком четкую фотографию, над которой всю ночь бился в нашей походной типографии старшина Ваня Цыцаркин, вытягивая в номер клише. Разглядывал хмурое, недетское выражение на худых лицах разутых, раздетых ребят. В правом углу наш фотограф, не мудрствуя лукаво, собрал малышей, в левом — ребят постарше. В последнем ряду, с совершеннейшими крошками на руках, стояла немолодая женщина — воспитательница тетя Настя или тетя Вера. Их было двое в лагере. Обе добровольно отправились со своими воспитанниками в неволю. Обидно, не успели узнать фамилии, и поэтому вслед за детьми называю их тетей Настей и тетей Верой.

А в Червенево дороги войны привели меня всего один раз. Возвратиться тогда не довелось. Фронт продвинулся на запад. Бои шли уже на территории Чехословакии. Закарпатье осталось в глубоком тылу. Мы знали, что детей подлечили и отправили домой к родителям — у кого отыскался дом и родители, в детские приюты тех, которые остались круглыми сиротами.

Можно было поставить точку. И все-таки, сколько бы раз впоследствии ни вспоминалась эта история, ставить точку не хотелось, лучше запятую, потому что я не терял надежду когда-нибудь услышать о жизни ребят после войны. Как? Каким образом? Не знаю. Рассчитывал на телефонный звонок или весточку по почте. Ведь именно так представлялись новые завязки старых сюжетов.

Но дальше было молчание.

Целых тридцать лет дети числились для меня как бы пропавшими без вести, пока однажды с телефонного звонка заново не возник старый военный сюжет. Литератор Валентин Томин сообщил, что собирает материалы о судьбах детей червеневского лагеря и хотел бы поделиться своими находками. В ближайшую субботу он приехал, и не один, а вместе с Володей, прошу прощения, с Владимиром Маренным, 44-летним инженером-химиком, а тогда, в червеневском лагере, босоногим мальчишкой, чье имя в числе других упоминалось на страницах армейской газеты.

Из чемоданчика «дипломат» Томин извлек объемистую пачку карточек. На них были записаны имена детей. Не все. Далеко не все. Те, которые Темину уже удалось установить. И факты, которые пока успел собрать.

Медленно, по кусочкам собирались сведения о послевоенных судьбах детей, о скитаниях в годы войны.

Так я узнал, что 17 июня 1941 года в городок Новоельня Барановичской области из Москвы на летние каникулы привезли детей иностранных коммунистов — австрийцев, словаков, болгар, немцев, китайцев. А через несколько дней Новоельню заняли гитлеровцы. Детей поместили в приют под присмотр надзирательницы, назначенной оккупантами, и держали там два года. У Томина на карточках отмечено, кому из ребят постарше посчастливилось оттуда бежать, благополучно перейти линию фронта или присоединиться к партизанам, кого угнали на работу в Германию, кто погиб от болезней, голода и холода, не вынеся тяжкого режима, похожего на тюремный.

Весной сорок третьего маленькую итальянку Полетту Глюкозио, корейца Вову Марсина и других уцелевших ребят отправили из Новоельни в село Дятлово, где присоединили к большой группе ленинградцев. Потом всех погрузили в железнодорожный эшелон и повезли бог знает куда. Из города в город. Со станции на станцию. Ехали долго. Еще дольше стояли на запасных путях. Питались объедками и случайными подаяниями.

Добытую пищу делили на всех. Никто ничего не съедал один,

втихаря. Детский коллектив силен был прежде всего своей сплоченностью. Каждый чувствовал себя членом коммуны. Когда вагоны с детьми гоняли со станции на станцию, запрещая выходить на остановках, за едой охотились малыши. Старшим шататься по железнодорожным путям было небезопасно. А малышам ничего, сходило. Вова Марсин и его неразлучный дружок Ваня Шутов считались «чемпионами». Каждый притаскивал до 50 кусков кукурузного хлеба. Но для этого в 8–9 лет надо было заделаться хорошими физиономистами. Сколько раз случалось, чужой солдат добродушно поманит пальцем: «Комм! Комм!» — даже плеснет в котелок супу, а потом как даст под зад сапогом, сразу отлетишь на десять шагов. В одну сторону ты сам, в другую — котелок.

Последний период лагерной жизни, уже в селе Червеневе, мне описал Владимир Марсин: очень было страшно, когда вблизи Мукачево разгорелись бои. Дети укрывались в стогах сена и молились богу (монастырское воспитание!). Видели наши танки. А вскоре приехали и военные. Сперва — вы с блокнотами. Назавтра — врачи. И еще целая грузовая машина с подарками из политотдела армии. В тот день все «от пуза» объелись абрикосовым джемом.

Конечно, 11-летний Вовка запомнил далеко не все детали и отнюдь не самое главное. Но если когда-нибудь одиссею ста восьмидесяти шести детей удастся восстановить во всех драматических подробностях, если прибавится к ней рассказ о судьбах повзрослевших героев этой старой истории, то и тогда пусть вспомнится маленькая деталь: джем! Абрикосовый джем! Настоящий детский праздник. Первый сладкий день после стольких нескончаемо горьких, долгих, угрюмых, голодных.

…А потом давний фронтовой сюжет стал дополняться новыми подробностями. Пришел болгарский журнал «Отечество» с очерком о детях из лагерей Новоельня — Червенево. Из журнала я выписал эту фразу: «Вот так, Йонко! Мы выжили и увиделись», — сказала Йонке Ченгелову Полетта Глюкозио.

Выжили, увиделись всего-навсего через 38 лет, взрослыми, уже пожилыми людьми, болгарин Йонко Ченгелов и итальянка Полетта Глюкозио. В интернациональном лагере Новоельня они мало знали друг друга: «итальянка», «болгарин». Но вот встретились и, казалось, взаимному отчету не будет конца. В первые дни, вернее, часы оккупации несколько мальчиков бежали из Новоельни. Надеялись перейти линию фронта. Среди них был Йонко, сын коммуниста-подпольщика Петра Костова Ченгелова. В 1942 году Петр Костов был схвачен фашистами в Пловдиве и повешен во дворе тюрьмы.

Тогда Йонко еще ничего не знал о судьбе отца, о его письме жене и детям из камеры смертников: «Выше голову! Да здравствует победа, которую я уже вижу, чувствую», которое прочитал через несколько лет. Скитаясь по немецким тылам, Йонко не однажды рисковал жизнью. В Смоленске из-за колючей проволоки его вызволила чужая, незнакомая женщина. В слезах крикнула: «Это мой, мой ребенок!» Сняла с пальца кольцо и отдала часовому. Можно ли забыть такое?..

Под Невелем Йонко приютили хорошие люди, в их семье дождался прихода Советской Армии, через военных сообщил матери, что цел. Об этом узнал Георгий Димитров, который принял горячее участие в судьбе сына Петра Ченгелова, своего соратника по революционной борьбе.

И вот Москва.

— Мама обняла меня и плакала, плакала. Смотрела на мою длинную, не по росту одежду. А я утешал: пускай длинная, зато теплая. На столе груда писем. «Восемьсот, — сказала мама, — столько написала, тебя разыскивая. И на все один ответ: «Такой не значится».

Полетта, дочь итальянского коммуниста Марио Глюкозио (Джузеппе Павезе), умершего в середине 30-х годов после тяжелой болезни в Москве (его жена хранила партийную характеристику Павезе, написанную Пальмиро Тольятти), осталась в Новоельне. Но «лагерная биография» Полетты оказалась не легче, чем у Йонко. В Москву попала 8 мая сорок пятого, навсегда запомнив праздник Победы, и салют в московском небе, и долгое-долгое мамино объятие: «Милее нет ничего в целом свете. И дороже!»

А сколько до этой минуты счастья Полетте пришлось пережить страданий и унижений, голод, холод, болезни! Взрослому человеку с лихвой хватило бы на целую жизнь. В Червеневе ей пошел четырнадцатый год, и вместе с другими старшими девочками она взяла на себя заботу о маленьких. Оставить их без присмотра, бежать из лагеря, как Йонко, Полетта не могла, если бы даже появилась такая возможность. Малыши болели тифом, корью, скарлатиной. Надо было выхаживать больных. Но сама Полетта выжила чудом. Лекарств не было, врачей не было. Да и еды не было тоже. Откуда ей было взяться? Одна вода, да и то не всегда. Это в Червеневе прекратилась детская смертность. А до Червенева, бывало, в день умирало сразу несколько человек. И те, кто выхаживали, нередко заражались от тех, кого выхаживали. Переболела сыпняком и Полетта.

В июне 1981 года, когда Закарпатский обком партии,

горкомы и горисполкомы Ужгорода и Мукачева пригласили «детей Червенева» в гости к тем, кому дети были обязаны спасением от голодной смерти, приехала из Болгарии к своим «червеневским мамам» и Полетта Глюкозио. В Софии она живет много лет, преподает в школе русский язык. Там, в Софии, теперь ее дом и семья. Как память о пережитом, она привезла и показала мне письмо к маме, то первое письмо, которое написала после стольких лет разлуки. Бумагу и карандаши ребятам роздали советские солдаты, проходившие через Червенево. И вот что Полетта написала тогда на своем листке:

«Знаешь, мамочка, я была больна тифом, очень сильно, чуть-чуть не умерла. Меня два раза стригли наголо. Мамочка, при фашистских варварах мы были голые и босые, ходили по грязи босиком, в октябре месяце без пальто, в одном платье…» И наверное, чтобы вконец не расстроить маму, в уголке Полетта нарисовала девочку с длинными косами, с бантами и румянцем во всю щеку (не пожалела цветной карандаш), нарядила в красивую кофточку и под рисунком написала: «Вот Полетта. Мамуся, это я рисовала себя. Уже научилась».

Ох как мало походили «червеневские дети» на румяную девочку, нарисованную Полеттой! Мы, армейские журналисты, видели их в те дни, когда Полетта писала маме письмо. Были они в одежде не по росту — с плеча хозяйских ребятишек, в штанах и платьях, наскоро сшитых крестьянскими мамами из полотенец. Ведь детей привезли в лохмотьях, без обуви, малышей в одних рубашках. Полетте смастерила платье тетя Аня Парамонова. Не такое нарядное, как на картинке, но все равно старое платье Полетта носила, пока окончательно из него не выросла.

Дети есть дети! Запоминали все, что как-то скрадывало существование: синее платье Полетты, пароход, который, нырнув под длинный железнодорожный мост, вдруг этак чудным образом сложил трубу. Володе Марсину вспоминался сладкий джем, Ване Шутову — бодливый баран во дворе хаты, где приятели тайком (бывало и такое) съели миску каши, а теперь, 37 лет спустя, воспользовались случаем, повинились перед хозяйкой.

Все-таки «черненькую цыганочку» Полетту я помнил, хоть и смутно, еще с сорок четвертого года и на общей фотографии червеневских детей довольно быстро отыскал в последнем ряду. Михаила Николаевича Бирюкова я не знал или забыл начисто. И неудивительно. В ту пору он был еще совсем малышом. Когда же встретились через много лет, он произвел впечатление человека замкнутого и немногоречивого. Выступая на вечере встречи в червеневском Доме культуры, произнес самую короткую речь: «Буду умирать и перед смертью скажу, повторю: «Спасибо

червеневцам».

Что ж, в Червеневе он действительно впервые почувствовал внимание и заботу. Война отняла у него родителей, когда ему, наверное, не было еще и двух лет. Пишу «наверное», потому что дату и место своего рождения не знает, фамилию — тоже. Угодил в неволю в том возрасте, когда для ребенка имя отца — Папа, матери — Мама, а весь окружающий мир вообще безымянный. Едва ли не первое воспоминание, как в пустой хате забился в печку, прятался от гитлеровцев, они выковыривали его оттуда, а он держал изнутри заслонку. В Червеневе узнал, что есть и добрые взрослые. Но в Некрасовском дошкольном доме под Орлом, куда эвакуировали освобожденных из плена детей, всех еще сторонился, держался дичком. На воспитателей смотрел исподлобья. Поэтому, наверное, они и решили: будешь ты у нас Бирюковым. Мишей Бирюковым. Имя и фамилия для тебя подходящие. Ну а в графе «Рождение» тогда же записали эту самую Некрасовку, хотя в голове почему-то вертелось другое название — Дубровка. А в той Дубровке — примета: церковь неподалеку от пруда.

Скудная примета!

Все же разыскать свою Дубровку пробовал. Писал в Невскую Дубровку, в Житомирскую. Во все Дубровки, занесенные в справочники. Ни одного положительного ответа. Из Закарпатской Дубровки прислала письмо Анна Юрьевна, секретарь сельсовета. Тоже неутешительное, однако такое задушевное, что Бирюкову захотелось непременно с ней встретиться. Сама Анна Юрьевна не червеневская, но, наверное, ей свойственны доброта и отзывчивость червеневских женщин. От Червенева до Дубровки рукой подать — километров 10–15.

Одним словом, Михаил Бирюков теперь живет в Закарпатской Дубровке с женой Анной Юрьевной и дочкой. Счастлив. Своими руками дом выстроил. Если бы… если бы не эта незаживающая рана войны. Хочется знать: откуда он родом? Не дает покоя вопрос: кто родители? Да разве один Бирюков ищет ответ? Василию Ивановичу Бесфамильному, другому червеневскому ребенку, в Орле анкетные данные, как и Бирюкову, определяли «на глазок». И числился он Бесфамильным, пока однажды воспитательница не подозвала его вместе с другими бесфамильными: «Дети, кто хочет к папе и маме?» Василий поднял руку первым. «Иди, вот твои папа и мама». Старый коммунист, участник войны в Испании, интербригадовец Каган усыновил мальчика. С тех пор он носит фамилию приемного отца.

В рассказе о червеневских детях вскользь уже несколько раз

упоминалось имя Ивана Филипповича Шутова. Всем понравился этот живой, подвижный, общительный и очень неравнодушный человек. Всегда он «заводился» первым на многолюдных вечерах-встречах, в дружеских, доверительных беседах за «круглым столом» и, органически не приемля общие, нейтральные фразы, каждое свое слово согревал жаром собственной души.

У Шутова была своя невеселая история.

Маму потерял восьми лет, когда фашисты выгнали ее с четырьмя малыми детьми из родной деревни Большое Сыроквашино, что под Смоленском, только уйти далеко не дали. Объявили о мобилизации на дорожные работы. Мать заупрямилась: «Никуда не пойду. На кого брошу ребятишек?» Все равно увели силой и, передавали потом очевидцы, расстреляли неподалеку от дороги за «строптивый характер». В пересыльном лагере эпидемия тифа унесла 4-летнюю Тоню и 6-летнюю Дуню. Остался Иван на попечении 11-летней Сони. Давным-давно это было. Выжил Иван. Впереди предстояла целая долгая жизнь. На помощь пришли люди. После войны окончил школу в Орловском детдоме, затем сельскохозяйственный техникум и заочный сельскохозяйственный институт. Учился в партийной школе, работал агрономом в колхозах и совхозах. Тушил лесные и торфяные пожары, награжден медалью «За отвагу на пожаре». А сегодня в городе Петушки Иван Филиппович — деятель профсоюза работников сельского хозяйства.

Само Червенево для него, как, впрочем, и для всех, кто прошел бок о бок с ним свой крестный путь, — свято. Вот Ираида Георгиевна Уваровская, радиооператор из поселка Мама Иркутской области, отправляясь на встречу в Червенево, пересекла чуть не всю страну. Но если бы даже прибавилась лишняя тысяча километров, Ираида Георгиевна не стала бы раздумывать. Есть решения, которые принимают не колеблясь, по зову сердца… Ведь в Червеневе жизнь начиналась заново. Там, после бесконечных скитаний по немецким лагерям, когда баланда из картофельной шелухи уже считалась роскошью, дети узнали вкус хлеба, червеневского хлеба, и запомнили его. Но главное даже не это. Там они узнали человеческую доброту крестьян Червенева, которые, рискуя многим, приняли детей в свои семьи, сберегли от невзгод, там, в Червеневе, они встречали Советскую Армию. И везли их домой, на родину, в вагонах с красными полотнищами: «Дети Советской Армии»…

…Текут годы, десятилетия. И все-таки никогда Иван Шутов не сможет вычеркнуть из памяти, что слово «мама» в последний раз произнес восьмилетним мальчишкой. Вот еще одно из жесточайших преступлений войны: дети, лишенные детства, дети,

потерявшие матерей. Иван Шутов помнит день, когда в последний раз произнес имя матери. Его друг Володя Марсин — когда в первый раз опять научился его произносить. Ему посчастливилось, он встретил свою маму. Но долго еще стеснялся называть маму мамой. Отвык, разучился. Как чужой, незнакомой женщине говорил ей «вы», этим «вы» доводя маму до слез.

А разве Галя Андрончик сразу признала маму? В сорок первом, оставшись с полуторагодовалым братом Толей на руках, Галя заменила ему мать и, хотя ей самой еще не было восьми, нянчила и выхаживала. Когда в Орловском детдоме воспитательница подвела к ней маму, Галя на всякий случай покрепче прижала к себе брата. Кстати, по укоренившейся с детства привычке Галина Тимофеевна не спускала с Анатолия материнского взгляда, даже когда сама стала матерью двух детей. И на встрече в Червеневе Андрончики были неразлучны: он — знатный механизатор, она — крановщица, строитель новых домов в Белгороде. Я слышал, как одной их своих червеневских мам Галина Тимофеевна говорила с гордостью:

— Помните, тетя Маша, Толика? Голодный, слабенький, ножки болтаются. А теперь вон каким стал. Орденом награжден за досрочное выполнение заданий девятой пятилетки.

В Ужгороде и Мукачеве дни были заполнены до отказа. Утром встречи с пограничниками, потом до позднего вечера — со студентами. Назавтра — с участниками семинара пропагандистов и в издательстве «Карпаты». И уже накануне поездки в Червенево — на фабрике мукачевского производственно-трикотажного объединения. У ворот встречала энергичная и распорядительная молодая женщина Этелла Васильевна Монда, секретарь партийной организации фабрики. Прежде всего краткое знакомство с предприятием. Этелле Васильевне не терпится провести нас по цехам, показать новое оборудование, образцы только что освоенных тканей, из которых одна — «гуцулка» сияет нежными красками весеннего луга, и кажется, даже ее узоры пахнут весенними травами. В цехах пусто. Рабочий день окончен. Искуснейшие мастерицы, те, что умеют безошибочно распорядиться тысячью игл и тысячью цветных ниток, собрались в красном уголке. Подозрительно часто вытирая глаза, они слушают рассказы о том, как в Новоельне после прихода немцев дети тайком зарывали в овраге пионерские галстуки и значки, как мыкались в концлагерях, как расставались с мальчиками и девочками, которых по достижении 14 лет отправляли в Германию. Когда же вечер подошел к концу, Этелла Васильевна, поднявшись на сцену поблагодарить гостей, неожиданно — да простит она мне, что я выдал эту подробность, — громко

всхлипнула, залившись слезами обняла Ираиду Уваровскую и Галю Андрончик и бросилась за кулисы. Сколько молодых матерей собрались в тот вечер в зале, и каждая, должно быть, остро почувствовала прикосновение войны, и каждая подумала о собственных детях.

А в Червеневе на просторной площади собралось чуть не все село — от мала до велика. В сорок четвертом мы видели здешние облупившиеся хаты и на разбитом проселке запомнили непролазную грязь, потому что в ней, проплутав по колдобинам, прочно, всеми своими колесами увязла наша «эмка». Теперь на месте старых хат стояли нарядные домики. С магистрального шоссе на Червенево вела новая асфальтовая дорога, по которой плавно катил наш автобус. И все это вместе — тепличный комбинат, тракторный стан, дома культуры, библиотеки, не одна — целых пять, магазины, детские сады, ясли, всего не перечислить — принадлежало червеневскому колхозу-миллионеру имени Чапаева.

Вероятно, тех, кто захочет повести историю села Червенева от дней сегодняшних, не так сильно, как нас, поразят перемены и преобразования, о которых рассказывал председатель колхоза Иван Туряница. Но мы-то начинали отсчет с событий сорокалетней давности. Даже самый пылкий фантазер не смог бы предугадать тогда нынешний облик Червенева.

Пока ехали в автобусе, Иван Шутов и Владимир Марсин мечтали отыскать на окраине села грушу, которую любили трясти. Грушу-кормилицу они заранее выбрали своим ориентиром в предстоящих прогулках по селу. А выяснилось, что дерева давно уже нет, высохло. И окраина села больше уже не окраина. Память оказалась ненадежным помощником. И не потому, что с годами многое забылось. Напротив, помнилось, и очень прочно. Просто все вокруг изменилось.

На митинге в Червеневе у обелиска односельчанам, павшим в боях за Родину, в почетном карауле стояли пионеры. Девочки — все с белыми бантами в косах. Как девочка на картинке Полетты. Но только живые, всамделишные. Гремели трубы деревенского оркестра. У обелиска вырос холм ярких цветов. И опять в который раз за эти дни на глаза навертывались слезы. Сколько пережито и выстрадано! Сколько добыто и завоевано!

До начала встречи — в деревенском Доме культуры — оставалось несколько часов, и червеневские мамы, как 37 лет назад, «разобрали» по домам своих бывших питомцев. Олена Петровна Довганич приютила тогда у себя сразу четырех девочек. Так уж получилось. Едва привезли в Червенево детишек, одна маленькая с плачем бросилась к ней: «Мама! Мама!» Олена

Петровна говорит: «Я не мама, я тетя». «Все равно мама-тетя», — и еще крепче к ней прижалась. С тех пор маленькая ленинградка Людочка Кувшинникова стала жить то у Олены Довганич, то у Полины Решетарь, а вместе с Людочкой ее сестры — Ира, Валя. Ну и эту «цыганочку» Полетту женщины тоже решили взять. Можно было долго слушать рассказы червеневских мам, если бы Полетту властно не потребовала к себе дочка Полины Решетарь — Магдашка, или, говоря официально, Магдалина Юрьевна Курта — директор червеневского Дома культуры. У Магдалины засиделись. Шутка сказать, сколько лет подружки не виделись: с военного детства. А ведь от Магдалины предстояло зайти по крайней мере еще в один дом. И там с самого утра держали накрытый стол. Грех обижать хлебосольных хозяев. А у них третий за сегодняшний день суп-лапша, картофель, голубцы. И ключ от двери у хозяйки в кармане. Хочешь не хочешь, отведать надо.

Сердце Магдалины разрывалось. В Доме культуры вечер назначили ровно на шесть. И, наверное, уже давно поджидали директора. Мы безбожно запаздывали. Магдалина была убеждена, что схлопочет выговор от секретаря Мукачевского районного комитета партии. Разве что не станут омрачать праздник. Не стали!

По насыщенности впечатлениями и богатству душевной отдачи день в Червеневе стал таким полным, что показался равным году. И в то же время, как быстро промелькнул! Даже за один июньский день, самый длинный день календаря, разве вспомнишь все пережитое. И грустно было на этом празднике многих не досчитаться. Одни не приехали. Другие до сих пор не разысканы. Николая Видяшенкова, бывшего вожака червеневских ребят, разыскали уже после праздника. Живет под Ленинградом, преподавал в школе, теперь стал ее директором. Своего гостя ждала бабушка Мария Федоровна Довганич. Сколько у нее собственных детей и внуков, не знаю. А правнуков девять. Но в то утро ждала того, кого усыновила в сорок четвертом. Встречать вышла спозаранок. И не хотела верить, что ее Славик не приехал. Не мог Славик не приехать. Все вспоминала осенний день в октябре, когда Славик шел по улицам села с барабаном, всех и каждого извещал барабанным боем: нет больше оккупантов в округе!

На этом заканчивается рассказ, но не история спасения червеневских детей. В финале рано ставить точку. Лучше запятую или многоточие. И не потому только, что бабушка Довганич по-прежнему дожидается своего Славика. В Москве группа болгарских кинематографистов снимала эпизоды для фильма о

червеневских детях, и тогда, уже не заочно, а лично, я познакомился с Йонко Ченгеловым, ныне работающим в Москве, и от него услышал захватывающие дух истории ребят, которые вместе с Йонко скитались по вражеским тылам. Но это уже начало другой главы. Время все дальше уводит в прошлое события военных лет, и время же воскрешает в памяти новые факты, новые поразительные подробности.

С. Большакова
«А я — везучая!»

С Валей Песковой, в ту пору младшим научным сотрудником НИИ города Воскресенска Московской области, нас познакомило письмо. Валя рассказала: ее отец Петр Васильевич погиб, защищая Брестскую крепость. Мать Марина (отчества Валя не знала) погибла, по слухам, тоже на белорусской земле, сражаясь в рядах партизан. Многие годы стремилась Валя отыскать родных по линии отца или матери, но безуспешно. И вдруг — удача! Как-то подруги показали ей книгу В. Беляева «Граница в огне». В ней рассказывалось о ефрейторе Петре Васильевиче Пескове и было упомянуто: брат Петра живет в Иванове.

Ивановская милиция сообщила адрес Песковых. Валя послала им письмо, фотографию, в ответ пришла телеграмма: «Немедленно приезжай. Ждем. Песковы». «Вот так, — писала Валя в «Комсомольскую правду», — я нашла своих родных и счастлива. Я очень везучая!»

Письмо Песковой было опубликовано.

Неожиданно раздался телефонный звонок из Перми: «Товарищи из редакции! С нами работает Мария Пескова. Она прочла вашу газету и сама не своя. Утверждает: «Это моя дочь». Но в письме есть неточность. Песков был не Петр, а Яков. Слышите? Яков. И сама Пескова не Марина, а Мария. Разберитесь побыстрее, может, у Вали нашлась мать».

Звонок задал нам загадку. Мы снова открыли книгу Владимира Беляева, но там черным по белому написано: «Пограничник Петр Песков», к тому же у нас было и другое свидетельство — семьи Песковых из Иванова. Они-то ведь знают, как звали их брата. Но может быть, на знаменитой Лопатинской заставе, подумали мы, был и другой боец — Яков Песков? Работники Музея пограничных войск подняли документы, обратились к архивам сотрудники Министерства обороны. Мы сделали и другие запросы. А тут как раз подоспело письмо из Перми от самой Марии Владимировны Песковой:

> «Дорогая редакция! Я прочла письмо Вали и поражена сходством описанных ею данных с тем, что произошло со мной и моими детьми. Я родилась в 1918 году в Пермской области. В 1935 году вышла замуж за Пескова Якова Васильевича. В 1936 году в декабре родилась дочь Лидия. В 1937 году Яков Васильевич ушел

в армию, служил в Днепропетровске. Когда муж демобилизовался, мы уехали вместе в Брестскую область, он поступил в железнодорожную милицию. Мне жаль, но название местечка, где мы жили, я никак не могу вспомнить. Знаю одно: оформлялся мой Яков в Барановичах. В апреле 1941 года у меня родилась вторая дочь — Валентина. Когда началась война, мы выехали из Бреста в Минск, а Яков Васильевич остался с частью на границе. Но до Минска мы так и не доехали. Дорогу разбомбили, и нам пришлось идти пешком. Дошли мы до Березина, но и там мост уже взорвали. Я была потрясена тем, что случилось, и просто обезумела. Меня еле уговорили выйти с детьми из леса. Кое-как мы добрались до села Ратное. Константин Комель (я хочу сказать, что его имя и фамилию я вспомнила, только прочитав их в газете), увидев, в каком я оказалась положении, сжалился и пустил нас к себе…»

Второе письмо было с Урала от Лидии Билаловой, урожденной Песковой. Она сообщала:

«Я прочла письмо Вали Песковой и не могла поверить своим глазам. Снова и снова я читала строки: «Моя мама Марина Пескова вышла из Бреста пешком со мной и еще с одной девочкой, которую звали Лидой». Но ведь моя судьба очень похожа на судьбу той девочки, которую вспоминает Валя. Я не сомневаюсь, что Валя моя сестра».

Итак, Петр Васильевич Песков, бывший электрик Большой Ивановской мануфактуры, встретил войну на заставе Алексея Лопатина. Яков Васильевич Песков, уроженец Пермской области, в самый канун войны служил под Брестом в железнодорожной милиции. Судя по всему, Песковы одногодки. Но чья же дочь Валентина Пескова?

Что скажет дед Комель, у хаты которого остановилась женщина, и воспитатели Червенского детского дома? Правда, с той поры времени прошло немало. Источились даже камни, одни реки обмелели, другие изменили свой путь. Женщина, которой было когда-то всего двадцать два, сейчас выглядит совсем по-иному. Удастся ли в этой, другой, отыскать сходство с той молодой матерью?

— На проводе — Москва. Ответьте!

— Москва, вас вызывают. Говорите!

Слышны Минск, Барановичи, Червень, Подольск, Иваново,

Пермь, Воскресенск, Брест. Отовсюду стекаются вести. Дед Комель: «Еду в Москву. Сам посмотрю на женщину с Урала».

Учителя из Червеня:

— К вам вылетает наша Герасимович. Барановичи:

— Едет представитель швейной фабрики. Иваново:

— Трое из семьи Песковых готовы в дорогу. Собирается большой семейный совет…

Радость тоже опасна. Валя сжилась с мыслью: «Мать умерла. Ее нет в живых». И вдруг незнакомая женщина утверждает: «Я — мама Вали». Как встретит Валя это известие?

Мы просили: приезжай, Валюша, в редакцию не одна. И вот она на пороге с парторгом своего института Евгением Петровичем. Охватывает такое чувство, словно мы втроем вступаем на тонкий лед: неосторожный шаг, поспешный, неуклюжий — и тут же отзовется бедой.

— Целая стопка писем. А вот еще одно письмо, это с Урала. Может быть, твоя однофамилица? Но и она шла из Бреста. И она несла на руках двух детей. И она остановилась в Ратном…

— У меня нет матери, — отрешенно говорит Валя. — Я долго ее искала. Десятки матерей хотели меня удочерить, взять в свой дом. Одна женщина особенно настаивала: «Я, я — твоя мать, почему не признаешь?» Но сердце ее не принимало — чужая. Теперь у меня не осталось надежды.

И вдруг рука судорожно защитила глаза. Валя умолкла, словно прислушиваясь к чему-то в самой себе, а потом неожиданно спросила:

— А мизинец у той чуть-чуть кривой? А старшая девочка у той — Лида? Она беленькая?

До дня, который должен был с беспристрастностью судьи распутать все хитросплетения Валиной судьбы, оставалась ночь. В одиннадцать вечера мы посмотрели на часы.

— Ивановские уже у себя на вокзале, — тихо сказала Валя. — Если я и окажусь дочерью Якова, все равно не смогу жить без них.

Мы снова зажгли свет. На часах было два.

— Деду Комелю трудно ехать в Москву — старый, — снова произнесла Валя.

Первой пришла Аня Сушинская, комсомольский секретарь Барановичской швейной фабрики (там Валя работала после профтехучилища). Она поставила у двери полосатый чемоданчик, крепко, по-мужски пожала нам руки, сказала:

— Звонил весь актив города. Все желали мне удачной дороги, а главное, тревожились: нашлась бы мать!

Мария Владимировна Пескова и ее дочь Лида приехали в полдень. Лида сняла платок, и мы увидели — русая. Хотелось

взглянуть на мизинец женщины, но ее руки, все время мешая друг другу, то находили, то теряли платок. Она опустила голову, и мы отметили: волосы такие, как у Вали. Посмотрела в окно. Кажется, и у Вали тот же овал лица и так же чуть-чуть проступают скулы. Глаза матери вдруг стали сухими. Оказывается, и они совсем зеленые. Она или не она?

Вошли ивановцы. Брат пограничника Петра — Михаил Васильевич, его жена Анна Дмитриевна, сестра Анна Васильевна. Дед Комель, учительница Герасимович, Валя Москаленко, редактор червенской районной газеты Анатолий Фурик приехали только к пяти вечера. Дед сбросил на стул полушубок, снял у двери с валенок галоши, откашлялся для порядка и начал свой рассказ.

Константин Дмитриевич Комель:

— Остановилась у моей хаты женщина с двумя детьми. Кругом война. Своих детей, правда, было четверо. Но я подумал, подумал и сказал: будем погибать, так вместе! И остались они в моей хате за своих.

Осенью 1941 года, когда кончился хлеб, женщина пошла в соседний хутор на мельницу, но там была немецкая засада. Гитлеровцы подумали, что женщина пришла от партизан, схватили, посадили в машину. Проезжали они мимо леса, и партизаны стали стрелять. Когда перестрелка немного стихла, она решила было соскочить с машины, чтобы убежать в лес к своим. Только спустила ноги, как те гады дали залп. Ранили ее. Она потеряла сознание.

Три месяца лежала потом в госпитале.

Вот тут-то детей отдали в детский дом. Вышла женщина после болезни из госпиталя на костылях. И решила взять с собой в дорогу только дочку постарше, ту, что уже сама ходила, а за младшей вернуться.

<Пропуск страниц 291–292>

Свидетельство подруги Софьи Гарбуз:

— Валя Пескова, в детском доме мы звали ее «цыганочка», моя хорошая подруга. Мы вместе росли, вместе учились, рядом стояли в строю, когда принимали в пионеры. Была Валюша слабенькой — ведь пришлось пережить страшный голод. Я помню, она с трудом ходила, и мы старались взять ее на руки. Да и ботинки на наших ногах были 40–41-го размера. Но что поделаешь?! Вместе с Валей меня отправили в Кисловодск в клинический санаторий. До сих пор вспоминаю, с каким радостным удивлением мы знакомились с горами, цветами. После пережитого кошмара Кисловодск был сказочным миром. Спасибо за все нашим дорогим учителям и воспитателям! Свидетельство

еще одной подруги — Татьяны Курневич-Журок:

— С Валей Песковой я росла в одной группе. Когда она занималась уже в профтехучилище, я поступила в финансовый техникум. Я, как и Валя, благодарна нашим воспитателям и учителям. Это они сделали нас людьми, полезными обществу. Получив специальность, девочки пришли на швейную фабрику и ахнули, увидев солнечные цехи, в которых им предстояло работать. Главный инженер Нина Семеновна Носова тут же созвала бывших детдомовцев в своем кабинете и вроде бы строго сказала: «Не теряйте попусту времени. Идите в вечернюю школу». Они ее послушались. А там, в школе, учительница по химии, узнав, что Валя мечтает о химическом институте, стала давать ей дополнительные уроки. Уже просто так, без всякого расписания…

Приехала Валя в Москву, стала студенткой института имени Менделеева. Трудно было жить на одну стипендию. Но пошли письма. От подруги по профтехучилищу Риты Ширинской: «Держись, бедный студент! Вот тебе немножко денег. Прими, они от чистого сердца». Дед Комель посылал яблоки, звал на лето к себе.

…Петр Песков, имя которого Валя встретила в книге «Граница в огне», служил на границе под командованием легендарного Алексея Лопатина.

Анна Васильевна Пескова:

— Вызвали в милицию. Спрашивают: где служил ваш Петр и как погиб? Есть, говорю, извещение — «пропал без вести». Был женат? Перед войной, отвечаю, прислал открыточку, писал: будет все благополучно — вернусь не один. Работник милиции показал письмо: девушка разыскивает своих. Я сказала: «Пусть нам напишет». И сама написала: «Валя! Есть фотокарточка, пришли». Может, думаю, какая-то ниточка и осталась после нашего брата.

Валя быстро ответила и выслала фотокарточку. Мы посмотрели — и правда на нас похожа! Я — к брату Михаилу, показываю карточку, он говорит: «Конечно, наша! Что ж мы стоим? Пишите ей. Пусть скорее приезжает». Сын и дал телеграмму: «Немедленно приезжай. Семья Песковых».

Ждем день, два, три. Переживаем. Наши говорят: «Иди, заказывай разговор на три минуты. Много говорить не надо, потом ее обо всем расспросим». Заказала я разговор. Это было в пятницу. Телефонистку предупредила: если буду очень волноваться, вы сами ей скажите, что очень ждем.

Вошла я в будку, слышу голосок: «Анна Васильевна, Анна Васильевна, вы скажите сами, я похожа на вас? — это она мне в телефон. — Я ваша, мне сердце подсказывает». А я ничего не могу в ответ выговорить. Дальше слышу: «Приеду в сером платьице».

Ушла я с почты, потеряла где-то свою сумочку, с которой в баню собралась, иду, реву.

Человек шестнадцать нас собралось на вокзал. Идет состав, мы все вагоны видим, а вот четырнадцатый, как назло, не видим. Бросились было к паровозу. Добежали до первого вагона, а он — багажный. Народ нам на платформе мешает. Бежим назад. Смотрим, а мой сын держит ее за локоток. Я ее целую и плачу. Представляю всех. Ну, кое-как разобрались. Стали решать, куда пойдем. Брат говорит — ко мне, а я говорю — ко мне. Ну, порешили идти к нему. Мы все у него воспитывались. Валя нам ничего не отвечает, вроде не плачет и не радуется, а вот когда сели мы за стол, тут она и разрыдалась. Она плакала оттого, что нас так много, а мы ее не сумели найти раньше.

Отчество у нее было Ивановна. А брата звали Петром. Вот мы и пошли в органы милиции, сказали: нашли, наконец, дочку брата, надо ей переделать отчество. Когда выправили мы документы, она сказала: «Ну все, я теперь Петровна». Это было для нас большое счастье.

Она приезжала к нам, и для нас это было большое торжество. Переступит порог и кричит: «Я уже дома».

Все побросает, одну варежку в одну сторону, другую — в другую, начнет целоваться.

И все же эти Песковы были не Валина родня.

Когда дед Комель открыл дверь редакции, Мария Владимировна Пескова бросилась к нему: «Дмитрич, родной!» Дед протер глаза, вгляделся в лицо женщины и сказал убежденно: «Да, это она, мать. Зовите дочку».

Учительница Герасимович подтвердила: да, это Пескова — мать нашей Вали, сомнений нет!

Валя родилась в час, когда решалась судьба Родины, решалось, в каком мире жить этой девочке. Потому и мысль наша общая, главная, была об отцах — тех, кто кровью, жизнью оплатил ее будущее.

Рядом с Анной Васильевной сидел Иван Павлович Котов — под его начало попал на заставе Петр Песков (родные и командир впервые увидели друг друга). Он рассказал:

— За полночь, в половине четвертого, мы с Петром позавтракали. И только я разобрал свою постель, а Петр еще и не ложился, как раздался взрыв. Прозвучала команда: «Застава, в ружье!» Все заняли места, предусмотренные для обороны. После сильного артиллерийского обстрела захватчики нагло, засучив рукава, пошли на нас. По приказу лейтенанта Лопатина первым открыл огонь по врагу Петр. Атака была отбита. Но вскоре немцы нас окружили. Мы дали клятву биться до последнего патрона.

Держались двенадцать дней. Был убит политрук заставы. После нескольких артиллерийских обстрелов — ранен Петр. Жена начальника заставы Анфиса Лопатина перевязала ему голову. Он был тяжело ранен и все-таки находил в себе силы, несколько раз подползал ко мне, говорил: «Я еще кое-что сумею, давай…»

— Теперь на том месте, где шел этот бой, — говорил писатель Владимир Беляев, присутствовавший на встрече родных, — поднялась вишневая аллея. Принят неписаный закон: никто не имеет права сорвать с дерева ни одной вишенки. Ягоды поспевают, наливаются соком и падают на землю, как капли крови, которые когда-то оросили эту прибужскую землю.

А Мария Владимировна Пескова вспоминает свое:

— В ночь на 22 июня мой Яков дежурил на станции. Прибежал с рассветом — уже бомбили. Схватил детей, я — следом. Побросали мы и дом, и вещи. Думали: только бы уцелели дети! Яков усадил нас в теплушку. Поцеловал Лиду, Валю. Матери на Урал потом писал: «Иду на важное задание». И все — как в воду канул.

…Петру и Якову, двум русским солдатам, выпала доля первыми встретить врага. Они погибли в бою совсем молодыми.

Мария Владимировна Пескова досказывает свою историю:

— При фашистах запрещали переходить из одной деревни в другую. Но дошел до меня слух, что детского дома, в котором жила Валя, нет на месте, его куда-то вывезли. Тогда я решила вместе с Лидой пробираться к Бресту. Поступила в саперную часть поварихой, кормила солдат. Все время посылала запросы о дочери. Но отвечали: «Не числится ни в живых, ни в мертвых». Я искала Валентину Яковлевну, а ее записали почему-то Ивановной. Когда кончилась война, я уехала на Урал.

— Теперь у меня две семьи, — говорит Валя. — Одна вроде бы по отцовской линии, другая — по материнской. И за то, что я выросла человеком, я всегда буду благодарна деду Константину Дмитриевичу Комелю, Вале Москаленко. И всем добрым людям, они спасли меня от смерти. Я, наверное, действительно очень везучая. Мне всегда встречались на дороге только хорошие люди: и в школе, и в техникуме, и на работе, и в институте. Все помогали, все поддерживали, никто никогда не обижал.

…Вечером в гостинице дед Комель вынул из сумки большой кусок домашнего сала и положил на стол. Анна Васильевна поставила рядом банку с помидорами собственного засола. Анна Дмитриевна высыпала на салфетку печенье, которое любит Валя. И отошли куда-то тревоги последних дней. Валя сидела рядом с матерью и сестрой. Тут же за столом был ее старый дед, и родные из Иванова, и Валя Москаленко, та самая золотая душа, что в

голод несла ей свой хлеб.

Эд. Поляновский
Встреча

Сквозь цветы, и листы, и колючие ветки, я знаю,
Старый дом глянет в сердце мое…

А. Блок

Наконец-то, наконец-то решилась она отправиться в Ленинград.

К отцу.

Всю взрослую сознательную жизнь она словно набиралась сил для этой поездки — и вот теперь, решившись, сказала себе тихо и спокойно: «Ну, Марина Иванна — с богом…»

Она могла бы поехать поездом. Но не отважилась. Однажды, несколько лет назад, она вот так же вот, почувствовав уверенность и даже некоторую независимость от прошлого, отправилась в Ленинград. За окном мелькали перелески, поля, избы, люди. Возникало детское желание сойти с поезда и побродить босиком по траве, хоть на несколько часов зайти в чужую деревенскую избу, хоть ненадолго прикоснуться к чужой сельской жизни. Возле маленькой станции с милым патриархальным названием Гряды поезд вдруг стал: впереди чинили путь. Со всеми вместе Марина вышла из вагона, гуляла возле небольшого пруда, заглянула в сельский магазин, где лежали вместе соленые огурцы, конфеты, электрические лампочки, творог, шпроты, конверты, лавровый лист.

— Тебе чего, бабуля? — говорила продавщица маленькой сморщенной старушке. — Хлеб? Порежу, порежу. Сдачу держи — полтинник, да гляди, за двугривенный кому не отдай.

Прямо возле вагона, у откоса, местный мальчишка продавал сирень.

Чужая неприхотливая жизнь, и этот лес вокруг, и поле успокоили Марину. Она сидела на сваленных возле пути бревнах, вдыхала запахи смолы, луговых трав — все запахи теплого июньского дня — и думала, какое это все-таки удовольствие — просто жить: дышать, слышать, видеть.

Какой-то молоденький лейтенант поднес ей букет сирени, и она, кажется впервые за дорогу, улыбнулась.

Зазвучала музыка где-то неподалеку, так и не узнала она, что

это — магнитофон, приемник? Услышала только:

Ямщик, не гони лошадей,
Мне некуда больше спешить…

Марина почувствовала, что ей не хватает воздуха, что сердце останавливается.

Мне некого больше любить.
Ямщик, не гони лошадей.

Она неловко запрокинулась на правый бок, рассыпалась сирень. Потом, как сквозь завесу, угадывала, что возле нее хлопочут какие-то люди и кто-то читает вслух ее адрес: Иваненко Марина Ивановна, Краснодар, улица Шаумяна, 144…

Через несколько часов ее отправили обратно домой.

Она летела в Ленинград на самолете и старалась не думать о встрече. Вспоминала свою мебельную фабрику, Кубу. Муж ее, ученый-энтомолог, разрабатывал там систему защиты сахарного тростника от вредителей. Вспоминала их великолепный многоэтажный отель с бассейном.

Но, однако, — Ленинград… Как прекрасно и счастливо жили они там до войны! Отец, мама, Олег — братишка, чуть постарше ее, и она, самая маленькая, всеми любимая. Отец, еще когда жил в Москве, мечтал о Ленинграде, грезил им и все сделал для того, чтобы переехать туда. Он закончил в свое время художественную школу и уже в Ленинграде незадолго перед войной работал главным инженером на картонажной фабрике. Кажется, на реке Пряжка. Интересно, жива ли та река, не поменяла ли имя свое? Надо будет и туда зайти. К ужину они всегда ждали отца. Каждый выкладывал дневные новости. Марина — детсадовские, брат — школьные, отец — фабричные, мама — домашние.

Отец прекрасно рисовал. И сейчас еще, когда Марина смотрит на портрет мамы, написанный отцом, она удивляется. Мама, бедная мама, давно, еще в блокаду, умершая (Марина даже не знает, где она похоронена), на этом портрете — живая, и, когда идешь мимо портрета, живой мамин взгляд скользит вслед за Мариной, не оставляет ее.

Еще отец писал стихи — о луне, о Ленинграде, о любви, о дне рождения Марины. Обо всем, что случилось с ним на работе, на улице, дома. Стихи — средние, но то, что он прозу жизни переводил в поэзию, возвышало его. У него были сотни стихов, несколько тетрадей.

Однажды отец посадил пятилетнюю Марину на колени, взял семейный фотоальбом и ко всем снимкам сделал подписи от ее имени. Она и поныне хранит этот альбом. Там есть фотография их деревянного дома, ночью, это когда они отдыхали в деревне. Отец подписал: «Тихая, теплая, лунная летняя ночь… Пусто крыльцо. Молчаливы задворки. На востоке алеет. Где-то запели петухи. Еще и еще. Скоро рассвет…»

Главным отцовским талантом было украшение праздников. Жили они в коммунальной квартире, шикарная была квартира, ленсоветовская. Огромный, бесконечный коридор, в котором они, дети, устраивали велосипедные гонки. Какие спи устраивали гонки! И комната у них была — сорок два метра, с длинным, до самой кухни балконом. И вот в комнату эту сходилось иногда по праздникам до полусотни гостей. Сейчас разучились праздновать. Соберутся — и на всю мощь музыку. И все слушают, или все танцуют. Если кто-то говорит или поет, то все внимание — ему одному.

У них каждый занимался чем хотел: кто-то играл в шахматы, в другом углу слушали музыку и танцевали, кто-то с кем-то беседовал, кто-то вполголоса читал стихи.

Хаживали к ним знаменитые исполнительницы цыганских романсов Изабелла Юрьева и Кэто Джапаридзе. Юрьева, кажется, пела тогда во Дворце культуры пятой пятилетки? Или нет? Ее, малолетнюю Марину, туда не пускали.

И вот, когда наступал «пик» празднества, гости просили: «Иван Иванович…» — и кивали на рояль. Отец усмехался добродушно. Хорошо ли он пел? Во всяком случае не стеснялся знаменитостей. Они и сами просили: «Спойте, правда».

Отец садился за рояль, откидывал далеко назад и вполоборота к гостям голову — знак легкого небрежения к своему самодеятельному таланту, касался невесомо клавиш, пробегал, будто пролетал над ними:

Как грустно, пустынно кругом…

Голос лился тихий и необыкновенно чистый:

Тосклив, безотраден мой путь…

В голосе, а главное, в лице отца было странное сочетание мечтательности и озорства, как будто он сам себе невесело подмигивал и в то же время снисходительно относился к сентиментальным словам.

А прошлое кажется сном,
Томит наболевшую грудь!..

Приглушенный разноголосый хор в комнате напевал:

Ямщик, не гони лошадей…

Праздников было много, разные. День именин Марины нарекли «днем лент», и все дарили ей только ленты. Ленты, ленты, ленты. Вся комната в разноцветных лентах, заблудиться можно.

Особенно нравился Новый год. Отец с мамой заранее выведывали, что кому из гостей нравится, и покупали подарки. Вечером, посреди яркой комнаты, зажмурив глаза, стояла она, Марина, за ее спиной отец вынимал из мешка подарок:

— Это кому, Мариночка?

Марина делала вид, что думает…

— Тете Лизе.

И не ошибалась.

— А это?

— Дяде Николаю.

Под шум, смех, веселье каждый получал именно то, что желал. И всем нравилось, что папа с дочкой так ловко все устраивали.

С елки брали конфеты, ели, а потом в фантики заворачивали хлеб и снова вешали на елку. Простенькая хитрость, но, если дети попадались на нее, тут же под смех взрослых бросали подделку в угол за рояль…

— Прошу вас, приготовьте столик.

Марина очнулась, увидела возле себя бортпроводницу и в руках у нее на подносе мясо с рисом, что там еще — чай, пирожное и, кажется, сок.

Была в их квартире одна достопримечательность, о которой знали все соседи, весь дом, все знакомые, — огромный пушистый сибирский кот Бармалей. Глаза мягкие, добрые и — умница! Как только услышит четыре звонка, понимал — к ним и легко, бесшумно бежал по коридору и усаживался у дверей: встречал. Ни разу не пропустил ни одного гостя. Ласковый кот был символом добра, согласия и уюта в доме.

Однажды он пропал. Его искали все долго и безуспешно. В семье никто не поднимал глаз друг на друга. Повесили объявление. Приходили многие, приносили котов. Не то. Один раз принесли — похож! Пушистый здоровый Бармалей! А он

прыгнул в шкаф, зарылся, и через час там… родились котята. Кошка!

Бармалей вернулся так же неожиданно, как и пропал. И снова выходил он на четыре звонка и усаживался перед дверью встречать гостей, снова поселились в доме уют и тепло.

Как быстро наступил голод — непостижимо. Сейчас трудно себе представить, но это было так: двадцать второго июня сорок первого года уже шла война, рвались снаряды, гибли люди, а в Ленинграде в магазинах было полно всего: и хлеб, и мясо, и крупа, и мука. И пирожные, и конфеты, и все-все. Только к вечеру уже выстроились очереди. Как-то казалось, что война — это где-то в другой стороне и ненадолго. И даже когда фашисты подошли к Ленинграду, когда стали эвакуировать детей, отец сделал нишу и там спрятал Марину. Предупредил ее: сиди, не пищи! Когда приходили инспектора, отец объявлял: девочка уже уехала с тетей в деревню. Все были уверены, война ненадолго.

Когда пришел голод, она не помнит. Он обрушился, кажется, неожиданно. Появились карточки: зеленые, желтые, красные, синие — для рабочих, служащих, детей, иждивенцев. Появились новые обязанности: она, восьмилетняя, носила домой снег в бидоне — варили суп, воды уже не было. Брат бродил по задворкам, искал дрова. Еще, она помнит, брат заколачивал фанерой окна, потому что холод был ужасный. Как-то в редкий счастливый день, когда и голод, и холод свирепствовали вовсю, мама разожгла примус, и брат подошел, поднес было окоченевшие руки, и они упали прямо на огонь. Сжег обе кисти.

И еще какие-то рваные воспоминания: сидят они в трамвае, по обе стороны горят дома, сплошное зарево и все небо — в аэростатах. И люди едут куда-то, кто куда — бледные, худые, с узелками, мешочками. Особенно горел Московский проспект.

И Бадаевские склады горели, сахар оплавлялся в огне и уходил в землю. Тушили пожар огнетушителями. Соседи ездили туда на пепелище, набирали в кошелки эту сладкую землю и дома варили ее, процеживали. Некоторые умерли. Потому что в огнетушителях был яд.

Как-то они с братом стояли в очереди за студнем. Начался сильный артиллерийский обстрел. Очередь не двинулась с места. Когда все утихло и они возвращались, увидели возле своего дома трупы: их, видно, свезли сюда, в одно место, после артобстрела. Олег вдруг стал лихорадочно искать маму. Искал-искал — вроде нет. Она еще кое-как поднималась по лестнице, шла, а брат — полз. И кнопку звонка четыре раза нажала она, брат с трудом поднялся и прислонился к косяку. Когда дверь открылась, они увидели на пороге… спокойного и доброго Бармалея. И

вздохнули: все в порядке. Но все равно, когда через несколько секунд появилась мама, брат упал в обморок.

Подевались неизвестно куда все их знакомые. Живы ли? Как-то зашел один. Постоял, покачался в дверях. Ни слова не говоря, как тень, как привидение, побрел в угол за рояль. Осмотрел все — не нашел ничего и так же медленно и безмолвно вышел.

Когда же это было? В конце зимы. Да, в конце зимы. Мама, плача в голос, вошла в комнату и опустилась на диван.

— На кухню… не ходи, — попросила она Марину, — подожди…

Почувствовав неладное, Марина кинулась в коридор и — к кухне. Распахнула дверь. Посреди кухни стоял отец. В одной руке он крепко держал за шиворот Бармалея, в другой руке — топор… Бармалей смотрел на отца мягкими доверчивыми глазами.

Марина тяжело бежала по длинному коридору, которому не было конца, и кричала: «Я не буду есть этот суп! Я не буду есть этот суп!! Я не буду!!!»

Отец вел дневник, записывал каждый день блокады. И когда умерла в больнице мама. И когда он сам уже лежал, почти не двигался. Все писал. И о блокаде. И о том послевоенном времени, когда сможет «полным ртом наесться хлеба». «Полным ртом, — говорил он Марине, — понимаешь? А если не доживу…»

Вот в это Марина не верила. Она знала: отец выживет, просто обязан выжить. Иначе ей, ребенку, становилось непонятной и бессмысленной смерть Бармалея: и мамы все равно уже нет, а если и папы не будет…

— Простите, вам плохо? — Марина услышала возле себя голос бортпроводницы. — Ну что же вы плачете-то, милая?

Все застегивали ремни. Самолет делал круг над городом ее детства. Хорошо, снова подумала она, что не на поезде. Поезд сразу привез бы ее на Невский проспект. И так вот, сразу, ей снова могло не хватить воздуха.

Иногда ей хочется избавиться от воспоминаний, забыть все. А может быть…

То было лишь сон и обман…

Нет, однако… Нет.

Прощай и мечты, и покой,
И боль незакрывшихся ран
Останется вечно со мной.
Ямщик, не гони лошадей…

Избавиться от воспоминаний? Но память не обманешь, не обойдешь стороной. Это — и горько, и неизбежно, она чувствует

все это как инвалидность. Только один вот переходит улицу — и видно: на костылях. А у нее та же незаживающая рана, только глубоко внутри спрятанная, никому, кроме нее, не видная.

Сколько лет прошло с той поры?.. Но и сейчас, когда кто-то приходит в дом, первая мысль ее — накормить. Пусть не гость даже, а слесарь или электромонтер по делам заглянет на минутку, она не спрашивает, сыт ли, нет. Она сразу накрывает стол: ей кажется — голоден.

Еще она не может слушать цыганские романсы. Каждый раз ей кажется: человек, который поет романс искренне и тепло, знает о ней, о Марине, все и поет сейчас только для нее одной.

И снится ей иногда, что выстроена огромная больница для котов, и она ходит там, в белом халате… Но это так, бред…

Некоторое время она сидела в гостинице: готовила себя внутренне. Решила так — сначала пойдет на площадь Труда, в дом, где они жили все вместе, потом — к отцу, а уж потом — к брату Олегу, который жил около Балтийского вокзала.

Шла пешком. Погода стояла странная: вот-вот должно бы выйти солнце, но тучи краями цепляли его и никак не отпускали на волю. Странная погода — по настроению: для блаженного — хорошая, для опечаленного — должно быть, унылая. Чем ближе подходила она к дому, тем меньше становилось сил. Что-то тревожно таяло в груди и растекалось по слабеющему телу. Будто вела себя на казнь.

Вот она — площадь Труда. Дом номер 6. Сердце колотилось упругими толчками. Она прислонилась к двери, как бы набирая воздух про запас. И медленно, держась руками за перила, стала подниматься на третий этаж. Вот она — квартира. Марина вытерла глаза, попудрилась и… коснулась звонка. Четыре раза… И вдруг явственно поняла: сейчас откроется дверь, и на пороге будет сидеть, ждать ее умный и добрый Бармалей. И все станет опять хорошо. Ей вдруг сразу захотелось стать маленькой, сесть на колени к отцу.

Звякнула цепочка, дверь медленно открылась. На пороге стоял старичок. Незнакомый старичок. Типичный ленинградский интеллигентный старичок.

— Простите, — тихо, растерянно сказала Марина, — я тут… жила. В войну…

Старичок прищурился и не успел ничего ответить. Марина мимо него кинулась вдруг по коридору, длинному, знакомому до боли коридору, в котором когда-то в детстве устраивали они велосипедные гонки. Дернула дверь к себе в комнату — заперто. Вбежала на кухню. И знакомо все, и незнакомо. Была огромная плита — нет ее: газовые горелки. Умывальник, раковина —

другие. Но подоконник — вот он, свой! И балкон длинный, она пошла по нему, дошла до своей комнаты, хотела заглянуть в окно. Оно было занавешено.

Потом они сидели со старичком в кухне, пили чай. Он успокаивал ее, а она говорила ему про новогодние конфеты с хлебом.

Она рассказала ему все.

А потом… Потом наконец — к отцу. Она знала, что нужно привезти ему. Тут же, на площади Труда, Марина зашла в знакомую, отделанную керамикой булочную. Выбрала круглый, теплый черный хлеб и нагрузила огромную авоську. Продавщица смотрела на ее помятое, заплаканное лицо и ни о чем не спрашивала.

Уже в такси, назвав адрес, она глянула в зеркальце: «Боже мой, какая же я страшная!»

— Приехали, — шофер помог открыть дверцу. Она не пошла — побрела. Прямо, прямо, прямо.

Она не знала, где отец. Отламывала хлеб небольшими кусками и клала на все братские могилы Пискаревского кладбища.

М. Алимов, Л. Раннаметс, Ал. Левина
Сын двух матерей

Мать потеряла сына. Потеряла внезапно. Стоял жаркий июнь, была сенокосная пора. Леонтина и Эдуард Лауки работали в лугах от зари до зари, чтобы запастись на зиму сеном. Семья немалая. Двоих сыновей отправили на лето к родителям Леонтины, жившим неподалеку.

Грохот пушек и вой самолетов застал их врасплох. Война! Они надеялись, что от нее можно уйти, убежать. Посадили на телегу детей, покидали наспех пожитки и тронулись на восток, по пути рассчитывая забрать с собой стариков и оставшихся с ними двух внуков. Но на старом хуторе узнали страшную весть: бабушка с младшим внуком погибли, старший пропал.

…Судьба помиловала Леонтину с детьми. Они остались живы. Как добрались к родственникам в Тарту, так и остались там на долгие годы.

Выросли дети, родились внуки, и все они рядом с матерью. Но годы не снимала Леонтина черного платка, не могла забыть пропавшего сына. Все высчитывала: он потерялся десятилетним, вот ему уже двадцать лет, вот тридцать. Наверное, у него уже свои дети. Каким он стал? Вот и пятидесятилетие сына встретила седая мать. И все эти годы верила: жив ее Лео, жив и живет где-то вдали от нее. И казнилась, что мало делает для того, чтобы разыскать его.

А что сделаешь? Обращались и в военкомат, и в редакции газет, и в Красный Крест. И приникала мать к радиоприемнику, когда передавали бюллетень по розыску родных. Сокрушалась: сколько их, детей, потерявшихся на дорогах войны!

Росла в доме стопа писем с одинаковыми ответами: нет, неизвестно, не значится. Но по-прежнему старшая дочь Алиде по просьбе матери тратила все свободное время на письма. Такая большая страна, думала мать, успеют ли они написать всюду, ведь ей уже восемьдесят.

Рядом были другие дети, были внуки. Но матери дорог каждый ребенок, как будто он единственный. И она продолжала искать его как единственного.

Сотни писем написала Алиде. И одно из них напечатала газета «Совет Узбекистони». С ней-то и пришла в дом Умидовых соседская девушка, бывшая еще в школе красным следопытом. Принесла газету прямо старшему сыну Умидовых — Луне. В кишлаке говорили, что он родителям не родной.

Знал Луна Умидов, что он приемный, знал, но даже не надеялся когда-нибудь повстречаться с родными. Война еще мальчиком отняла у него память, и он не помнил, кто он, откуда и как оказался в этих краях. Горе старой женщины, по всему свету разыскивающей сына, тронуло его. Он написал ей.

> «Если вы и вправду моя мама, то я буду счастлив. Но если даже мы ошибаемся, то пусть утешением вам послужит моя судьба. Наверное, Вашего сына, так же как и меня, воспитали добрые люди. На свете много добрых людей. Я верю, что Вы обязательно найдете своего сына. Живите всегда с надеждой, ибо без нее нет жизни.
>
> Вкладываю в конверт фотографию, где мы с моим сыном, который сейчас служит в армии…»

Леонтина Лаук читала обратный адрес на конверте: кишлак Янгирават, Гиждуванский район, Бухарская область, Узбекская ССР. Из конверта выпала фотография: «Луна Умидов с сыном Икрамжоном» — было написано на ней.

Мать едва не выронила письмо из рук. С фотографии на нее смотрели знакомые глаза. Приславший письмо оказался похожим на ее мужа как две капли воды…

Вся огромная семья Умидовых собралась за столом. Вслух читают письмо, пришедшее из Эстонии:

> «Дорогой Леонхард, здравствуй! Из-за волнений и переживаний здоровье у нашей мамы ухудшилось. Торопись с приездом к нам. В том, что ты наш, нет никаких сомнений…
>
> Приезжай к нам насовсем, с сыном. С работой проблем не будет. Пусть тебя не беспокоит, что ты не знаешь родного языка и плохо говоришь по-русски, мы все тебе поможем. Вещи вези с собой, чтобы потом не возвращаться. Ждем тебя с нетерпением. Все твои родные».

Читали это письмо раз, и другой, и третий. Радовались за Луну, нашедшего родных, горевали, что уедет он насовсем. Обняла старшего сына Муяссар-апа и заплакала: неужели уедет из родного дома ее первенец? Двенадцать детей у Муяссар, но каждый ребенок дорог ей, будто он единственный.

…Семнадцать лет было красавице Муясар, когда вышла она замуж за Умида Турдыева. Они любили друг друга и мечтали иметь много детей. И когда по кишлаку разнеслась весть, что на железнодорожную станцию привезли эвакуированных с запада

детей-сирот, Умид и Муяссар решили взять одного из них. Старик-сосед отговаривал их: «Вы молоды, у вас будут свои». Но Умид твердо сказал: «Я сам сиротой вырос и знаю, каково жить без родительского тепла. Будут у нас свои дети, нет ли, приемного никогда не обидим».

Домой Умид вернулся с белобрысым испуганным мальчуганом.

Не смыкая глаз, просидела над приемышем всю ночь Муяссар. Кто он? Кто его родители? Живы ли они? Умиду сказали, что этот ребенок — из разбомбленного эшелона, в котором почти все погибли. И сам он контужен, почти не говорит и ничего не помнит. Они даже не смогли узнать его имени. Перебирали все известные им русские имена, спрашивали мальчугана: «Ваня? Коля? Вася?» В ответ он отрицательно качал головой. И только при имени Леня радостно закивал в ответ.

Они не могли знать, что в звуках этого имени мальчик уловил нечто похожее на свое эстонское имя — Лео. А фамилию в Узбекистане детям дают по имени отца. Отец принес названному сыну из сельсовета свидетельство о рождении, торжественно прочитал его вслух: «Луна Умидов, узбек».

— А почему Луна? — удивилась Муяссар.

Оказалось, так записала сельсоветовская девушка, знавшая по-русски несколько слов, среди них и слово «луна». «Вырастет, исправим на Леонида», — пообещал отец.

Желанным и любимым ребенком рос в семье Умидовых Луна. Он научился понимать и говорить по-узбекски. А от кишлачных мальчишек отличался только цветом волос. Да еще недетской памятью войны. Однажды родители захотели отправить сына вместе с детьми в летний лагерь труда и отдыха. Дети были в восторге от поездки. И только Луна не радовался. Плакал, когда его посадили на машину. Наверное, старый грузовичок напомнил ему другой, который вез его под огнем фашистских самолетов.

Когда Луна перешел в третий класс, у него появился братишка. Назвали его Насулло. Потом родились Шавкат, Мумина, Олия, Мойра, Раджаб, Лутфия, Мухиба, Фатхулло, Нутфулло, Нигмат. Как мечтали когда-то молодые родители — большая и дружная семья. И засверкала на груди Муяссар медаль матери-героини. Двенадцать сыновей и дочерей!

Двенадцать тополей растут у дома Турдыевых. И самый высокий — старшего сына. Его посадил отец, когда привел в дом белоголового мальчишку.

В узбекской семье после родителей в особом почете первенец. Он — надежда матери, опора отца, авторитет и пример для младших. Таким вырос и Луна Умидов. Скромным и работящим.

Как и отец — потомственный дехканин, — пошел он работать в поле. Стал трактористом. К гордости родителей, лучшим в своем колхозе имени 60-летия СССР.

Настало время Луне получать военный билет. Имя записали — Леонид. Решили уточнить и национальность. А как это сделать? Единственное свидетельство — рассказ отца.

Но, сказать по правде, это мало беспокоило его. Он считал себя узбеком. Женился на узбечке и первенца своего, первого внука в семье Турдыевых, назвал узбекским именем — Икрамжон. Вокруг двенадцати взрослых тополей, посаженных у дома Умида Турдыева, теперь шумит целая молодая поросль — это все новые внуки приходят в жизнь. Их у почтенной Муяссар-апа уже двадцать два!

После смерти отца Леонид перешел жить к матери — старший сын должен быть ей опорой в старости. И вот теперь он покинет ее, уедет в далекую Эстонию? Молодые думают, что прошедшая война далеко, в учебниках да в кино. А вот она — рядом, жестоким катком прокатилась по судьбам людским, разлучила близких по крови. И долгожданная встреча одних сулит разлуку другим.

«Не расстраивайтесь, апа, — сказал Леонид матери, — вы всегда останетесь мне родной. Несчастен тот, у кого нет матери. А тот, у кого их две, несчастным не будет. Я должен поехать проведать мою эстонскую мать, которая так долго меня искала. Прошу вас отпустить со мной и моего брата!»

Но прежде чем они собрались в Тарту, оттуда прибыли гости. Это была родная сестра Леонида — Алиде и его тетя — Сальме. Их послала в далекий Узбекистан Леонтина Лаук. Она в свои восемьдесят лет не отважилась на столь далекое путешествие.

В семье Турдыевых гостей встретили как самых близких родных.

Назад в Тарту Алиде вернулась с Леонхардом и его братом Насулло. Мать, столько лет мечтавшая о встрече с сыном, наконец увидела его. Таким, как представляла в мечтах, — очень похожим на своего мужа. И в то же время другим. Жизнь в пустыне наложила свой отпечаток на светловолосого эстонца, южное солнце прокалило его, он стал смуглым, совсем как его узбекские родственники.

Радостна была встреча матери с сыном. Радостна и грустна. Леонхард не знал эстонского языка. Мать через переводчика рассказала ему о его детстве, но он ничего не мог вспомнить об этих годах. И тогда она повезла его в Псковскую область, туда, где он жил перед началом войны у своего деда. Она привела его к старому деревенскому колодцу с журавлем. И тут словно какой-то

свет вспыхнул в памяти сына. «Я здесь был», — прошептал он. Мать не поняла его слов, сказанных по-узбекски, но поняла выражение глаз, в которых ожило воспоминание детства.

«Я смотрела на него, а видела своего мужа — Эдуарда. Как сын похож на отца! Я сказала, что у моего сына должен быть шрам на ноге от нарыва, случившегося еще в младенчестве. Шрам остался. Столько лет я ждала этой встречи, и теперь мое сердце полно благодарности к этим великодушным людям, которые не дали пропасть моему мальчику, вырастили его настоящим человеком. Благодаря им он не остался сиротой».

…Уехал из дома узбек Леонид Умидов, а вернулся эстонец Леонхард Лаук. Опять работает на уборке хлопка. Ждет из армии сына. Собирается вновь поехать в Тарту. Поехать всей семьей, во главе со своей узбекской матерью Муяссар-апа.

Только было завел мотор, как на дороге, бегущей к хлопковому полю, показалась знакомая фигура колхозного почтальона Насима Ганиева. Он пылил на своем стареньком велосипеде и размахивал над головой конвертом.

— Луна-ака, вам опять заказное письмо!

Умидов глянул на конверт, почерк незнакомый. А как прочитал первые строки письма, комок подкатился к горлу.

> «Здравствуйте, дорогой Луна Умидов — Леонхард Эдуардович Лаук. Пишет Вам Вольдемар Эдуардович Лаук. Да-да, не удивляйтесь, я тоже ношу Вашу фамилию.
>
> Живу в Булаевском районе Северо-Казахстанской области в селе Устинка. Работаю шофером в целинном совхозе «40 лет Казахстана». У меня дружная семья. Жена трудится на ферме. У нас трое детей.
>
> Недавно в совхозной библиотеке случайно попалась в руки «Комсомольская правда» от 5 декабря 1982 года. Обратил внимание на очерк «Сын двух матерей». В нем рассказывалось, что в годы войны семья узбекского колхозника Умида Турдыева усыновила эстонского мальчика, а теперь он нашел свою родную мать. В газете было написано, что у Леонхарда Лаука был младший брат Вольдемар, погибший во время бомбежки эшелона под Псковом. Так вот, Вольдемар не погиб. Я — жив.
>
> Я тоже хорошо помню, как горел наш поезд, разбомбленный фашистами. Помню, как испугался, потеряв старшего брата, с которым был в одном вагоне. Не знаю, как сложилась бы моя судьба, не подбери меня в лесу добрые люди. К сожалению, их имен я не помню.

Они вместе с другими детьми, уцелевшими в тот ужасный день, переправили меня в глубокий тыл — в Казахстан.

Воспитывался я в детском доме. Здесь сохранили чудом уцелевшее мое свидетельство о рождении. В нем написано: «Родился в 1934 году в хуторе Суки Дновского района Псковской области. Национальность — эстонец». Я буду безмерно счастлив, если окажусь тем самым Вольдемаром, которого проклятая война разлучила с Вами. Посылаю свое фото. Все, кто видел в газете Вашу фотографию с узбекской мамой Муяссар-апа Умидовой, утверждают, что мы очень похожи…

Вольдемар Лаук».

Луна — Леонхард еще и еще раз вглядывался в фотографию Вольдемара Лаука из Казахстана. Нет, сомнения в сторону! Конечно, это его младший брат. Леонхард Эдуардович расцеловал растерявшегося почтальона.

— Спасибо, Насим. Братишка у меня жив, оказывается.

На следующий день почтальон принес в дом Умидовых еще одно письмо. На сей раз из Эстонии.

Алиде писала:

«Здравствуй, дорогой брат Леонхард! Спешим сообщить тебе счастливую новость. Нашелся наш младший брат Вольдемар, которого мы все считали погибшим.

Как жаль, что наша мама так и не узнала, что жив и ее самый младший сын…

Вольдемар сообщает, что в конце мая хочет приехать в Тарту. Ждем обязательно и тебя. Приезжай со своей узбекской мамой Муяссар-апа».

Леонхарда и его брата Насулло встречал Рихард Лаук. Прямо с вокзала поехали братья на могилу матери. Это ее неиссякаемая вера, ее любовь и мужество после сорока лет разлуки вновь соединили семью.

Четырех детей растила она. Война отняла двоих. Но верила мать, что живы ее сыновья. Верила и искала. Полжизни отдала она надежде. Сердце ее не обмануло. И вот ранним утром Леонхард и Рихард встречают на вокзале московский поезд. Встречают поезд из сорок первого… И дрожат букеты в руках. Вольдемар увидел их первым. Хоть ни разу не видел даже фотографии — узнал сразу.

Сестра Алиде ждала их дома. Праздничный стол, цветы — позаботились обо всем. Сели за стол. А слов по-прежнему мало. Рихард и Алиде говорят по-эстонски, Вольдемар — по-русски (хорошо еще, Насулло свободно говорит на русском и помогает Леонхарду).

Сидят за столом родные братья и сестра. И не могут поговорить друг с другом. Трудно найти более суровый приговор войне, которая их разлучила, лишила общей памяти и слов.

А. Друзенко
Один день и вся жизнь

Почему переломный в судьбе человека день начинается так буднично? Чтобы погасить предчувствие? А может, его начало видится таким — невыразительным — уже потом, после?

Невзрачно выглядел и тот мартовский день 1978 года, когда Болеслав Чихацкий, житель самой маленькой в Хелмском воеводстве — всего одиннадцать дворов — деревни Забудново, запряг с утра лошадей и поехал покупать удобрения. В городе Чихацкий довольно быстро уладил дела, собрался было в обратную дорогу, совсем немного проехал по улице, и тут его окликнули. Он оглянулся и увидел подходившего почтальона.

— День добрый, пан Чихацкий! Вам письмо.

Он натянул поводья, лошади стали. Почтальон достал письмо, а Чихацкий смотрел на него, начиная сознавать, что сейчас, сию минуту могут потерять всякое значение и эта фурманка, и мешки с удобрениями, и этот пасмурный день, вообще все вокруг, кроме конверта, обрамленного красно-синим пунктиром.

Он торопливо, дрожащими руками вскрыл его, прочитал первые слова:

«Дорогой наш Георгий!»

Дальше читать не мог: буквы прыгали перед глазами, расплывались…

Он хорошо помнит тот страшный, оглашаемый взрывами бомб и снарядов июньский рассвет сорок первого года, ставший переломным не только в его судьбе, девятилетнего сына старшего политрука Василия Васильевича Кругленко. Накануне, в субботу вечером, отец обещал взять его на рыбалку, и он уснул в радостном ожидании воскресенья.

Разбудила его война.

— Мама, что это? — спросил он, не понимая, почему грохочет небо и содрогается земля.

— Не знаю. Спи.

— А где папа?

— На заставе.

Отец заглянул к ним в полдень, прямо из боя. Осунувшийся, рука на перевязи. Гимнастерка над правой лопаткой разорвана. Увидел его, проговорил, тяжело дыша:

— Жора, позови быстренько маму.

Сын пошел за ней, потом остановился и, обернувшись, спросил:

— Папа, а война скоро кончится?

— Скоро, сынок, скоро. Давай быстро за мамой! Жене Василий Васильевич сказал:

— Паша, я пришлю машину, собирай детей и уезжайте. Что это? — он приподнял руку. — Пустяки… Прошу тебя — сразу уезжайте.

И бросился назад, на заставу. Таким, уходящим в бой, Георгий видел отца в последний раз.

Машины не было час, другой, третий… А бой уже гремел на окраинах Владимира-Волынского, приближался к улице Ковельской, к их дому. Прасковья Кондратьевна подхватила на руки младших — Толю и Тамару. Пятилетний Вася стоял рядом, уцепившись за юбку.

Мать позвала Жору, но тот вдруг закричал:

— Никуда я не пойду! Здесь останусь. Скоро папа вернется! Он сказал, война скоро кончится…

Теперь не понять, как все вышло тогда, как она выпустила мальчика из глаз, как потеряла его.

Война окончилась не скоро, разлучив их на тридцать семь лет. Но тогда этого не знали ни уходившая с младшими на восток мать, ни сын, спрятавшийся в доме, который, можно сказать, был уже по ту сторону фронта.

Он лежал, уткнувшись в подушку, и плакал. Звал в мыслях отца, еще не понимая, что с этих горестных минут началась его — не Георгия и не Кругленко — вторая жизнь.

Пройдет несколько часов, он выйдет на улицу и отпрянет назад, увидев проносящиеся мимо мотоциклы с колясками и мотоциклистов с закатанными рукавами. Он переживет невообразимо долгие дни и особенно ночи одиночества. Встретит польскую женщину Брониславу Хайновску, которая приютит на время его, сына комиссара, а затем переправит в деревню, туда, где безопаснее. Там, в деревне, его возьмут в свою семью Варвара и Болеслав Чихацкие, спасут и укроют. Он будет помогать им по хозяйству, а еще — молчать («Никому ни слова, — повторяли они, и он понимал почему. — Ни о том, как тебя зовут, ни о том, кто твой отец»). Он станет приемным и единственным сыном Чихацких, и ему дадут имя приемного отца — Болеслав. Вместе с ними в феврале 1943 года он поедет за Буг, на польскую землю, по дороге попадет в заСаду гитлеровцев, полосовавших людей очередями, и чудом останется жив. После войны окажется в деревне Забудново, где родители получат от народной власти земельный надел. Узнает пот и соль крестьянского труда.

Похоронит отца и мать, умерших в одну неделю. Приведет в дом жену Катерину. Станет отцом восьмерых детей, дедом четырех внуков — и всю эту выпавшую на его долю еще одну жизнь будет помнить имя свое.

И — искать.

Он писал запросы, обращался в польский Красный Крест, в Советский Союз — писал письма в города, где, как он помнил, служил перед войной отец. Получал ответы с неумолимым «неизвестно». Но не терял надежды и писал снова. Пока, наконец, не наступил тот буднично начавшийся мартовский день, когда почтальон подал ему письмо, начинавшееся словами: «Дорогой наш Георгий!»

На конверте был обратный адрес: УССР, Кировоградская область, Александрийский район, село Войновка.

Время испытывало его, меняясь только в измерении. Тридцать семь лет не знать, где твои мать, отец, братья, сестра. Два месяца ждать встречи, улаживая формальности, заканчивая неотложные дела, собираясь в дорогу. Два дня ехать, пересаживаясь с поезда на поезд, а потом автобусом.

Сын Казимеж и дочь Алиция, поехавшие вместе с ним, сидели в автобусе молча, ни о чем у отца не спрашивали. А он все время смотрел в окно, надеясь узнать село, в котором давным-давно, еще пятилетним мальцом, гостил летом у бабушки. Увы, он не смог бы его узнать хотя бы потому, что там, на вокзале в Александрии, волнуясь, не спросил, в какую сторону следует ехать. И это продлило их путь (и его ожидание) еще на несколько часов.

Пока ждали автобус в обратную сторону, Чихацкий думал о письме, которое получил из Ленинграда от дяди — Кругленко Григория Васильевича. Тот просил непременно предупредить о приезде, поскольку сам тоже решил поехать в Войновку, чтобы как-то подготовить Прасковью Кондратьевну к встрече.

На этот раз, как только сели в автобус, Чихацкий попросил сказать, когда будет Войновка.

— А вам на какой остановке выходить? — спросила кондуктор. — В начале села или в центре?

Он подумал и ответил:

— В центре.

И угадал. Они вышли из автобуса и сразу узнали школу и памятник, о которых читали в письмах. Оставалось пройти совсем немного вперед, по улице Ленина.

Дядя Гриша ввел его в сени, попросил подождать и пошел в комнату. Чихацкий слышал приглушенный голос:

— Паша! Пойдем-ка на минуту со мной.

Мать вошла. Георгий рванулся к ней, обнял и, не пытаясь сдерживать слезы, проговорил:

— Прости!

…И часу не поспал первые три ночи в Войновке. В доме все затихало, он лежал, не сомкнув глаз, повторяя и повторяя в памяти рассказ матери о прожитом с того первого дня войны.

С тремя детьми она добежала до казарм и увидела грузовик, на который укладывали снаряды. Брать ее сначала не хотели: «Куда ты, здесь же снаряды!», — но она настояла. Доехала до Ковеля и попала в бой. Она сидела на дне окопа, прижав к груди Толю. Двух остальных ребят разобрали здесь же, в окопах, солдаты. Рядом с ней убило пулеметчика, и она минут десять вела огонь по приближающимся врагам. В минуту затишья ее довели до станции и вместе с детьми посадили в поезд, который шел в сторону Киева. В пути их жестоко бомбили.

Только добравшись до Войновки, она ненадолго перестала беспокоиться за тех троих, что были с ней. Мысль о четвертом уже стала нескончаемой болью. Потом и в Войновку пришли фашисты, и кто-то донес на нее. В дом приходили гестаповцы, били, угрожали расстрелом…

Они пришли снова после той ночи, когда в окно кто-то постучал и Прасковья Кондратьевна, прильнув к окну, увидела в темноте лицо мужа. Старший политрук Кругленко в первых боях на границе был ранен, потерял сознание и очутился в лагере для военнопленных. Через несколько дней организовал побег, скрывался в лесах, пока зажила рана, затем двинулся к линии фронта. По дороге не мог не заглянуть в Войновку — увидеть жену, детей.

Фашисты нагрянули на рассвете, оцепив хату с трех сторон. К четвертой, задней, стене вплотную подходило поле, в ней было окно, закрытое высокой кукурузой, и гитлеровцы его не заметили. Это спасло отца: он выпрыгнул, прополз через поле, пересек кладбище, за которым был лес.

Он снова продолжал свой боевой путь. Увидел падение Берлина. Закончил войну, участвуя в разгроме Квантунской армии, вернулся в Войновку и узнал о том, что жена чудом избежала расстрела, что один из его сыновей — Вася — умер во время оккупации, а старшего — Георгия — война занесла в бесконечный список пропавших без вести. Они разыскивали сына, писали запросы, ездили во Владимир-Волынский, где не оказалось никого, кто мог бы что-нибудь знать о Георгии. В 1973 году фронтовые раны свели отца в могилу.

…Рассказ матери сплетался с собственными воспоминаниями Георгия, сон не шел к нему. И ночь — июньская, украинская,

короткая, в сиянии звезд — казалась ему по-зимнему долгой и томительной.

Зато дни дарили радость. Быть после стольких лет разлуки с матерью, говорить с сестрой Тамарой, братом Анатолием — офицером, приехавшим в те же дни в Войновку, с дядей Гришей. Сколько же сразу нашел он родных и близких! Как подсчитали на семейном совете, тридцать восемь человек — от воспитанников яслей до заслуженных пенсионеров.

Впрочем, как близкого его встречали все жители села. Приглашали в гости, расспрашивали о жизни, рассказывали о своих делах, водили по улицам, фермам, полям, что-то дарили на память.

Тот солнечный месяц в Войновке потряс его, и, уезжая, он уже сознавал, что надежда, сбывшаяся через тридцать семь лет, принесла ему радость, но не успокоение.

…Об истории Кругленко-Чихацкого я узнал случайно. Впрочем, может, и не случайно. Дело было так: давняя моя знакомая, коллега по «Известиям», оказалась как-то по своим делам в Управлении розыска Красного Креста. Там ей и рассказали об этом эпизоде, удивительном, происшедшем, как говорится, не в кино, а в реальной жизни. В тот же день в варшавском корпункте «Известий» раздался звонок из Москвы, я поднял трубку, услышал:

— Немедленно поезжай в Хелмское воеводство. Вот адрес — деревня Забудново.

Назавтра я был у Чихацкого. Признаюсь, такого разговора в моей журналистской практике еще не было — я не знал, как называть этого человека. А он сидел за столом, бережно дотрагиваясь ладонями до писем и фотографий, и все рассказывал, рассказывал…

Временами надолго замолкал, отворачивался и прикрывал лицо дрожащей рукой. Чтобы успокоиться, брал фотографии, показывал: «Это отец». Спрашивал: «А важные у него ордена?» Я ответил, что ордена Отечественной войны двух степеней можно получить только за мужество в бою.

Еще он долго смотрел на фотографию матери, словно узнавая снова и снова.

Да, это только в кино у таких историй бывает спокойный и лучезарный исход. Это киногерой способен остаться безусловно счастливым, обретя второй дом и вторую семью. В жизни все сложнее. К каждому из двух своих домов стремится человек всем своим существом. Если бы можно было совместить их, наложить, как накладывают друг на друга изображения на детских «волшебных» картинках, получая неожиданно третью. Вот это

третье и стало бы истинным чудом — чудом без волнений и даже боли. Но здесь, как говорится, третьего не дано.

И потому я читаю тревогу на лице этого счастливого человека. Он смотрит на фотографии, принадлежавшие его родному дому, который сейчас там, на Украине, вдали, а здесь — на столе вокруг, на стенах — фотографии его детей. Да и сами они тут, рядом, в комнате или на кухне.

Он рассказывал о них в том самом порядке, в котором они появились на свет в этой небольшой польской деревушке. Старшие дочери — Данутца и Лилия — уже нянчат своих детей. Рышард и Станислав — оба отслужили в армии, работают шоферами. Казимеж окончил профессионально-техническое училище, штукатур на стройке. Алиция, та, что ездила с ним в Войновку и лучше всех знает русский язык, учится в общеобразовательном лицее. Кшиштоф ходит в третий класс. А самая младшая — Иоланта — только собирается сесть за парту.

Большая польская семья. Семья польского крестьянина. Его семья, его жизнь. Прошлая, нынешняя и будущая. Жизнь непростая, порой нелегкая, но сейчас отзывающаяся в нем чувством кровного родства. Не порвать связи и благодарности им, его вторым родителям — Варваре и Болеславу Чихацким, воспитавшим его. К ней, его второй родине, к ее земле, кормившей его. Ко всем тем и всему тому, что окружало его все эти годы и составляло его жизнь.

— Вы меня поймите, — говорил он. — Я сейчас здесь, а словно бы там, в Войновке, возле мамы, у могилы отца. Я готов полететь туда, но ведь мне тоже дорога и память о моих приемных матери и отце, о тех, кто спас меня в страшные годы, кто помог выжить. Корни мои здесь большие…

Он говорил, а его дочь ставила на стол чашки с кофе, сахарницу, а затем, чуть сдвинув в сторону письма и фотографии, — большой домашний торт, на котором шоколадной вязью было выведено: «37». В память о тридцати семи годах поисков и надежд.

Эхо войны — это не только неразорвавшиеся снаряды и мины, но и такое вот ожидание близких, пропавших без вести в военной буре. И стоит ли удивляться, казалось бы, удивительному факту: когда Георгий Кругленко гостил в родном доме в Войновке, то встретил там человека с подобной судьбой (только в географическом смысле все было как бы наоборот). Иван Макаренко не помнит своего настоящего имени и фамилии. В 1939 году еще мальчиком он, убегая от напавших на Польшу фашистов, попал на территорию Советского Союза. Столько лет прошло, а он не теряет надежды. Знает, что жил до войны в

деревне Терноватка возле Томашова Любельского, что отец Стефан умер в 1936 году, что имел двух братьев и сестру.

Газета «Курьер Польски» опубликовала фотографию Ивана Макаренко, где он снят — перед самой войной — вместе с младшим братом в мундире харцера. Под снимком — обычное в подобных случаях обращение к читателям. Пока никто не откликнулся.

Но надежду терять — нельзя.

Р. Армеев
Нежно-зеленый танк

На белом кусочке ткани величиной с ладонь вышит зелеными нитками танк. Вышит шестилетним Толей Гончаровым в детском доме под Сталинградом. «Когда вырасту большой, — говорил маленький рукодельник, — сяду в танк «Александр Невский». Как заеду фашистам в тыл! Всех врагов уничтожу!»

Эта вышивка вместе с десятками других детских рисунков, аппликаций, стихов после войны экспонировалась в США на специальной выставке творчества детей из детских домов Сталинграда. А потом, через много лет, все экспонаты вернулись на родину, стали достоянием Волгоградского краеведческого музея, который постарался собрать авторов этих работ — бывших детдомовцев. Вместе с ними и я словно шагнул в далекое военное прошлое. Вспомнить многое помогла нам хранящаяся в музее рукописная «История специального Дубовского (под Сталинградом) детского дома», написанная его директором Евгенией Эдуардовной Волошко. Вот что записано там об авторе нежно-зеленого танка Толе Гончарове:

> «В его жизни произошло большое горе. Просидев у трупа матери, убитой осколком бомбы, две ночи, он с маленькой сестренкой Раей ушел куда глаза глядят. Раю нес на руках, устал, измучился… Потом потерял ее, скитался с пленными, которых угоняли немцы. Попав в детский дом, нашел сестренку у нас. Толя очень впечатлительный, глубоко все переживает».

Мой собеседник, бывший детдомовец Олег Дмитриевич Красавин, посмотрев на вышивку, вспоминает:

— Отступая, гитлеровцы бросили около детдома подбитый танк. Сколько мы на него атак провели! Сколько раз он был бит, сколько раз сдавался, испуская клубы черного дыма (мы бросали внутрь горящие головые шашки). Облазили его, изучили сверху донизу. Но однажды вдруг пришли во двор саперы, осмотрели наш танк и срочно приказали отойти подальше: внутри машины под слоем нанесенной земли лежал боекомплект снарядов!

Прошло два года, и восьмилетний Толя Гончаров по все еще свежим впечатлениям нарисовал не танк — целое танковое сражение под Сталинградом. Этих впечатлений хватит ему очень надолго. И не ему одному.

«Первую партию детей привезли 28 апреля 1943 года, —

пишет Волошко в «Истории Дубовского детдома». — 84 процента из них были истощенными, 6 — туберкулезными, 5 — цинготными, 5 — условно здоровыми… Ночи проходили беспокойно. Услышав гул самолета, пролетавшего над городом, дети поднимали отчаянный крик и бросались к взрослым, цепляясь за их одежду, долго не могли успокоиться. Такую панику вызывал не только самолет, но и каждый стук на улице или в доме, гроза… Детей привезли маленькими стариками, на их лицах не было улыбок. Они видели все ужасы войны».

Двести маленьких сталинградцев жили в детдоме на берегу Волги. Они часто вспоминали свои безоблачные довоенные дни — кому что вспомнится. Толя Гончаров нарисовал (из того же американского альбома) украинское село. Веселые хатки в подсолнухах стоят на берегу речки. Солнышко светит вовсю, а по воде меж зеленых камышей плывет важная утка с утятами.

Толя Кульков вышил желтые пшеничные колосья, Валя Пашовкина — васильки, Нина Корбакова — вишни. Миля Самойлова написала стихи про ледоход: «Лед, лед, ледоход, ты куда плывешь?» Шура Симонов — про автопроисшествие: «У синей машины испортились шины. Шины исправил веселый шофер Павел».

«Дети часто видят своих родителей во сне, — занесла в летопись детдома Волошко. — Витя Козлов утром заговорил первым: «Я видел во сне маму, она принесла мне гостинцев».

Родителей помнили по-разному. Вот Лида Шандишова просит написать ее отцу на фронт. Мы же не знаем его адреса, отвечают ей. «А вы напишите, его найдут, — невозмутимо отвечает Лида, — у него ботинки с дырочками»… Запомнились ей отцовские сандалии.

Дети есть дети. Шестилетний Толик спрашивает одного из шефов — солдата воинской части: «Дядя, а вам на фронте дают сметану?» И, не дожидаясь ответа, говорит: «Нет, вам на фронте нельзя есть сметану, потому что, пока вы будете ее есть, фашист вас может окружить… Сметану ведь едят маленькой ложечкой, а это очень долго».

Вот еще один рисунок, сделанный под Сталинградом в 1945 году. Толя Арчаков нарисовал зеленый пароход, плывущий на всех парах вдоль зеленого берега. Гордо реет на мачте красный вымпел, а на борту буквы: «Победа». Под рисунком подпись: «Кончилась война. Бойцы возвращаются с фронта домой. Чьи-то папы едут на этом пароходе».

«Если бы сейчас радио сказало, что война кончилась, — говорил Толя Гончаров, — я бы выбежал раздетый, обежал бы все улицы и ничуть бы не замерз».

С победой, с окончанием войны дети связывали самое сокровенное желание: встретить папу-фронтовика. И такие встречи — на виду всего детдома — случались. Вот Людочка Вакс, освобождаясь из объятий отца, говорит ему:

— Ты уходил от нас молодым, а теперь, посмотри, ты седой…

Не один год переписывался детский дом с отцом двух мальчиков Миловых. Письма с фронта и на фронт шли регулярно.

«А в один из ноябрьских дней в контору вошел маленький, худенький человек в кубанке и шинели, с совсем еще молодым лицом… Это оказался тот самый папа. Странно было сопоставить его с казавшимся нам по его письмам огромным Миловым. Вся грудь его была в наградах, он взволнованно обнимал детей…»

Начиналась совсем другая, мирная жизнь. Юля Посохина, одна из детдомовских поэтесс, написала такие стихи:

Россия — матушка моя,
Как хочется обнять тебя,
К груди прижать и шепотом сказать,
Что в свете нет такой страны,
И в мире нет такой земли,
И плодородней нет полей,
И многоводней нет морей…

Но еще долго находили мальчишки в окрестных лесах и балках патроны, гранаты, взрыватели и, к ужасу воспитателей, тащили их в дом, прятали под матрацы и подушки, а латунные гильзы сдавали в утиль — зарабатывали на мороженое.

…Авторы рисунков, вышивок, стихов, бывшие сталинградские детдомовцы, — они сегодня старше своих отцов и матерей, так рано погибших. Большинство перешагнуло за сорок, войдя в мудрый возраст зрелости. Сегодня на их плечах лежат главные заботы страны. И у них самих подрастают дети.

Юлия Александровна Посохина (теперь ее фамилия Тур) живет в новом многоэтажном районе Волгограда, там, где когда-то шли упорнейшие бои. Я пришел к ней специально, чтобы посмотреть на рисунки ее дочки, пятиклассницы Иры. К сожалению, дома почти ничего не оказалось («Взяли в школу, на выставку»). Мое внимание привлекла яркая акварель на стене. «Это так, по мотивам Гогена», — прокомментировала Ира.

Что ж, все правильно: другие времена, другие темы.

…Через несколько дней после того, как этот очерк был опубликован в газете, в редакцию пришло письмо от одного из его героев — Анатолия Павловича Гончарова. «Это невероятно, в это трудно поверить, — писал он. — Благодаря газете нашлись

мои родственники. Лечу к ним в Харьков».

Конечно, у него и до этого январского дня была Родина — та, которая пишется с прописной буквы. Жил в Сталинграде, рос и учился в Дубовке, под Сталинградом, институт закончил в Новочеркасске, работал в Киргизии. «Мой адрес — Советский Союз» — эти слова сказаны про него, детдомовца Анатолия Гончарова. Только ничего не знал о земле, где появился на свет. Точнее, почти ничего. Еще в детдоме воспитательница предложила детям нарисовать те места, где они жили до войны, и Толя, движимый смутными воспоминаниями, изобразил украинские хаты на берегу реки. С тех пор и считалось: мальчишка деревенский.

Помнил, что отца звали Павлом, мать — Ульяной. И было у отца два брата — дядя Ваня и дядя Петя. Этим исчерпывались его знания о «малой» родине.

Я не поехал в Харьков на эту встречу: зачем мешать людям в радости! Поехал спустя две недели.

До позднего часа дверь в квартире Гончаровых оставалась нараспашку. Восьмидесятиквартирный дом, взбудораженный событием — «У Гончаровых племянник нашелся!», — высылал поквартирно делегации: посмотреть, перекинуться хоть парой слов. Приходили из соседних домов. В три часа ночи, когда все вроде бы утихло, приехал из-за города двоюродный брат Владимир — тоже Гончаров. Объятия, расспросы, поцелуи — все началось снова…

До этого дня их все еще разделяла война. Война, для множества людей давно перешедшая из жизни на страницы учебников, повестей, на киноэкраны, в камни памятников, в отблеск вечных огней… А тут словно разворошили затухший костер и снова высоко вскинулись языки пламени. Анатолий рассказал, как погибла в осажденном Сталинграде мать — вместе с младшим братишкой, годовалым Славкой, на руках.

Что ж, он знал, мчась сюда из Киргизии: придется трогать старые раны. Обретение родины, второе рождение проходило мучительно. За несколько дней нужно было заново переписать свою биографию, узнать, понять жизнь родителей, заглянуть глубже — в корень рода, привыкнуть к новым лицам — лицам родных.

Увидел впервые лицо отца — на фотографии (единственная сохранилась), снятой когда-то для Доски почета. Показался слишком молодым: «Думал, взрослее он — отец ведь».

Погиб Павел Гончаров в осажденном Сталинграде осенью 1942 года. Погиб, защищая в рядах народного ополчения родной завод.

О матери и вовсе узнал мало: фотоснимков нет, даже маленьких, паспортных. Родни по материнской линии — никакой. Говорят, была сирота. Веселая, певунья, небольшого роста, с легкими веснушками, приятная, милая. Работала с мужем. Когда детей стало трое — рассчиталась.

Еще немного рассказали бумаги в областном архиве загса, куда пришел Анатолий уточнить свой день рождения. До сих пор считал, что родился 16 сентября. В книге за 1936 год нашли запись: 5 июля у Гончарова Павла Ефимовича и Шулешко Ульяны Емельяновны родился сын Анатолий. В графе «специальность матери» стояло: «уборщица тракторного цеха ХТЗ». В Харькове проживает с 1931 года. Адрес: Северный поселок ХТЗ, барак № 55.

Вместе с дядьями пошли искать этот дом. Хотя Иван Ефимович и Петр Ефимович знали, что от барака ничего не осталось, Анатолию все равно не терпелось взглянуть на землю, по которой сделал он первые свои шаги.

Дорога шла мимо завода — того самого, Харьковского тракторного имени Серго Орджоникидзе.

— Видишь цех со стеклянной крышей, — показал за забор Петр Ефимович. — Это сборочный. На его месте стоял до войны цех, в котором работал твой отец.

Обойдя автобазу и стройплощадку какого-то нового корпуса, они вышли на склон огромного оврага, по дну которого тянулась железнодорожная ветка. И сразу из глубин детства возникла картина: вот он скатился по крутому склону вниз, а обратно не может подняться, оступается, съезжает, барахтается в сыпучем песке. И откуда-то сверху достает его крепкая отцовская рука.

Земля теперь была закрыта снегом, но в одном месте у камня ветер выдул его начисто. Анатолий взял рыжеватый комочек и растер в пальцах. Тонкий земляной ручеек пролился на снег…

Э. Максимова
Песок Саласпилса

Галина Степановна Лемешонок не знала, где родилась, кто ее родители, и никто никогда не мог ей этого рассказать. Собственные ее воспоминания начинались лет с четырех. Несколько стертых, едва различимых черточек: дом в Риге, где она жила с чужими (это она знала) людьми, которых называла «бабушкой» и «дедушкой». Туда приходила девочка, она шила платья кукле. Бабушка говорила, что это Наташа — Галина сестра, кроме того, есть брат Боря. Еще черточка — запах источника в Кемери. Еще: куда-то плыли на пароходе, очень тошнило (боязнь воды осталась до сих пор).

Потом, переступив через временной провал, она могла уже рассказывать о своем детстве достаточно последовательно.

После Риги жили у пани Янины, родственницы бабушки, в Брвинове, под Варшавой. Когда Галя чуть подросла, ей сказали, что Наташу тоже взяли на воспитание и увезли из Риги, что родителей у сестер нет. Галя понимала, что она другого роду-племени — не немка, как бабушка. В польской школе мальчишки звали ее «Россия».

В 1950 году рижское семейство покатило дальше, во Францию, а русскую девочку Галю репатриировали в Советский Союз. На чемодане, с которым прибыла она в детский дом, была наклейка «Лемешонок Галина, 1940 г. р.» и что-то, связанное с Витебском. А что — не помнит. При выходе из детского дома ей вручили паспорт, где год рождения был уже почему-то 1938-й, место рождения — Польша, Брвинов, отчество — Степановна.

Дальше пошла обычная нормальная жизнь. Как у других. Техникум, университет, замужество, работа юрисконсультом на Минском тракторном заводе. Она пыталась обнаружить хоть какие-нибудь следы своего прошлого, узнать, откуда попала к чужим людям. Поехала в Польшу, в Брвинов, но пани Янины уже не застала — она умерла. Где, кого могла она теперь спросить о себе? Два раза ездила в Ригу. Всматривалась в лица прохожих, бродила до изнеможения по улицам, паркам, чтобы разбудить память. Напрасно. Ничего, кроме запаха источника, платьев для куклы и чувства качки, в ней не было.

Вернувшись домой в Минск, решила: не буду больше терзать и тешить себя несбыточным… А потом все-таки написала в Красный Крест. Закончила письмо безнадежно: «Понимаю, что просьба моя — найти сестру и брата — невыполнима». И,

поколебавшись, добавила: «Почти…»

В Управлении розыска Красного Креста письмо зарегистрировали, завели карточку и послали запрос в МВД Латвии — куда ж еще!

Старший инспектор капитан Стефания Яновна Радзиня-Хорувимская занимается розыском уже лет пятнадцать.

— Главное в нашей работе, — говорит она, — уметь спрашивать. Нетрудно получить в ответ «да» или «нет». А вот как раз между ними может лежать пустяковая деталь, которая и есть ключ к разгадке.

Первое действие Стефании Яновны было машинально-привычным: из несгораемого шкафа она достала «монастырские» тетради. Этот клубок обстоятельств: война — ребенок — Витебская область — Рига — чужая семья — всегда начинали распутывать с тетрадей, которые когда-то передала милиции настоятельница рижского женского монастыря.

…Сразу после освобождения Риги в латвийской милиции было множество дел, связанных с розыском детей. Довольно большое число их обнаружили в чужих семьях. Работники милиции отметили необъяснимую закономерность: детей взяли из монастыря, почти всех — весной 1943 года. И тогда майор Прохоров, прихватив с собой для поддержки секретаря отдела Риту Новикову, отправился в монастырь.

Маргарита Ивановна Новикова, военная радистка, пережившая ленинградскую блокаду, до сих пор работает все там же — секретарем паспортного отдела. Осталась она такой же худенькой, нервно отзывчивой на чужое горе, и я отлично представляю себе, как сидела Рита перед прямой, властной старухой-настоятельницей — ей было под девяносто — и, широко открыв глаза, которые очень быстро влажнели, слушала рассказ о событиях, происходивших здесь в сорок третьем.

В семнадцати километрах от Риги находился концентрационный лагерь Саласпилс. В нем уничтожили сто тысяч человек, в том числе семь тысяч детей. Их свозили сюда в основном зимой 1943 года, когда фашисты провели карательную экспедицию в партизанских районах Белоруссии. У всех у них — и у годовалых, и у десятилетних — регулярно брали кровь. Пять ящиков с ампулами детской крови поставлял ежедневно армии лагерь.

К весне дети — те, что еще не погибли, — были так изнурены, что никакой реальной ценности для вермахта больше не представляли. Тем не менее только деньги и связи настоятельницы помогли вырвать из Саласпилса несколько сот малышей (детей до года фашисты так и не отдали — уничтожили

всех).

Их привозили грузовиками: укладывали по пятьдесят на дно каждой машины и через полчаса сгружали во дворе монастыря. Весь город знал — сосед передавал соседу. И шли рижане — латыши, русские, поляки, немцы: поскорее разобрать детей. Дома кипели на керосинках и плитках баки с водой — эти страшные маленькие скелетики надо было прежде всего вымыть и обогреть. Через два-три месяца многих поставили на ноги. Потом одни попали в приюты, другие остались в семьях.

Но чьи это дети, откуда? У большинства болтались на шее бирки: имя, фамилия, возраст. Кто знает, настоящие ли имена значились на деревянных дощечках, — в лагере это были единственные игрушки, ими менялись, кидались, как мячиком. Тем не менее всех детей аккуратно переписали в тетради. Там были указаны и адреса тех, кому их передали. Кроме тетрадей, завели еще альбом с фотографиями. Листы его заполнили безымянные дети. Так и написано под фотографиями: неизвестный мальчик № 8–3 года, неизвестная девочка № 17–4 года. Люди приносили эти снимки спустя месяц-другой, когда у малышей появились щеки, опять детским стал взгляд. На такой фотографии мать уже могла бы узнать ребенка. Но под многими подпись — умерший. Умерший неизвестный. Они погибали и погибали, несмотря на уход.

…Стефания Яновна открыла страницы с фамилиями, начинающимися на «Л», и тут же прочла: «Лемешонок Галя — 3 года, Лемешонок Борис — 6 лет, Лемешонок Наталья — 9 лет. Переданы семье Морс, затем — в детский приют в Дубултах».

Молоденький лейтенант Оля Меженека, ученица Стефании Яновны, отправила запросы. В Министерство просвещения — не значатся ли дети в списках детдомов? В городской загс — не сохранились ли актовые записи об усыновлении детей Лемешонок? В Центральный исторический республиканский архив: «Просим прислать все имеющиеся сведения о детях Лемешонок». Ну и, естественно, позвонила в адресное бюро.

Нет, не проживают в Риге ни Наталья Степановна Лемешонок, ни Борис Степанович. Одна удача — известен адрес Морс.

И вот Стефания Яновна сидит в большой комнате, заставленной старинной мебелью, и пробует выудить хоть крохи полезных сведений. Старая женщина, сидящая перед ней, мало что знает. Да, взяли они с мужем — муж уже умер — сразу троих: Галю, Наташу, Борю, потому что никак невозможно было их разлучить. Нет, не знает, куда они потом подевались из приюта. «Да» и «нет», «нет» и «да». Стефания Яновна челночно двигалась между ними, пытаясь нащупать промежуточные звенья. Задавала

нелепые вопросы: чем кормили детей, как лечили поносы? Она никак не решалась выпустить из рук эту пока единственную нить, которая вела в прошлое.

Долго продолжались вроде бы бессмысленные переговоры, пока не всплыло имя — Зоя. Зоя, которая может что-то знать. Которая даже знает, что Наташу после приюта удочерила семья профессора, что жили они на улице Кришьяна Барона, за диетическим магазином.

— Зоя — кто это?

— Тоже девочка из Саласпилса. А фамилию забыла.

— Где же она… была?

— Ее взяла учительница, жила напротив нас. Она умерла.

— Ну, а Зоя-то, Зоя?

— Встретила я ее как-то…

— Какой адрес?

— Тут где-то, недалеко.

Пошли они искать Зою: из дома в дом, из подъезда в подъезд. Спрашивали встречных, не знакома ли им женщина по имени Зоя, у нее есть сын, она работает на взморье. Представьте, привели в ее квартиру. Но дверь была заперта. Основательно — так, как запирают, когда хозяева уезжают надолго.

Конечно, утром Стефания Яновна побежала на улицу Кришьяна Барона, постояла у магазина. Зачем, и сама не ответила бы. Кого и что тут можно было найти?

И вдруг позвонила Морс. Она вспомнила: как же, знает она одну Лемешонок — Нину Георгиевну, учила внучку, давно, лет десять назад, в школе за Двиной. Стефания Яновна опешила: а это кто же? Адресное бюро сообщило: учительница, уроженка Витебской области, прежняя фамилия Лемешонок, ныне Абрамова. Матерью Гали, Наташи и Бориса она быть не могла — по возрасту. Отчество другое — значит, и не сестра. Но вот Витебская область — здесь есть зацепка.

Казалось бы, чем гадать, обратились бы в школу. Неопытный человек так бы и сделал. А Стефания Яновна научена жизнью — столько непоправимого горя можно натворить одним телефонным звонком, понапрасну такие разбередить раны. Потому что подкидывает жизнь невероятные совпадения. Пример? Пожалуйста, из истории этого же самого розыска.

В ответе, который пришел в милицию из архива, было две Натальи Лемешонок. С Галей и Борей все более или менее понятно: Саласпилс, семья Морс, приют в Дубултах. Оттуда Галю действительно передали на воспитание в семью коммерсанта, которая в августе сорок четвертого, накануне прихода советских войск, бежала из Риги.

А вот Наташа в архивных бумагах как-то раздвоилась: она одновременно была в семье Морс и в семье Иванове, в приюте и у своей матери, которая нашла ее у Иванове. Позже выяснилось, что Наташи — однофамилицы, обе — из Витебской области, одного года рождения. Вот ведь как бывает!

Однако с осени 1944 года, с момента освобождения Риги, по документам проходит единственная Наташа Лемешонок — девочка из Саласпилса, чья история вошла в материалы чрезвычайной комиссии по расследованию зверств оккупантов на территории Латвии.

В папках, на которых написано: «Хранить вечно», лежат истории болезни Наташи и Бори, акты обследования, статьи из газет того времени. В них приведен рассказ десятилетней Наташи о младшей сестре, полуторагодовалой Ане: «Она все время плакала, хотела есть, я кормила ее листьями. Когда водили в ревир, я держала Аню на руках. Она кричала, и доктор топал ногами. Когда подошла наша очередь, он вырвал у меня Аню и положил на стол…» Рассказ семилетнего Бори: «Один раз ее унесли и обратно не принесли. И она умерла».

В начале 1945 года журнал «Огонек» написал о фабрике крови в Саласпилсе и о судьбе детей Лемешонок. В Ставрополе на госпитальной койке листал как-то этот номер раненый офицер Георгий Иванович Лемешонок, с самого начала войны не имевший известий о семье. С фотографии на двенадцатой странице смотрели на него Наташа и Боря… Я забежала вперед, но уж скажу здесь: Георгий Иванович так и не встретился со своими детьми — в августе он был убит в Маньчжурии.

Однако вернемся в служебный кабинет Стефании Яновны. Она все взвесила, проиграла в уме варианты и набрала номер телефона школы. «Есть у нас такая учительница, — ответили ей, — она домой ушла». Стефании Яновне почему-то стало легче. Отодвинулась на несколько дней развязка, которая, она опасалась, будет грустной: если эта Нина Георгиевна не имеет никакого отношения к Галине Степановне, где искать новые концы?

Нина Георгиевна удивилась полученному по почте приглашению: ну какие общие дела у нее могут быть с милицией? Капитан Радзиня и лейтенант Меженека тоже нервничали. Невозможно быть спокойным, когда держишь в руках чье-то горе или радость, что именно — не знаешь, а знает та женщина, которая едет сейчас в автобусе № 37 и скоро, вот-вот, позвонит из бюро пропусков.

Они усадили Нину Георгиевну поудобнее и приступили к делу издалека.

— У нас в одном розыске появились сомнения. Вероятно, вы сможете их рассеять. Кто из ваших родственников живет в Риге?

Первой она назвала сестру Наташу — врача Наталью Георгиевну Зубкову (капитан и лейтенант обменялись взглядом: уже хорошо, но почему Георгиевна, а не Степановна?).

— Еще кто?

— Сестра Женя, брат Саша.

— А брата Бориса у вас нет?

— Есть, есть! Только он не в Риге, он шахцер.

Настало время для главного вопроса:

— У вас были еще сестры?

Глаза у Нины Георгиевны наполнились слезами, и капитан с лейтенантом еще до ее ответа поняли: нашли, всех нашли, даже тех, кого не искали!

— Были… Сестра Анечка умерла, лежит в Саласпилсе. А Галя исчезла совсем.

Стефания Яновна сказала, как могла ровно и тихо:

— Галя-то жива-здорова. Рядышком, в Минске. А разве вы не попали в Саласпилс?

Оказалось, что двенадцатилетняя Нина пробыла в Саласпилсе несколько дней и была отправлена с матерью в Майданек. После полутора лет Майданека настал черед Равенсбрюка.

Когда мы сидели в уютной квартире Абрамовых, сосны заглядывали в окна, и голоса играющих внизу детей заполняли минуты молчания, и Нина Георгиевна рассказывала обыкновенными словами то, что обыкновенными словами передать нельзя, а других, специальных слов для этого в языке не существует, я не столько ужасалась изуверству, сколько поражалась человечности, которую сохранили в этом аду люди. Память об узницах Майданека — не о двух-трех, не о десяти — обо всех, с кем свел Нину лагерь уничтожения, до сих пор греет ей душу. Польки не трогали хлеба из посылок — ждали, пока придет Нина и первая отрежет кусок. «Цурка» — «дочка», — звали они ее. После она мечтала отыскать двоих: сестру Галю и польскую девочку Крысю, с которой смотрела на солнце в Майданеке.

К тому времени как Нина с матерью вернулись в свою Освею, тетка отыскала в Риге всех детей Лемешонок, кроме Гали. И мама Анна Ивановна поехала в Ригу, в дом к Наташе.

Да, у Наташи был дом, семья — приемные родители, которые забрали ее весной сорок пятого года прямо из больницы — прозрачную девочку с туберкулезом легких. Игорь Янович Аболиньш, историк по образованию, возглавлял Домский музей, мама заведовала библиотекой.

И вот приехала настоящая мама. Аболиньши сказали ей: «Наташа всегда будет нашей дочкой, где бы ни жила». На семейном совете решили, что лучше ей учиться в Риге: в Освее ни кола, ни двора, одни землянки. С тех пор у Наташи две мамы.

Когда случилось невероятное — нашлась Галя, все забеспокоились: как Анна Ивановна выдержит, при ее-то сердце! Ведь до сих пор плачет по Гале, казнит себя неизвестно за что, совсем недавно вдруг взяла и увеличила ее детскую фотографию.

Подготовить маму поручили Наташе. Представьте, Анна Ивановна восприняла чудо как закономерность: Галя должна была найтись, потому что она, Анна Ивановна, никогда ни во что другое верить себе не позволяла. Но с собой на вокзал дети ее все же не взяли.

Пока поезд останавливался, они гадали, кто из трех женщин, выглядывающих с площадки вагона, Галя. Шумели, смеялись. «Чтобы не рыдать», — говорит Нина Георгиевна.

Ночью она проснулась и увидела: мама сидит на кровати. Сидит, смотрит на спящую Галю. Наверное, даже матери трудно было за несколько часов привыкнуть к мысли, что эта женщина — Галочка, которая в лагерном бараке той страшной ночью билась под рукой Анны Ивановны, а гитлеровец оттаскивал ее, мертво уцепившуюся за мамину юбку как за последнюю надежду.

…На поле, где был Саласпилсский лагерь, теперь мемориальный ансамбль — четыре огромные скульптурные группы. Одна из них называется «Мать» — гранитная женщина, заслонившая собой детей. Слева от нее бетонной плитой обозначено место, где находился детский барак. На плите высечены домики и человечки — таких рисовали на песке саласпилсские дети.

Наталья Георгиевна взяла с собой розу. Едва успела положить ее к подножию плиты, как подошла экскурсия. Мы отступили в сторону, но все же до нас донеслось: «…тысячи детей, в том числе семеро детей Лемешонок. Аня после вивисекции умерла». Наталья Георгиевна быстро пошла прочь, и мы с Ниной Георгиевной с трудом догнали ее у выхода.

Обратно сквозь лес шли молча. Каждый думал про свое. Я — о справедливости истории. Ни зло, ни добро не ушли в песок Саласпилса, не поросли вереском. У машины Наташа взяла меня за руку: «Поедем сейчас к нам на дачу — это как раз около того детского приюта в Дубултах. Познакомитесь с моим Ростиком. Ему тринадцать лет, он хороший человек». Да, Ростик — вот что внушает оптимизм даже в таких мрачных местах.

Машина рванула вперед. Саласпилс остался за нашей спиной.

В. Песков
Камень с Оки

Был день, когда листья уже облетели, а снег еще не упал. Я шел в лесу над Окой. Кроме писка синиц и шороха под ногами, никаких звуков в прозрачных дубняках и осинниках не было. Камень, брошенный в бочажок, не булькнул, а покатился. Замерзшая вода отозвалась гулким замирающим звуком: тек-тек-тек… Ноги ледок еще не держал. Я надавил каблуком, и под ногой расплылось водяное пятно. От комка мерзлой земли, от сухой палки, от железки, найденной в кармане, звуки на молодом льду были разного тона, но одинаково радостные. Я присел на ломкую желтую траву и, как мальчишка, кидал в бочажок все, чему молодой лед мог отозваться.

Тут у замершей воды я услышал глухой монотонный звук, лесу несвойственный. Где-то недалеко били по железу железом, и я подумал, что на лесной дороге кто-нибудь чинит машину или повозку. Я пошел на звук прямиком. Но лес неожиданно кончился, засветилась опушка, показалась деревня дворов в пятнадцать. Я пошел деревенькой с любопытством, которое пробуждается при виде всякого нового места.

Возле одной избы, прямо под окнами, стояла глыба белого камня, а на крылечке сидел человек в свитере и треухе. Я поравнялся с крыльцом, когда человек, затушив сапогом курево, подошел к камню с молотком и зубилом, и я теперь уже рядом услышал звуки, на которые вышел из леса.

Человек тесал камень. Все, что рельефно выделялось на белой глыбе, было трудом многих дней, было сделано аккуратно, с хорошим чувством меры и вкуса. Я подумал, что тут, в деревенской тиши, поселился приезжий скульптор, — рыжая бороденка мастера говорила в пользу такого предположения. Оказалось, что скульптор работает истопником-слесарем в доме отдыха по соседству, что в деревеньке он родился и вырос; искусству обращения с камнем нигде не учился, но имеет интерес к делу, пробовал тесать кое-что, благо камня в здешних местах на Оке много и камень податливый.

Сейчас мастер (назвался он Федором Куржуковым) взялся за дело, которое, судя по всему, захватило его и, пожалуй, даже и лихорадило. Бороденка отросла явно не украшения ради, воспаленные глаза на исхудавшем лице, размятый сапогами щебень около глыбы говорили о том, что мастер стучит по камню уже давно и отдыха себе не дает.

Слесарь Федор Куржуков делал памятник людям, погибшим тут, на Оке, в ноябре 1941 года.

— Получилась такая история, хотели в Москве памятник заказать, ну, как это называется?.. Да, да, стелу. А я возьми да скажи: «Давайте поставим камень с Оки. Ну, просто вырубим и привезем большую белую глыбу, а все, что полагается сделать на камне, я сделаю». Ну вот и рублю как умею.

На крыльце лежал инструмент, всякого рода молотки и зубильца, а рядом с этим грубоватым железом лежал чеканный орден Отечественной войны. Ребристые золотые лучи вокруг звезды ярко блестели — видно, мастер часто держал орден побеленными пальцами.

— Ваша награда?

— Нет, у соседа взял.

Орден войны в точности был повторен на камне, но только большим размером. Мастер придирчиво отходил от глыбы на два-три шага и, вернувшись, высекал вокруг ордена белые брызги. На лицевой стороне глыбы кроме ордена были строчки: «Тут был остановлен враг. Октябрь — ноябрь. 1941 год».

Мы присели на крыльце покурить. Федор дотянулся, сорвал пригоршню рябиновых ягод и стал задумчиво по одной бросать в рот. Часть ягод была расклевана птицами. Федор кинул их у крыльца. На белом щебне рябина краснела, как капельки крови.

— Много тут полегло?

— Нет, тут немного. Под нашим селом четверо: два минометчика, политрук и мальчонка.

Минометчики Кудрявцев и Чашкин, политрук Тарасов. А четвертый наш — Володя Кузьмин. Мать Володи жива. Если хотите, можно поговорить. Вон через поле домишко…

Прасковьи Ивановны Кузьминой дома не было. Соседка указала мне избу, предположив, что Прасковья Ивановна нянчит там девочку.

В маленькой комнате на полу, обложившись игрушками, сидели два человека. Одному было года четыре, другому — лет шестьдесят. Прасковья Ивановна нянчила девочку, мать и отец которой работали в доме отдыха.

— Мы как родные… Правда ведь, Оля?

Девочка, понимая, о чем идет речь, головенкой прижалась к старухе и, не спуская глаз с гостя, кусала ухо резиновой обезьянки.

— Десять рублей мне дают. А я вот думаю: если б и не давали, все равно ходила бы. Мы как родные. Правда ведь, Оля? — Старая женщина поднесла к глазам воротник кофты. — Ну, что сказать про Володю? Погиб мальчишкой. Совсем

мальчишкой, на первом году войны. Немец тогда к Оке подошел…

Пока Оля ест кашу, а потом, осмелев, напоказ гостю носит игрушки, я узнаю маленький эпизод войны, потерю одной человеческой жизни. Можно эту историю рассказать возвышенным словом. Можно рассказать просто, как рассказала мать.

* * *

Мальчишка был как мальчишка. Бегал к солдатам в окопы, носил постовым кипяток.

«Река разделяла немцев и наших. Стрельбы большой не было, но наши ждали, что немцы вот-вот полезут. У меня наши сковородку брали картошку жарить. И, признаюсь в грехе, послала в тот день Володю за сковородкой: «Возьми, говорю, и сразу домой, в подвал». А вечером его принесли на руках». Матери рассказали потом: молоденький лейтенант, собираясь в разведку, долго не мог найти лодку для переправы. Мальчишка знал, где были спрятаны лодки, знал он и все тропки по-над рекой, и потому, наверное, лейтенант согласился взять смышленого пацана на тот берег. Переправлялись в сумерки, но лодку немцы заметили. Каким-то образом пули миновали солдат, но свалили в лодку мальчишку. «Лейтенант плакал, целовал мои руки, говорил: «Лучше меня бы, мать…» Хоронили Володю по-военному. Сколько красноармейцев было, все кверху подняли ружья и разом стрельнули. А командир сказал: «Мать, твой сын вырос бы хорошим человеком. Но что можно сделать — война, мать! Мы, — говорит, — тоже не все останемся. Вон ведь пока где стоим, на Оке! И неизвестно, где кто поляжет.

А твоему сыну будет, мать, памятник, потому что сын твой герой. Дай бог, чтобы все мои красноармейцы были такими же смелыми». Так и сказал: «Дай бог…» Я понимала: для материнского утешения говорит. Сначала я голосила, а потом стала как камень. Когда над могилой стрельнули, на той стороне, помню, тоже стрельба поднялась…»

* * *

Оказалось, что памятник из белого камня Прасковья Ивановна еще не видела.

— Слыхала, да ноги болят. Боялась, что не дойду.

Я взялся ее проводить. Мы прошли через поле, прошли дорожкой около леса. У камня Прасковья Ивановна перекрестилась, попросила прочесть слова, потрогала камень рукой. Потом мы молча пошли дорожкой на косогор, откуда виднелась Ока. Вид реки взволновал старую женщину больше, чем памятник. Она оперлась на палку и сказала, для себя, пожалуй, сказала:

— Вон и мысок, куда они плыли. Все осталось, как было…

Неуместным было что-нибудь спрашивать и даже просто говорить в эту минуту. Я отошел и долго наблюдал за неподвижно стоявшим человеком. Спокойной и светлой текла Ока. Бесконечной была синяя даль. И над этой ширью земли одинокая женщина показалась мне матерью всех, кого мы обязаны не забыть.

* * *

Было это в воскресный день ноября, когда леса над Окой ожидали первого снега. Из деревни Бёхово я шел уже по знакомым дорожкам и опять постоял у замерзшего бочага. В кармане у меня было три белых камушка. Я пустил их по льду и снова подивился четким, замирающим звукам: тек-тек-тек… Редкая тишина стояла в лесу, и только сверху, так же как утром, доносились глухие удары. Это бёховский слесарь Куржуков Федор спешил до снега закончить свою работу.

Эта память — наша совесть

А может, нам, о них забыть?
Опять война,
Опять блокада…
Я слышу иногда:
«Не надо,
Не надо раны бередить.
Ведь это правда, что устали
Мы от рассказов о войне
И о блокаде пролистали
Стихов достаточно вполне».

И может показаться:
Правы
И убедительны слова.
Но даже если это правда,
Такая правда —
Не права!

Чтоб снова
На земной планете
Не повторилось той зимы,
Нам нужно,
Чтобы наши дети
Об этом помнили,
Как мы!

Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память — наша совесть.
Она
Как сила нам нужна…

Ю. Воронов

Е. Линд
Современники

Есть поговорка: «На войне детей не бывает». Что ж, верно, ибо противоестественно сближение самих этих понятий. Те, что попали в войну, должны были расстаться с детством — в обычном, мирном смысле этого слова. Ну а те, что выросли в послевоенном мире, — надо ли учить их памяти о войне, нарушать безмятежность их юных лет? Я убежден: необходимо. Память — наша история. Каким будет взгляд на нее ребенка, таким будет наш завтрашний день. Стерев прошлое, мы стираем будущее. Конечно, история войны писалась кровью, и, чем дальше уходит время, тем спокойнее будут воспринимать люди, в том числе дети, жесточайшие ее факты. Но никогда не должны они перестать волноваться, узнавая о них.

Вот что пишет восьмиклассница нашей школы Ира Астерман: «По радио часто передают военную хронику, и каждый пережитый тогда миг наши отцы и деды переживают снова, как самое дорогое воспоминание. Человеку труднее всего нести ответственность за себя, но в самые тяжелые дни общая беда объединяет людей в одну силу.

Каждый человек хранит в памяти какой-то момент своей жизни, который кажется ему вторым рождением, переломом во всей дальнейшей судьбе. С этими воспоминаниями всегда связаны открытия в самом себе и других людях. Война живет в душе переживших ее такими воспоминаниями, и они никогда не смогут забыть ее, как не смогут забыть, что родились когда-то.

По-моему, помнить историю своего народа нужно не только потому, что память сохраняет человеческое достоинство, но и чтобы видеть смысл своей жизни, чтобы не быть одиноким и беспомощным. Поэтому войну будут помнить, писать о ней, как стремились сохранить в летописях наши предки все детали древней истории, — это необходимо человеку, чтобы оправдать свое существование на земле. Память истории — это самоутверждение человека, поэтому и через сто лет школьники с гордостью и волнением будут писать о своем прадеде, который был фронтовиком.

Мой дедушка в блокаду работал начальником энергомеханического отдела одного завода. При входе фашистов в город он должен был взорвать завод (и, наверное, взорвался бы вместе с ним) — таково было партийное задание. Врага не пустили в город — и завод, и дедушка остались живы. Но от

одной только мысли, что дедушке было поручено такое, я чувствую свою причастность к истории.

Великая Отечественная война не должна быть забыта не только для того, чтобы не случилось более страшного, но и чтобы люди помнили, что человек способен на многое, и никогда не теряли бы веру в себя»…

Много лет назад в ленинградской школе № 235 был создан теперь уже ставший народным музей «А музы не молчали».

И все эти годы мы убеждаемся: какое это могучее средство становления характеров — память!

Когда-то поэт Михаил Дудин сказал ребятам: «Ваш музей — мостик от вас к нам». Вот он, этот мостик: сегодняшние экскурсоводы по музею и — снова проживающие свое детство открыватели первой нашей выставки, посвященной великому немецкому певцу Эрнсту Бушу и композитору Виктору Томилину, погибшему в атаке на Невской Дубровке. Друг Томилина, балтийский поэт, автор текстов его песен Всеволод Азаров и — нарядные малыши, вручающие ему гвоздики. Когда их классный руководитель Антонина Михайловна Петрова оформляла с тогдашними первоклашками экспозицию «Рисуют дети блокады» (так бережно отснятую на пленку московскими школьниками из киноклуба «Аистята»), ее дочь Марина ходила в детский сад. Потом она стала председателем совета музея. Потом — студенткой педагогического института.

Нет, не мостик увидели мы — прочный мост.

В День Победы к нам пришли более ста фронтовых артистов. Тех, что танцевали на опухших от голода ногах, пели спекшимися от мороза губами на ледяном ветру, под пулями и бомбами, сочиняли бессмертную музыку в холодном, голодном городе.

Анастасии Шрамковой уже нет, но пришел ее сын Андрей. 22 июня 1941 года она читала перед комиссией, набиравшей артистов во фронтовые бригады, свежую газетную статью. Читала так, что ее послали на фронт. А спустя некоторое время из воинских частей стали приходить заявки: «Пришлите Настеньку». И еще в частях считали (не напрасно считали): если приехала Настенька, значит, завтра в бой. Андрей принес в музей статьи, рассказы, с которыми выступала его мама, все ее награды. «Пусть это будет здесь», — сказал он.

Пришла в школу Валентина Павловна Сулейкина (Уварова), танцевавшая в юношеском ансамбле Обранта. В музее вместе с концертными костюмами этих ребят лежат их пионерские галстуки, протокол их собрания с решением: «Никогда больше не говорить о еде». Валя была тяжело ранена, первой получила орден Красной Звезды. Она же первой, осмотрев много лет назад

музей, решилась расстаться с дорогими реликвиями, в том числе с такой, как справка о ранении, выданная, как там сказано, «танцовщице политотдела 55-й армии В. П. Сулейкиной».

В Ленинграде пятнадцать тысяч мальчиков и девочек получили медаль «За оборону Ленинграда». И среди награжденных ребят немало тех, кто песней, словом поднимали дух бойцов. Кто убедился в справедливости слов Суворова: «Музыка удваивает, утраивает армию. С распущенными знаменами и громогласной музыкой я взял Измаил». Вот, кстати, откуда наша эмблема — скрипка на автомате.

Группа ребят меньше чем за полгода составила жизнеописание двухсот десяти композиторов и музыковедов. Сколько же они исходили жилищных контор, адресных столов, архивов, сколько написали запросов и писем! Родственников погибших музыкантов искали по фантастическим приметам: конфигурации окна, нарисованному по памяти рисунку плиток, которыми был выложен парадный вход. Об одном композиторе было известно лишь то, что его родственница дружила с работницей галантерейного магазина. И вот десятки магазинов, бесконечное число раз повторенный вопрос и, наконец, удача: выяснили, что в помещении магазина теперь булочная. Та, которую искали, давно умерла. Но нашли ее друзей…

Их было двести десять. Многие погибли в осажденном городе, многие стали ныне известными композиторами. Но едва ли не самыми впечатляющими оказались биографии — впрочем, можно ли назвать так свидетельства десяти-, двенадцатилетней жизни Андрея Крюкова, Геры Окунева. Гера написал тогда цикл песен, посвященных Ленинграду. Мальчики давали концерты в госпиталях, на корабельных палубах, выступали по радио.

Дети, сами добывшие из толщи истории родного города такую правду, не могут вырасти равнодушными людьми.

Расскажу еще об одном розыске, столь же интересном, сколь романтичном.

В первые месяцы войны две девочки, десятилетние Лида Положенская и Тамара Немыгина, занимавшиеся в балетном кружке, стали шефами боевого корабля «Строгий». Он стоял на Неве. Каждое воскресенье в одно и то же время, не обращая внимания на бомбежку, обстрелы, они совершали долгий путь на другой берег реки. Сигнальщик на мостике, едва завидев «балерин», приветствовал их флажками, матросы выбегали навстречу. Раздавалась команда: «Овчаренко, накормить шефов!» Потом в кают-компании шел концерт.

Девочки тщательно готовились к воскресным встречам и всегда очень волновались. Но однажды, придя на знакомое место,

не застали «Строгого». Он ушел на боевое задание.

Потом Л. Положенская писала нам: «Спустя много лет я, уже будучи солисткой Краснознаменного ансамбля Советской Армии, отплывала на теплоходе на гастроли в Англию. В гавани мы проходили мимо стоянки старых кораблей. Что-то толкнуло меня в сердце — я увидела ржавый безлюдный корабль, на борту которого было написано: «Строгий». Мне показалось, это был тот самый — из моего блокадного детства».

Наши ребята нашли экипаж и знают судьбу корабля.

Осенью 1943 года состоялась премьера спектакля Театра Балтийского флота «У стен Ленинграда». Смотрели этот спектакль и обе девочки, и экипаж «Строгого». Вот мы и хотим к сорокалетию полного снятия блокады собрать всех вместе — тогдашних артистов в погонах, экипаж «Строгого» и бывших их шефов — маленьких балерин. Это постараются сделать наши «назадсмотрящие».

Слово придумано не нами. Так назвал ребят из музея писатель Лев Успенский. «На каждом корабле, — объяснил он, — есть впередсмотрящий, а вы — назадсмотрящие. Назад в историю».

Как не понять Любу Герашко, которая сказала: «Уходя из школы, обычно уносишь с собой благодарную память об учителях. Мы же унесли еще большее, то, что останется с нами навечно, — наш живой музей. Когда звучит Седьмая симфония Шостаковича, я смею думать, что мы слышим в ней то же, что слышали наши отцы. Наш музей ведет к познанию подвига народа. Возможно, это самое дорогое, что мы забрали с собой в жизнь».

Не зря говорят: дни жизни не те, что прошли, а те, что запомнились. У нас сегодня стерлись все возрастные грани, и кажется, будто мы в одной землянке, за одним столом, на котором стоят котелки и лежат тетрадные листочки вместо десертных тарелок. И все мы современники.

Для наших ребят — по долгу сверстников — самым главным занятием становятся теперь поиски по теме «Дети и война». Ансамбли детских домов, школ, даже концерты малышей из детских домов — все им интересно. Они ищут мальчиков и девочек, защищавших Ленинград «песенным оружием».

Молодые пожарные охраняли Таврический дворец, Эрмитаж, они помогли сохранить Смольный. У полка был агитвзвод, который выступал с концертами в свободное от пожаров время.

Они собираются отыскать и участников ансамбля песни и пляски лесорубов. Юные ленинградцы в двух-трех километрах от фашистов рубили лес, таскали тяжеленные бревна к лесным дорогам. Гибли от вражеских снарядов, работали от темна до

темна, по пояс в снегу, под ледяным дождем. Городу нужно было топливо, а лесорубам нужна была песня. И вот был создан ансамбль. Он обслуживал лесопункты, добирался туда труднейшими путями, но добирался всегда. Об этом тоже мы когда-нибудь узнаем все подробности. Узнаем и расскажем.

Л. Очаковская
«Не хочу, чтоб была война»

Каждый год 9 мая у нас в семье первый тост за победу, второй — в память лейтенанта Кузьмина. Про этот обычай знали дети, теперь — внук.

Их было двое в блиндаже в сорок третьем на Калининском фронте. Одному — двадцать пять лет, второму — девятнадцать. Начался обстрел — и оба поднялись, чтобы выйти к батарее. Первый на выходе из блиндажа был убит, второй — ранен. Первым был лейтенант Кузьмин, вторым — мой будущий муж.

Они воевали, не зная своей судьбы ни на день вперед. Лейтенанты, капитаны, рядовые… Солдаты тяжелой войны. Великой Отечественной. Им и не грезилось, что тридцать, сорок лет спустя их будут разыскивать дети, расспрашивать, находить их квартиры, их землянки, их могилы.

Дети многих наших школ заняты этим. Ищут. И находят. Вот и ученики 48-й московской школы в Теплом Стане отыскали, откопали блиндаж в микрорайоне Тропарево. Здесь в сорок первом году располагались части 158-й стрелковой дивизии, сформированной из рабочих и студенческих истребительных батальонов. Потом разузнали, где формировалась дивизия: оказалось, в Институте физических проблем АН СССР, там был ее штаб, а теперь установлена мемориальная доска. Потом нашли командира дивизии, знаменитого генерала Ивана Семеновича Безуглого, который в 1945 году стал комендантом Порт-Артура. А потом создали у себя в школе музей, выяснили боевой путь дивизии. Так постепенно разыскали и одного из двух лейтенантов, обстрелянных минами в сорок третьем на Калининском фронте, на выходе из блиндажа. Ребята ни на один день не прекращают поисков, переписываются с живыми, знают, где похоронены тысячи солдат 158-й стрелковой, помогают устраивать встречи ветеранов. Что движет ребятами?

Они ищут свое прошлое, свои корни, эти наши сегодняшние дети. Акселераты, как мы их немного насмешливо, немного испуганно называем. Дети, не слышавшие, к великому нашему счастью, воя бомб, полагающие, что сирена — это мифическая красавица, завлекающая путешественников своим необыкновенным голосом, отказывающиеся от хлеба и пирогов, чтобы не растолстеть. Обычные дети.

Самое страшное, что могло бы случиться с ними, — это поражение незнанием и бесчувствием. Самое страшное, потому

что без вчера нет ни сегодня, ни завтра.

Этого позора незнания и бесчувствия мы избежали. Достаточно вспомнить о широчайшем детском движении красных следопытов. Они раскрыли много имен неизвестных героев, их поискам и находкам обязаны многие семьи, которые смогли, наконец, прийти к могилам, где похоронены погибшие мужья, отцы, сыновья, дочери.

Московские школьники на детской любительской киностудии «Аистята» создали короткий документальный фильм, который назвали «На войне маленьких не бывает». Он о детях и войне.

Какое это, по правде говоря, противоестественное сочетание слов. И тем не менее никуда от этого не денешься — на войне живут и страдают, растут и погибают дети. И после войны погибают — раненные войной. «Аистята» это очень глубоко поняли и очень просто показали. Так просто и так страшно.

Но сначала было вот что. Школа, в которой учатся многие юные кинолюбители, носит имя Зои Космодемьянской. Она — герой для них с первого класса, близкий человек.

Автор предыдущего очерка о ленинградском школьном музее Евгений Алексеевич Линд — бывший блокадный мальчик. Этот необыкновенный музей создали под его руководством дети…

Маленький стенд в уголке музея.

Клочки бумаги, простые карандаши — все показалось «Аистятам» серо-белым, выцветшим, таким же легким, как 125 граммов блокадного хлеба. И таким же тяжелым. Забыв обо всем, они начали снимать. Московские дети о детях блокады.

Фильм идет в полной тишине, без музыки, только голос диктора и ровный стук метронома — живой звук блокадного радио. И красок нет, как их не было у осиротевших ленинградских детей, которых город, спасая от верной гибели, собирал в детские сады, детские дома. Рисунки этих детей, собранные и донесенные до нас уже теперь безвестными воспитательницами, — содержание этого коротенького фильма. Мы видим рисунки детей и слышим подписи к ним. На оберточной бумаге трехлетний Шурик Игнатьев нарисовал загогулины, а в середине листочка — маленький овал. Его спросили, что это такое, он ответил: «Это война, вот и все. А посередине булка. Больше не знаю». Воспитательница записала его слова на уголке рисунка и дату поставила: 23 мая 1942 г.

До конца войны оставалось еще три года, до конца блокады — почти два. До наших дней — сорок лет.

Стучит метроном. Встает в рисунках Ленинград. Детский голос диктора читает подписи к рисункам. Вот перекошенные дома, они разваливаются на куски, прямо в них, и в идущую по

улице машину, и просто в землю летят и попадают снаряды — так нарисовал семилетний Боря Елисеев артобстрел города. А Саша, тоже семи лет, сочинил о том же стишок:

Дяденька, миленький,
Дай нам отбой!
Детки спать хотят,
А фашисты наши дома рушат.

Радостный рисунок семилетнего Эди называется «Наши освободили деревню». Он его так объяснил: «Они много деревень освободили, только у меня бумаги не хватит, чтобы все деревни нарисовать. Наш танк вошел в деревню с походной кухней, потому что фашисты мучили людей голодом. Фашисты как увидели походную кухню, сразу хотели взять ее в плен, а наши бойцы фашистов раз — и застрелили». Ленинград на детских рисунках везде почти — как отряд воинов в остроконечных богатырских шлемах. Так его и нарисовал Вова Новиков, и подпись к рисунку прозвучала как глубокий вздох облегчения: «Наши палят. Одиннадцать тысяч бомб бросили, блокаду прорва ли, теперь все хорошо».

На войне маленьких не бывает…

Этот короткометражный строго документальный фильм получил первые премии на фестивале детских любительских фильмов «Десятая муза» во Франции, в ГДР, на фестивале детских любительских фильмов социалистических стран к 35-й годовщине победы над фашистской Германией и на фестивале в Австрии. Смотреть его без слез и гордости невозможно. Слезы — понятны. И гордость — тоже понятна: память о войне, о ее немыслимом ужасе и беспредельной стойкости людей, эта память жива.

Прошло сорок лет, за это время выросли и стали родителями, а то и бабушками-дедушками дети и подростки сорок второго. Те, которым довелось вырасти и выжить. А кому не довелось, тех находят наши дети.

Так, в рабочем поселке Шатки в Горьковской области они нашли Таню Савичеву. Дневник Тани, одиннадцатилетней ленинградской девочки, был случайно обнаружен в Ленинграде в пустой, полностью вымершей квартире. Он хранится в музее Пискаревского кладбища и известен всему миру. Вы помните:

«Женя умерла 28 декабря в 12.00 час. утра 1941 г.
Бабушка умерла 25 янв. 3 ч. дня 1942 г.
Лека умер 17 марта в 5 час. утра 1942
Дядя Вася умер 13 апр. 2 ч. ночь 1942

Дядя Леша 10 мая в 4 ч. дня 1942
Савичевы умерли. Умерли все».

Тогда еще не все. Таню вывезли вместе с другими детьми из Ленинграда в 1942 году. Тех, кого удалось живыми перевезти через Ладогу, кто смог добраться до Кобоны, деревни, о которой никто до войны, до блокады и слыхом не слыхал и которая в силу своего географического положения стала концом и началом «дороги жизни», тех грузили в санитарные эшелоны и везли в глубь страны, в детские дома, детские санатории, детские больницы. И в Горьковскую область везли, в деревню Красный Яр, в детский дом. Сюда в числе других привезли и Таню.

Здесь детей кормили, лечили, учили. Здесь их возвращали к жизни. Часто это удавалось. Иногда блокада оказывалась сильнее. И тогда их хоронили. Таня умерла 1 июля 1944 года.

Дело, которое начали ребята, стало теперь гордостью и славой всего района. Шатковские школьники, обычные пионеры, начали в 1970 году, как и все пионеры, изучать свой край. Начали искать следы истории. Сперва они нашли двух пожилых женщин, медсестру Нину Михайловну Середкину и больничную няню Анастасию Григорьевну Журкину. Нашли, чтобы расспросить о военном прошлом их такого тихого, такого тылового поселка. И из прошлого вышли к ним тени по-стариковски серьезных ленинградских детей, тень Тани Савичевой.

Теперь на ее могиле установлен памятник. Деньги на него своим трудом заработали крестьянские ребята всех школ Шатковского района. Три года назад певица-ленинградка Эдита Пьеха приехала в Шатки с концертом. Поклонилась Таниной могиле, поплакала и весь сбор с концерта отдала на памятник ленинградским детям в Шатках. Ребята продолжают копить деньги на этот мемориал. Они не одиноки. В горьковское областное отделение госбанка, в сберкассу рабочего поселка Шатки на счет РК ВЛКСМ № 700202 поступают средства со всех концов страны. Много шлют ленинградцы. Переводя деньги, указывают для точности: «На памятник Тане Савичевой». Это человеческая благодарная память, это совесть людская противостоит забвению. И начало этому положили дети. Ученики Шатковской средней школы имени Тани Савичевой. Хорошей, очень живой и работящей школы.

Нет, она живет не прошлым: который год пионерской дружине этой школы присуждают звание правофланговой. Спортсмены на районных соревнованиях по легкой атлетике берут призовые места. Уже не первый год учится школа без второгодников. В совхозе «Шатковский» за ребятами постоянно

закреплено свекольное поле — тридцать гектаров, они его обрабатывают и урожаи хорошие снимают. Младшие работают в школьном лесничестве, осенью все помогают совхозу убирать картошку. За летние работы совхоз наградил шестьдесят школьников поездкой в Ленинград. Ребята были счастливы. Потому что для них Танин город — Ленинград имеет совершенно особое значение.

Вот так прошлое врывается в сегодняшнюю жизнь детей. Вот так обычные деревенские ребята — спортсмены, труженики, баловники, живые, непоседливые — помнят, что такое война. Им для этого, увы, не пришлось особо напрягаться. Война была и в их школе, в тихих голосах ленинградских детей, которые так хотели жить, должны были жить…

Страха, робости перед могилами, перед смертью нет у ребят-следопытов. Они хотят найти как можно больше людей, сражавшихся за нашу землю. Солдат, имевших свое имя, свой дом, своих родителей. Сделать неизвестных — известными. Ищут людей и находят. Детей находят. Так уже не мы, а дети и внуки понимают, что на войне маленьких не бывает.

Дети и война. Страшное это сочетание слов и по сей день возникает внезапно, чтобы обжечь, остановить, чтобы предостеречь.

В Освенциме, где я была несколько лет назад, меня прямо в сердце ударило многое. И какие-то второстепенные детали и главное. Впрочем, перед жерлом печей крематория нет второстепенных деталей. Прежде всего поразила абсолютная будничность дорожного указателя «ст. Освенцим» и обыкновенная стрелка. Для тех, кто там живет и сегодня, это еще и просто станция, просто городок. Как город Хиросима — для его жителей. В общем, станция Освенцим.

Замерли мы у медной доски около польского барака на месте расстрела фашистами пастора Максимилиана Кольбе. Он был казнен, когда администрация лагеря проводила очередную санкцию, — за побег нескольких узников казнили каждого десятого. Кольбе был девятым, а десятым — плотник, у которого в деревне оставалось восемь детей. Кольбе пошел вместо плотника. На медной доске, установленной потом, только два слова: «Homo hominae» — «Человек человеку»… Потом смотрели фильм, снятый в Освенциме кинооператорами 2-го Украинского фронта сразу после освобождения лагеря советскими войсками. А на следующий день — тоже «Homo hominae» — увидели могилу Николая Быкова, одного из этих кинооператоров. Он погиб при освобождении следующего польского города, Вроцлава, и похоронен там же, на огромном советском военном кладбище.

И, конечно, самое тяжкое — дети Освенцима. Дети в документальном кинофильме — отрядик близнецов, которых фашисты не убили из «научных» целей (немецкие врачи проводили на близнецах какие-то особые опыты)… Детские вещи в витринах — маленькие сандалики, коляски, ночные горшки, чемоданы с распашонками… И почти так же поражают дети коменданта Освенцима, Коха. Он был чадолюбив — жена и дети жили тут же, в лагере, дом их находился как раз напротив печей крематория. Тут вот слева — печи, а тут вот справа — дом коменданта, лужайка, деревья, детский смех, светлые платьица, гости и гостинцы. А между печами и домом, точно посередине, — колодец. На перекладине этого колодца был потом повешен Кох. Вот и его детям не удалось остаться маленькими на войне.

…Как все дети, мой внук любит смотреть кино. Особенно если стреляют, кричат «ура!», побеждают. «Бумбараш» — вот прекрасный в этом смысле фильм. Глубинное, трагическое значение его семилетнему человеку неведомо, а веселья и ловкости — много. Но однажды мальчик случайно остался смотреть телепередачу, посвященную годовщине Нюрнбергского процесса. И увидел кадры, снятые нашими кинооператорами, тем самым Н. Быковым, в 1944-м, при освобождении Освенцима. Ночью он плохо спал. Потом, рисуя войну, бои, самолеты, он совсем перестал чертить такой простенький, такой удобный для изображения знак свастики. Перестал, хоть и не знает, что сорок лет назад его ровесник, Роберт Опрышко, мальчик, которому в 1942 году в Ленинграде исполнилось семь лет, тоже любил рисовать войну. Но рисовал только советские танки. Объяснял просто: «Наши танки сильные, нарядные и звездочки такие красивые, а фашистский знак, у, противный, даже рисовать не хочу!» У этого Роберта советские танки и самолеты всегда рвались вперед.

Прошло сорок лет. Нынешний ребенок увидел краешек той страшной войны, но теперь, сегодня, при слове «фашист» говорит как выстраданное и глубоко, лично понятое: «Ты помнишь, что они сделали с тем человеком? Скелет и на нем живая голова». И еще: «Ты не хочешь, чтобы была война? Я тоже очень не хочу».